

Звезда

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1924 года

2022/7

Санкт-Петербург

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Фонда поддержки национальной премии «Гражданская инициатива»

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Администрации Санкт-Петербурга

ИЗДАТЕЛЬ И УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «ЖУРНАЛ «ЗВЕЗДА»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Я. А. ГОРДИН, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. Ю. АРЬЕВ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Роскомнадзора ПИ № ФС77-45485 от 22 июня 2011 г.

Общественный совет журнала «Звезда»:

В. Е. БАГНО, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН;
О. В. БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР; **Н. Б. ВАХТИН**, доктор филологических наук, профессор; **А. М. ВЕРШИК**, доктор физико-математических наук, профессор; **Л. А. ДОДИН**, народный артист России, главный режиссер Малого драматического театра — Театра Европы;
А. В. ЛАВРОВ, академик РАН, заведующий Отделом новой русской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом); **М. П. ПЕТРОВ**, доктор физико-математических наук, профессор; **М. Б. ПИОТРОВСКИЙ**, академик РАН, директор Государственного Эрмитажа; **В. Э. РЕЦЕПТЕР**, народный артист России, художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра

Редакционная коллегия:

К. М. АЗАДОВСКИЙ, **Е. В. АНИСИМОВ**, **И. С. КУЗЬМИЧЕВ**,
А. С. КУШНЕР, **А. И. НЕЖНЫЙ**, **Жорж НИВА** (Франция),
Г. Ф. НИКОЛАЕВ, **В. Г. ПОПОВ**, **И. П. СМИРНОВ** (Германия)

Редакция:

Соредакторы: **А. Ю. АРЬЕВ**, **Я. А. ГОРДИН**

Т. Л. ЛОМАКИНА (проза)

И. А. МУРАВЬЕВА (публицистика)

А. А. ПУРИН (поэзия, критика)

Зав. редакцией **Г. Л. КОНДРАТЕНКО**. Отв. секретарь **А. А. ПУРИН**

Корректоры: **А. Ю. ЛЕОНТЬЕВ**, **Н. В. НЕСТЕРОВА**

Зав. компьютерно-информационным отд. **Е. Ф. КУПРИАНОВ**

Верстальщик **В. М. БЕРДНИК**

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Звезды» запрещена.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются; в переписку по их поводу редакция не вступает.
Материалы в электронном виде (в т. ч. присланные по e-mail) не рассматриваются.

Информацию о журнале «Звезда» и материалы из всех номеров журнала
можно найти в Интернете по адресу: <http://www.zvezdaspb.ru>
<http://magazines.russ.ru/zvezda/>

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20. Телефоны:
соредакторы и зам. гл. редактора — (812) 272-89-48
зав. редакцией — (812) 273-37-24, бухгалтерия — (812) 272-18-15
редакция — (812) 272-71-38, отдел реализации — (812) 273-37-24, факс — (812) 273-52-56.

Адрес издателя ООО «Журнал «Звезда»»: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20.
Тел.: (812) 273-37-24; e-mail: mail@zvezdaspb.ru.

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.): 16+

© «Звезда», 2022

© В. А. Гусаков, худож. оформление, 2022

ЗВЕЗДА®

Товарный знак зарегистрирован по классам МКТУ 16, 35, 41, 42

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ВАДИМ ПУГАЧ

* * *

Каждый раз, как выходишь к заливу,
Огляди, чтобы вид разморил,
На петрушку похожую иву,
Ель, похожую на розмарин.

Нужно птицу? Вот чайка поодаль и
Утка чешет в песчаной пыли.
Так тебе всю природу и подали,
Как на блюде ее поднесли.

Заливное залива и неба овал,
Мухи, крупные, как воробьи, —
Вот и всё, что ты нынче потребовал,
А потребовал, так потреби.

Чиабаттой пространство пустое мости,
Вилкой в соусе тропы торя.
Ты купил это блюдо по стоимости
Валерьянки и нашатыря.

Пребывай в уюте, комфорте ли —
Как понравится назови, —
А когда тебе что испортили,
Посочувствует визави.

Вадим Евгеньевич Пугач (род. в 1963 г.) — поэт, автор книг стихов «Шаги командора» (СПб., 1995), «Летальный аппарат» (СПб., 1999), «Знаки» (СПб., 2008), «Антропный принцип» (СПб., 2012), «Тополя инженера Шперха» (СПб., 2018), книги пародий «На дружеской ноге» (СПб., 2014) и романа «Кентавры на мосту» (СПб., 2021). Преподает в СПбГУ, автор книг методической и научной прозы «Русская поэзия на уроках литературы» (СПб., 2003), «На полях школьной программы» (СПб., 2012), «Заговор букв» (СПб., 2017), «Предупреждение взрыва» (СПб., 2019), «По срезу текста» (СПб., 2021). Стихи и статьи публиковались в журналах, альманахах, антологиях в России и за рубежом (в Англии, Германии, Латвии, США, Франции, Эстонии). Живет в С.-Петербурге.

Мол, обманывает витрина
И накатывает тоска,
И вчерашняя осетрина
Не обходится без душка.

ПОХОРОНЫ БУМАГИ

1

Что там демоны глухие,
Что там истинное благо,
Мне знакомы три стихии —
Камень, ножницы, бумага.

В магазине тухнет рыба,
Меркнет солнечное око.
Как последнее спасибо —
Камень, брошенный в пророка.

Подойдешь к двери, окну ли,
Выйти не хватает духа.
Чьи там ножницы мелькнули?
Улыбается старуха.

Не смотри на этот серпент-
Арий, жгущиеся нити.
Говорят, бумага стерпит.
Не стерпела. Извините.

2

Жил и я. По крайней мере,
Не скупясь, земли насыпьте.
Был я глиною в Шумере
И папирусом в Египте.

В жарком трепете условий,
Возрождений, умираний
Был я кожей воловьей,
Уничтоженной в Иране.

Был в Китае рисом, шелком,
Гиб в огне, тонул в болотах,
Был расставленной по полкам
Целлюлозой в переплетах.

Был я кодексом и свитком,
Был афишей и файлом,

Недорванным недобитком,
Бормотографом, Смекайлом.

Был я вешкой, пешкой, флешкой,
Мелкой сошкой в ритме общем.
Изорви меня, не мешкай,
А не то мы все заропщем —

Всею кожей, кровью, глиной,
Цифровой своей природой.
Что ты нам, дурак былинный,
Голубок недобородый?

Из домов твоих безгвоздых,
От бетонных этих линий
Уноси меня на воздух,
Хорони меня в долине.

3

Белая, пустая,
Неживых пород
Сомкнутая стая
Птиц наоборот.

И стихи и проза
Прикрывают, ржа,
Прихотью мороза
Похоть миража.

МОЛИТВА

Вот звезда, обдолбанная гонщица,
По вселенной шпарит на харлее.
Господи, когда это закончится,
Никому не станет веселее.

Вот брендмауэр — стенка безоконная,
Сшитая для дома по фигуре.
Что, когда комета беззаконная
Впилится со всей доступной дури?

Чем же мы укрыты от вторжения
Этой твари, ржущей и чадающей?
Чем же мы с тобой иных блаженнее,
Правильней, важнее, настоящей?

Знаешь, космос хуже динамитчика,
Плюс волна, а мы с тобою — минус.
За стеною этой в два кирпичика,
Господи, спаси и сохрани нас.

ДЕВЯНОСТЫЕ

Я не пытаюсь быть понятным
Ни самому себе, ни тем,
Кто жизнь опознает по пятнам
Родимых образов и тем.

Поскольку без тяжелой смуты,
Без горечи и тошноты
Не обращаешься к письму ты —
Скажу я сам себе на «ты».

Все было зашибись и лавли,
И мечт никто не разбивал.
Я, отведа уроки, в Лавре
Подолгу пиво распивал.

И сам не понял, не измерил,
Не понимал, не измерял,
Какая Мерлин или Мерил
Мой идеал и матерьял,

Какая родина рожала,
Какой тут запах из угла
И чья рука кулак разжала
И не убила. А могла.

* * *

Быть обласканным, гонимым —
Честолюбцу, пацанью.
Счастье жизни анонимом
На излете заценю.

Положив ладонь на столик,
Пьет, как бог или король,
Анонимный алкоголик
Анонимный алкоголь.

Проживать как аноним бы
Между прочих — к клетки клеть,

Тратить время, а на нимбы
Полсекунды пожалеть.

Все умеренно торгово,
Ни тумана, ни струны.
Кто тут мастер «Бололого»
С Петроградской стороны?

Творчество — не фотоснимок,
Не свободы торжество,
А собрание анонимок
Никому от никого.

БЕРЛИОЗ

Жизнь радует, как нежный комикс,
Наш интерес необорим.
И вот попался незнакомец,
Давайте с ним поговорим.

Эпоха охренела в маршах,
Жируют пуля и петля.
И ничего, что с Патриарших
Нас изгоняют пуделя.

Доверь лицо свое ладоням,
Укройся камушком в праще,
Мы сами пуделей изгоним —
И вообще, и вообще...

Но вот среди плакатов бодрых
Ты ощутишь суровый гнет,
И незнакомец, сучий потрох,
Тебя на рельсы подтолкнет...

И ничему не научайся,
И ничего не забывай,
Себя роняя в одночасье
Под заблудившийся трамвай.

И, только пустит звук по горну
Перегипсованный трубач,
Багровой линией по горлу
Разрыв с эпохой обозначь.

СЕРГЕЙ ЗАДЕРЕЕВ

ДЕД

Повесть

Прадеду Спиридону, деду Мефодию, бабушке Олёне, отцу Константину и всем сродникам. Ушедшим — Царствия Небесного, живущим — земной благодати.

Господи, прости меня грешного.

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

Николай Рубцов

УТРО

Кто я? Зачем? Откуда и где?

Ветер уносит мусор. Всю грязь, что оставили мы. Уносит, накрывает листвой и пеплом. И небо заштриховано в серый. Тишина, как насупленная тряпина, поглощает все безвозвратно. Не оступиться бы, не попасть в эту невыносимую явь. Там булькает и всхлипывает иная жизнь. Там не ждут и туда не зовут. Кто же затеял это смрадное варево? Я помню, когда открыл глаза, были голубое небо и радуга из конца в конец. И цвет, и запахи, и звуки. Где всё, что Ты нам подарил?..

Из «Дневника постороннего»

Сергей Константинович Задереев (род. в 1950 г.) — писатель, журналист, редактор. Работал в газетах Красноярского края и Иркутской области, был заведующим литературной частью Красноярского ТЮЗа, старшим редактором Красноярского филиала «Свердловской киностудии». В 1996—2000 возглавлял Красноярскую писательскую организацию. Автор книг прозы «Хождение за светом» (М., 1986), «Светлое дно оврага» (Красноярск, 1990), «Небесный посланник» (М., 1991) и др. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт» и др. Живет в Красноярске.

— Деда, попробуй еще. Вку-у-усно.

— Я уже пробовал, Санька. Старикам мало надо. Они едят по чуть-чуть и спят коротенько.

— А силы откуда? Ты же говоришь — ешь кашу.

— О нас сам Господь заботится.

Санька молчит, смотрит в потолок, где-то там, далеко-далеко, — Господь... Он знает, дедуля рассказывал. Правда, что это за чудо, он прояснить не может. Вот дед, мамка, проклятый детский садик, это да. Наверное, как папка, которого он никогда не видел и даже имени не знает. Но подрастет и пойдет в школу, и тогда точно все загадки раскроются, распахнется дверца в потайной мир взрослой жизни...

«Санька, Санька, — думает Дед, — сколько же смеха и слез тебе еще предстоит. Сидишь, чисто ангел, крылышки аккуратно сложил и тортика предлагаешь».

Дед встает, идет на балкон покурить. Зойке сегодня на смену, и она встала рано. Подошла к отцу разбудить, но он уже не спал. Лежал с закрытыми глазами и, как всегда, видел речку, похожую на девичью косичку, вьющуюся меж кустов черемухи и тальника, хлипкий мосток, на котором обязательно греется стрекоза либо бабочка и они с соседом Колькой удят на ольховый прут ельчиков, сверкучих на солнце, как начищенные бабушкины ложки. Это ее последняя фамильная гордость, с темным вензелем на серебре «ЗА», что значит «Золотарев Александр», это будет уже прапрадед Санькин.

Саньку же никакие звуки не будят: ни бормотание тупого телевизора, ни хлынувшая, как сдуру, в унитаз вода, и только на голос Зойкин, словно на сигнал тревоги, он резко выпучивает глазенки и, согнув одну ногу, скидывает одеяло. И сегодня, уже у порога, Зойка трескуче крикнула: «Папа, я мобильник забыла, подай», — а того будто не знает, что сынуля встрепенется и покинут его теплые и пушистые, как облачка, сны. Знать-то она знает, но сын от нее уже далеко. Она на работе, ее ждет салон красоты, всякие фитнесы, бассейны, покраска волос и ногтей — короче, всё, чем бабы надеются вовлечь мужика в липучие сети, хотя бы в койку, но больше все-таки друг перед другом выдрючиваются: «Ах, какая я, я первая, а ты, дура, в лучшем случае будешь второй».

Ну вот Зойка, прижав к силиконовой груди мобилу (скорее это черный кирпичик прильнул кнопками к родной химии), понеслась на своей шулушпайке в омут гламура.

Санька отказался от нормальной еды, не глядя пихает в рот куски моего любимого, вчера купил, черемухового торта, а глазами — в экране телика. Очередное западное дерьмо, мультик про каких-то уродцев. Зойке в детстве повезло, успела посмотреть про нормальных людей и зверушек.

Это только утро, впереди день, потом вечер, ночь... Чем-то занять надо.

Сегодня первыми во двор пришли бездомные. Бичи, бомжи, как их только не называют. Мне больше нравится — «танкисты», человечней как-то, уважительней. «Танкисты» — потому что живут внизу, под чугунными люками канализации и отопления. «Танкиста» от просто бездомного бедолаги отличить легко: у «воина» ногти всегда черные от запекшейся крови. Крышка-то

о-го-го — как шмякнет по пальцам. Если поддатый и не справишься с ней, как со строптивой бабой, что по яйцам может заехать, не по злобе, конечно, а так, чтобы знал... Вот и люк тоже — просто, мол, пить надо меньше.

Они идут вдвоем. У него сумка емкая, у нее палка с крюком на конце, своего рода удочка, а баки с мусором, как лунки во льду. Ловится тут всякая полезность. То одежонка пригодная, то пакетик со снедью. Самое же востребованное, «валютный» товар, — бутылки и пивные банки. Еще и все «лунки» не обошли, а сумка уже полнехонька. Теперь наши гости, окрыленные, понесут добычу за угол изогнутой буквой С девятиэтажки, где баба Дуня обменяет стеклотару и алюминиевую жесть на пластиковую бутылочку технаря. И у них теперь день начнется правильно, жить можно. В «танк» не пойдут, впереди смрадная ночь среди попердывающих труб, поэтому в скверик укромный, помечтать, вспомнить про любовь и все остальное.

Сегодня бродяжки опередили таджиков. Избилло и Баргигуль то ли проспали, то ли детки их малые чем тормознули, но Баргигуль, заглянув в один бак, дальше не пошла, а тоже взяла метлу, совок и с другого конца начала чистить двор. А так-то они тоже, может, чем поживились бы. Несладкая у них жизнь в России.

Таджики всё делают тщательно, аккуратно; не то что рваной тряпке, каждому окурку кланяются. Русский так только дачу ненаглядную обихаживает. У таджиков иначе, на это хлебное место очередь земляков, и ничего, что часть зарплаты уйдет рыжему начальнику. Хоть и прохвост он, клейма негде ставить, но денежку какую-никакую платит. На родине, там, где алыча, солнце и дыни, и этого не натрудишь. А вот была бы страна, Союз Советский, думает Избилло, все было бы не так. Он бы сейчас в любимой тубетейке, поджав под себя ноги, швыркал терпкий чай из пиалы, Баргигул в ярком шелковом халате улыбалась ему загадочно, а он, глядишь, и сотворил бы еще одного Избилленка.

Непонятно, и куда Аллах смотрит? Одним дал всего с избытком, а у других забрал даже родину. Может, и правы были прадеды, когда от большевиков отбивались? Странное существо человек: напели ему, наговорили сластей — и он поддался искушению. А ведь зараза и все нечистое зверя отталкивает, а человек как бы и отмахивается, но влезает в смердящее. Где полегче да пожиже ищет. А это же только на небе. Выходит, тьма сильнее света — так, что ли...

Оглядывается Избилло, не слышно метлы Баргигуль. Он бросает инструменты и торопливо идет к дальнему подъезду. Жена о чем-то беседует с бабушкой с верхнего этажа. Странная старушонка, махонькая такая, семенит до магазина и обратно, больше ее и не видно, другие бабки на лавочке семечки шелкают да похохатывают друг над дружкой, а эта будто наказанная. Избилло остановился, слушает.

— Ты, миленькая, не сердись, сейчас пакет вынесу, там одежонка на детей. Внуки повзросли, невестка говорит «выкинь», а оно ж почти новое, дорожшее. У меня рука не поднимается, ты посмотри, может, что и сгодится. Они разбогатели, им хоть все повыкидывай. Разве можно так? И сын тоже лопухий, слова поперек не скажет. Бизнес у него, бизнес все отобрал, обсерется с этим бизнесом.

Избилло не привык от русских слышать доброе, могут «урюком» назвать, это еще ничего, урюк вкусный. Иногда такую гадость скажут, кусок дерьма в душу сунут, и все это равнодушно, походя, не то что ударить, словом отвечать сил нету. Только дома на коврике он пожалуется Аллаху.

Была страна, и все было хорошо. Мы им хлбпок, они нам комбайны. Ладили как-то.

Заурчали, загудели, завоняли соляркой оранжевые КамАЗы. Мусорные баки с грохотом, прерываемым матом, переворачивают в ненасытное брюхо. У каждого на борту красиво, с картинкой написано «Рециклининг», хотя можно же просто: «Мусор» или «Отходы». Для нас теперь это типа провинциально, надо по-западному, обязательно не по-русски. Одна химера сменила другую. Чуден ты, человек, и простодыра. Сказали тебе «Земля — народу», поверил, как неразумное дитя, в колхоз. Навсегда запомнил, бабушка рассказывала, комиссары в колхоз всех тащили, дед Александр (в честь которого назвала Зойка сына, внука моего, надежду и солнышко мое) упирался до последнего, ведь выводок немалый, одиннадцать дитенков и жена брюхатая, со дня на день еще принесет. Но шуганули комиссары, враз раскулачили. Дед двух коровенок, нетель, бычка да кобылу всех одной веревкой опутал и потащил в колхоз «Светлый путь». Бабуля упала в ноги, как подбитая птица, раскинула руки: «Ты что творишь, сатана?» Никогда на деда так не ругалась, привечала хоть пьяного, хоть сердитого. «У тебя детей как курей в курятнике, нарожал, а чем кормить будешь? Не пушу...» — «Власть советская всех прокормит», — дед оттолкнул махонькую Олёну, она кинула ему вслед горсть дорожной пыли и беззвучно заплакала.

Как и предугадывала бабушка, за год колхозники всё подъели, а будущим летом засуха, неурожай. Словно убрал Господь Свои ладони над деревней Притычка, наказал за неразумное бесовство, и засыпали они закаменевшей на нещадном солнце землицей последыша Олёнушку, в честь матери нареченную. От голода дитя в небо ушло, это хоть утешало, не в холодную твердь, а к ангелам чистым. Может, замолвит там словечко за ослепленных комиссарами бестолковых взрослых. Но и небо в тот тяжкий день бабушке казалось, как слюда, равнодушным и колким.

Господи, за что же Ты нас так? Когда мы пойдем и научимся не идти вслед за чертями, а жить своим умом? Ведь раньше как было: если и оступись, всегда хоть сосед, да поможет. А тут, в артели, где все гуртом, стадом, кому ты нужен? Вперед надо, только вперед, не оглядываясь. А слабаку пинка — и в сторону его, на обочину...

Одиннадцать своих Олёна подняла, девки всё получались, всего три сыночка. Алешенька — старший, весь в отца, добровольцем рванул на немца и в первый же год погиб. Ванька на Дальний Восток ушел японца добывать, а младший Сашка избежал кровавой судьбы, по годам не вышел, вот и получила бабуля звездочку золотую «Мать-героиня». Маленькая, блескучая, словно жучок или шмель из сказки. Держал я ее на ладони, и в горле першило. И это-то за все муки и слезы от благодарного государства? Справедливо... Потом бабушке еще пенсию колхозную платили, трудно даже сказать, семь рублей, но она и ее не тратила, внукам гостинцы переправляла.

Так вот постоишь утром на балконе, подымишь сигаретой и думаешь: «А где же они — справедливость, чистота и любовь?» Наверное, права была бабушка, только там, на небе...

Запыхтели сытые КамАЗы, ушли в сторону полигонов. Встретит их не только воронье, но и люди. Они тоже люди, хоть и грязные, больные, завшивевшие, но с азартом и мечтою в глазах. Пока глаза не потухли, они — люди.

— Санька, ты бы поел чего.

— Деда, не хочу.

— Пойдем погуляем. Мульттики дурацкие кончились.

Высок наш дом для утреннего солнца, и двор еще наполовину в тени. Беседочки-скамеечки поставлены с умом, уже прогреваются, обсохли от росы — и на них постояльцы, Мишка Бен Ладен и Васька Розенбаум. Оба пенсионеры, Афганом отмечены. Мишка не только контужен был, но еще и ранен в позвоночник, ходит чуть косолапо и как бы впрысаяду. Васька же худенький, хрипастый шустрик, орден принес из чужих ущелий, подначивает иногда Мишку этим, но тот не обижается: «Моя „За отвагу“ круче любой звезды, я семерых душманов положил, только потом кувыркнулся».

— Дед, а подойди-ка! — кричит Васька.

Уже знаю зачем.

— А соточку слабо? С пенсии, клянусь Богом, отдам.

Мишка равнодушно смотрит в сторону, ковыряет носком ботинка застрявшую в глине пробку. Его как бы не касается, это Васькины проблемы. С пенсии он, конечно, не отдаст, Таська на почту с ним ходит и сразу пособие государево забирает. Тогда Розенбаум заводит свою задрипанную «шестерку», если заурчит, и выезжает потаксовать. Но это бывает редко, только когда накопившийся долг дворовым бабкам стыдно и срамно не отдать. Иногда знаменитая «шестерка», как дворняжка среди породистых тойот, хонд и прочих аутлендеров, не подает голоса, тогда к обеду вокруг нее собирается толпа хоть чуть мыслящих в технике мужиков. Это надо слышать: тут и вариаторы, и карбюраторы, и сраные бензоколонки, где вместо бензина вода с мочой.

— Бен Ладен, а ты что молчишь? — ищет поддержку Васька. — Отдадим же Деду.

Мишка, может, и отдал бы, но его тоже лишили господдержки. Доча Оленька все забирает: «Сдохнешь от этой водки, а хоронить тебя у меня не на что». Доча, правда, добрая и заботливая, набирает отцу на месяц «дошираков» разных, друг Васька «бич-пакетами» их называет, еще банки три тушенки побаловаться да чаю самого дешевого, пыль черная с охвостьями. Жена от Мишки ушла — и года не вынесла его послевоенной дури и пьянства. «К гегемону, — беззлобно говорил Бен Ладен. — Я не в обиде. Он поздоровей меня, как вскочит на кобылку... А бабе что надо? Я свое уже отпахал, Родине долг отдал. Патриотический, заметьте...»

— Дед, ну так что? — Васька так смотрит, не откажешь. Одна мысль бьется в его серо-голубых глазах: тут же, рядышком, за домом баба Дуня плесканет им фунфырик, а зажевать и идти никуда не надо, только руку протяни — вишенка уже созрела.

Аккуратно достаю серенькую сотку, поскромнее Саньке гостинец будет, да ничего, я и так его балую. Он раскачивается на качельке, что-то мурлыкает. Вот так и уйдет детство, то на качельке-карусельке, да еще и телевизор с видеком. А я-то уже шпендиком рыбу удил в ручье и картоху с мамкой копал, а если по ягоду возьмет, пока бидончик не насобираю, никаких передышек. Зато потом дома вареники с клубникой, со сметаной, не могу дожидаться, пока остынут, хватаю из чашки, как уголья из костра, и глотаю, аж слезы из глаз.

Солнце поупиралось, поупиралось и высветило двор. Сейчас богачи-олигархи выйдут, захлопают дверцы крузеров, лексусов. Потом выскочат бабенки их, одна краше другой, надухарятся так, что даже к нам доносит неземной аромат.

— Васька, а чо ты к Петьке-мародеру не подошел? Еще бы сотенку стрельнул, — Бен Ладен провожает взглядом прогонистый серебристый, как блесна на хищную рыбу, мерседес.

— Да пошел он, — Розенбаум сплевывает. — Помнишь, он дал сотку, так теперь намекает, что с процентами...

Петьку мародером за дело назвали. Был у него с компаньоном какой-то хитрож...ый бизнес, то ли алюминий воровали на заводе, то ли иномарки гоняли из Владика, скорее и то и другое. Копеечка немалая капала, но грохнули компаньона, да так, что бесследно исчез; поговаривают, сожгли его в ванне с жидким металлом. Так вот Петька всю долю друга захапал — ни вдове, ни детям. Жена компаньона прокляла Петьку, но таких людей не берут проклятия, они из другого теста, не костей и мяса, а дерьма копченого, и не кровь там по жилам бегает, кислота самая едкая. На лицо Петькино и то смотреть страшно и неудобно, глаза большие, припученные, какие-то бесцветные, примороженные, непонятно, на тебя он смотрит либо поверх. Нос острый, как кончик тесака, будто лицо раскрыл и вышел меж щетинистых щек. Короче, мародер — он и есть мародер.

Розенбаум с Бен Ладеном встали, окурки — аккуратно в урну, приучили их бабки дворовые к культуре, и двинулись за дом.

— Дед, да ты не думай ничего. Мы тебя достойно помянем.

— Я и не думаю. Пошли, Санька, в магаз за мороженым.

Сейчас и детки повысыпят, больше девочек, и Санька всё к кучерявеньким да с косичками жметя. «Вроде и не бабником я был, — думает Дед, — а он, видишь, наверное, в бату беспутного». Отец у внука, Толик Сиротинин, отбыл в неизвестном направлении, Зойка еще с животом ходила. Толик был парень бравый, на гитаре бренчал, стихи проникновенно читал, бороденка интеллигентная, этим, наверное, и охмурил дочь. Многие девчонки тогда хотели чего-то неземного, это сейчас поумнели, и главное, чтобы богатый был, а косой он или хромой — по херу.

«Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже» вдруг заорало из какого-то окна. Проснулась чья-то взрослая уже, ткнула кнопку музыкального центра и пытается вспомнить, как и с кем уходила из ночного клуба.

А ведь было такое слово — «любовь». Дед никогда не забудет, как прошибло его тысячью вольт, в глазах потемнело и заискрилось только от одного

прикосновения к девочке, на которую и посмотреть-то боялся. А потом, по пути из школы, когда она разрешила взять себя под руку, он не шел с ней рядом, он парил над землей: казалось, чуть оттолкнись — и чудо совершится, они вознесутся туда, к облакам, а потом и к звездам.

«Ты целуй меня везде» всё надрывается из окна.

Толик Сиротинин — это по паспорту, а так-то он Бурмата, кличка под стать прошельге. Бурмата — значит, буровой мастер. Романтик Толя прибился как-то к геологам, кой-какое техническое образование имел и вот за три года освоил профессию, но самое главное, научился на гитаре и отпустил бороду. Зойке всё пел, как он едет за туманом и еще очень душевную песню про капитана и таверну.

Сына Бурмата видел всего один раз. Санька еще в коляске лежал. Зойка убежала за бутылочкой молока. Захныкал чего-то парень, возвращается мать, а в ногах у малыша здоровенная плюшевая панда. Соседка видела всё и сказала дочери: «Мужик бородатый положил игрушку и быстро умотал». По описанию поняла Зойка, кто это. Панда до сих пор у нас в кладовке, с вырванными глазами-пуговками. Спросил как-то у внука: «Может, выбросим слепого зверя?» — «Пусть живет, — стараясь быть равнодушным, сказал Санька. — Жалко как-то...»

Бурмата вообще парень находчивый, много я узнал про него, как-никак отец внука.

В экспедиции, например, Толик всех удивлял, что никогда не мыл за собой посуду. Если в партии была собака, он выставлял ложки-плошки на пол, и псина вылизывала их до блеска. Поэтому и не дежурил Бурмата никогда на кухне. Брезговали такой уборкой. Второй рацухой его было, если стояли на берегу речки, он клал в авоську тяжелый камень, туда же и посуду, к ручкам поплавок, чтобы утром найти, и на дно свое изобретение. Рыбешки почище лаек выскабливали посуду. Короче, не любил утруждать себя Толик. А вот читать он любил, что бы ни подвернулось под руку — газета, журнал, книга. Пока не отбросит брезгливо в сторону, как протухшую половую тряпку, бесполезно о чем-либо спрашивать. «Ну и что нового узнал, о чем там?» — пристают мужики. «Тупость одна. Сопли». — «Зачем читал-то?» — «Смысл жизни ищу...» — «Во как...»

Вечерами, когда от гитары уже зудит в ушах, Бурмата мог часами упорно говорить о чем угодно. О землетрясениях и буддизме, о кухне алеутов и писателе Хемингуэе. Памятью он обладал феноменальной. Спроси, как правильно заточить топор, — скажет; чем отличается Христос от Аллаха — объяснит. Может, и привирал, да поди проверь. Мужики за это и прозвали его «философом», а начальник партии, как-то прослушав монолог о бестолковом пути человечества ко всеобщему счастью, окрестил Толика в Диогена.

О Бурмате потом подробнее расскажу, чудной был человек, бестолковый только. Все ему Господь дал, но он ни к чему не приспособился. А может, искал себя слишком долго и в итоге напрочь потерял. С талантом мы все рождаемся, Дед давно это понял. Всевышний щедр на любовь, но сушим отпущенное небом своим бездельем, бесплодными метаниями, а надо трудом поливать, непосильным, сцепив зубы. Вот и я сейчас, думает Дед, только

на краю жизни это понял. Лень, как говорил отец, раньше нас родилась, да и соблазнов много, побрякушек порочных.

А вот про любовь еще охота сказать. Она, как и талант, тоже ухода требует и труда. Друг у меня был, царствие небесное, художник Гумар. Сидим с ним как-то в мастерской, водку пьем, разговоры высокие о творчестве. Но он вдруг отошел, сел в кресло и плачет. «Ты чего, что-то случилось, что-то не так?» — «Понимаешь, не ощутил, а как пронзило, я уже никого не смогу полюбить, пусто вот тут», — стучит себя в грудь. «Гумар, это водка». — «Нет, дружище, это картины, холсты из меня все высосали. Послушай:

Холсты пусты. Художник
От них ушел в кино.
Накрапывает дождик,
На улице темно.
Но вот какое дело:
С пустынного холста,
Как сказочная дева,
Вдруг сходит пустота.
Как женщина, к которой
Он насмерть пригвожден.
Она раздвинет шторы
И молча подождет.
И не проронит слова,
А он пришел уже,
Чтобы сказать, что снова
Пустынно на душе.¹ —

Ты понимаешь? Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — и опять навзрыд. «Гумар, ну пойдем, выпьем, что ли...» — «Я себя ненавижу, потому что не вижу себя», — так же неожиданно, как и заплакал, Гумар упал на диван и закрыл глаза. Может, уснул, забылся в свинцовой тоске, а может, просто больше не хотел быть со мною.

Да, любовь, дружище, это уже сейчас я думаю, любить надо уметь. Люди не умеют любить, разучились. Они сторонятся ее, нет, они даже боятся. Любовь может прорвать плотину их рациональных нагромождений и затопить всё. Пустыню злобы и равнодушия, одиночества и печали, да просто вонючей скуки. Они не хотят оазиса, ведь он ждет непосильного труда. Они подсознанием чувствуют, что впереди могут быть не только пот и слезы, но жесткие удары и кровь. А любовь — божественный цветник, и лишь каждодневные усилия, без оглядки, без ожидания благодарности, вдруг приносят плоды. От вкуса их теряешь рассудок, и уносит тебя в немыслимое пространство, туда, к звездам, где до тебя, кажется, еще никто не был. Там не нужны ни воздух, ни твердь, ты один наедине с любовью, ты в ней купаешься и с легкостью, как бы играя, создаешь немыслимое, творишь чудеса. Ты гений.

Цветник, оазис — они всегда ждут тебя. Равнодушная лень приводит в бессильное злобство, и все зарастает мусором и паутиной. Змеи и саранча, склизкие черви и безжалостные шакалы, оглушающе по голове и под дых,

¹ Стихотворение Анатолия Третьякова.

без разбора и причины, и ты отвечаешь тем же. Пусть всем будет больно, не только же мне. Мир без любви — мир смерти.

— Деда, что ты там бормочешь? — внук смотрит с недоумением и испугом.

— Да вот, Санька, хочу понять и никак не могу.

— А ты про кого? Про меня или про мамку?

— Даже не знаю, как ответить.

— Ты мне скажи. Я помогу.

— Если бы так легко было.

— Деда, деда, ты посмотри! Вон облако, похожее на улитку, и ползет так же.

В голубом просторе и правда нехотя двигалась белая закорючка. Я не увидел в ней улитки, но раз внук так решил, значит, так оно и есть. Может, и надо на все вопросы отвечать легко. Усилия, напряжение бессмысленны, они ломают и крошат в пыль не только тайну бессонницы, но и душевную целостность. Истина открывается легко, без всяких потуг и пота. Кряхтишь и рвешь жилы, а это всего лишь вход в лабиринт тьмы. Отчаяние, разочарование, бессилие накрывают тебя свинцовым одеялом.

— Деда, а улитки не стало. Жалко, правда?

— Она в гости ушла. Не надо жалеть.

У тебя на небе будут еще и слоны, и верблюды. Вздыхнул и подумал: «Ведь скоро и я так же уйду в небытие или знать бы куда, но зачем это знать. Уйду тихо, и хорошо бы, пусть бы хоть Санька обратил на это внимание».

А любовь, так ее, может, уже и нет. Кругом одна пластмасса. Она собою все заменила. И не только любовь, но и честность, доброту, порядочность, искренность, сострадание, жалость, всю живость, казалось бы, вечных понятий. Теперь толерантность. Гада уже нельзя назвать гадом. А любовь не признает толерантности, ее не прячут. Иначе она засохнет, как взошедший росток без дождя. Любви нужны солнце и звезды, тихие облака и мерцание радуги, загадочное пение птиц и сгибающий могучие стволы ветер, запах прелой детородной земли и уносящаяся в неведомое листва, и долгие звуки гудков паровозов и пароходов, весь свет мира, и только это даст ей настоящую жизнь. Только тогда она будет не призраком из прошлого, не тщетной мечтою, не далеким парусом в зыбком тумане, а обрстет плотью, и тогда ее надо будет нянчить как самое долгожданное дитя.

— Деда, отпусти, — Санька вырывает ладошку. — Так больно держишь меня.

Как подхваченный ветерком, внук убегает, и Дед опять остается наедине с любовью.

Пусть будут и гроза с громом и рушится всё, они только укрепят ее. Любовь — жизнь во всей ее полноте. Лишь она одна открывает нам глаза. И мы видим — истина всегда рядом. Любовь — это и наслаждение, и слезы утраты, благоухание розы и горечь полыни, это тот студеной родник, от воды которого нестерпимо ломит зубы, словно во рту острый кристалл, но замри, вытерпи — и уйдет душащая до судорог жажда.

— Санька! Ты где? — растерянно озирается Дед.

Да вот же он, уже с какой-то лопухой, даже из-под кудряшек видно, девчонкой щебечет.

Вот старый пердун, тоже мне мыслитель, внука чуть не потерял.

ДЕНЬ

Жизнь, рок, судьба уже бросили кости. Игра давно началась. Что выпало? Загадка навсегда. Тарахтят по жизни. Белое-черное, три-пять. Тарахтят, тарахтят. Это усталая телега по брусчатке. Возница, не открывая глаз, хлопывает вожжами по лоснящемуся крупу. Да и у лошади глаза зашорены. Понукания хозяина ей ни к чему. Она бредет по наитию неизвестно куда и зачем. Только жирные мухи и назойливые слепни, у них есть заветная цель — живое и душистое тело лошади.

Не ищи ответа. Все бессмысленно. Ответа нет. Смирись. Но откуда же я и где? Кто и зачем?

Из «Дневника постороннего»

В «час Быка», как заговоренный, Дед просыпается, на циферблат можно и не смотреть. Долго лежит, чего только не вспоминается. Сегодня вдруг пришло из детства. Как кино увидел. До первого класса Дед жил в Притычке у бабушки с бабушкой. Послевоенное время голодным было, да еще недоношенным он выскочил, синенький такой зародыш, в валенке на печи держали, только там не плакал да когда титька во рту.

Старики привыкли к нему, плакали, провожая к родителям в Ирбу, долго махали руками, будто птицы, следом хотели взяться. До Нового года они дотерпели, на каникулы приехали. Лошаденка, сани полные сена-соломы, тулупы овчинные, и на следующий день после елки тронулись.

— На учебу не забудьте вернуть! — крикнул отец, а бабушка перекрестилась.

— Ну, с Богом, — дедушка шелкнул кнутом, и лошадка лениво потащила в белое морозное пространство.

До Притычки от райцентра километров тридцать. Я, наевшийся от пуза бабушкиных шанежек со сметаной, задремал и открыл глаза только когда на небе, как масленичный блин, засветила полная луна. Лошадка шла трусцой, вкусно скрипел снег, было необыкновенно уютно, казалось, все и всё меня любят-лелеют и больше ничего не надо, но вдруг сани резко дернулись и неожиданно ходко двинули. Лошадка скосила морду в сторону, всхрапнула от натуги, туда же повернулись и дедушка с бабушкой.

— Александр, гони, гони давай! — осторожно крикнула бабуля, и я успел заметить, как по краю поля проворно бежала стая собак, странно как-то, не скучившись, а одна за другой, ровным строем. В лунном свете они были такими черными, будто их вырезали из погребного мрака. И двигались чудно, лап не было видно, они просто плыли по мерцающему снегу, не отставая, но и не опережая. И почему-то не лаяли, всё это как во сне. Вдруг понял, хоть и дитя, — волки! Бабушка увидела, что я вылез из-под тулупа, накинула его

на меня — «Спи, внучек, спи», — я не узнал ее всегда такого доброго голоса, в нем прорывались нотки смертельного страха, ужаса и даже обреченности.

— Александр, ну гони же!

Лошадка всхрапывала, сани бултыхались на сугробах, бабушка то крестилась, то почему-то обнимала себя, как бы согреваясь, дед дико матюгался, кнут свистел, и я опять высунулся. Волков было семь. Уже умел не только считать, но и делить. Значит, на каждого по два, один будет в запасе. Про лошадку почему-то не подумал.

И тут пришло наше спасение. Притычка была совсем рядом, чуткие собаки надорвались лаем, в каждом дворе одна, а то и две, волки тоже услышали и нехотя забрали вправо и как бы растаяли. Молча появились и молча сгинули. Бабушка упала на меня, слышал, как дрожало ее худенькое тельце, а может, это сердце хотело выпрыгнуть. И мне было не жалко себя, пусть бы съели, а вот дедушку с бабушкой я бы им не простил.

Дедушка достал кисет. Пока сооружал самокрутку, половину табака рассыпал, пальцы не слушались, спички ломались. Но вот и дымком запахло, домом, уютом, казалось, уже и не было никаких волков. И только лошадка еще мелко дрожала, хватала жадно снег и нет-нет да и косила морду в сторону покойно искрящегося горизонта. Исчезли страх и ужас, но она еще не верила в чудо.

Дедушка встал с саней, погладил кобылу по крупу, похлопал.

— Что, Шалава, пересралась? Да и я взбзднул. Но ничего, Бог миловал.

Вот уже и светлые колонны дымов над деревней, гармошка пиликает, девки хохочут, Новый год продолжается. Дома бабушка меня раздела и посадила не на сундук, как всегда. Мне он так нравился, открывался с мелодией, в нем было что-то таинственное. Только потом узнал, там хранились венчальное платье бабули и одежда, в которую обрядить на похороны ее. Посадила даже не на лавку, а на край стола, чего никогда не позволяла, — грех, мол, это, хлеб и пропитание на столе держим. Сама села на табурет и так смотрела на меня, я чуть не заплакал, такого проникающего взгляда у бабушки больше никогда не видел. Выручил дедушка, стукнул своим любимым фиолетовым графином в центр стола, налил почти полный стакан самогонки и, перекрестившись, выпил.

— Ну вот, внучок, спас нас Господь, это Он тебя пожалел, ты ведь еще безгрешен, — дедушка погладил меня по голове, как-то игриво ткнул ладонью бабулю в бок. — Поживем еще, старушка, побалуемся...

Давно нет ни бабушки, ни дедушки, нет и сундука волшебного, и графина заветного, остались на память только фотографии. Одна в рамке всегда на стене. Бабуля, сухонькая, как осенний лист, почти невесомая, от рака умирала, а дедушка крепкий, твердо стоит рядом, борода, усы, да и на голове все седое, серебристый нимб словно снизошел на него. Бабушка уже не ходила, и он ее носил на руках и в баньку ополоснуться, мыть там уже нечего было, и в туалет, иногда и в палисадник подышать под березой.

Все ждали ее смерти, вот-вот. Дедушка отбил телеграммы, всех детей собрал, а когда приехал последним Иван с Дальнего Востока, была суббота, он натопил баньку, сложил как-то уж очень аккуратно исподнее, раньше это

бабушка делала, неторопливо, чтобы и капли не уронить, наполнил чекушку самогоном, сальца нарезал, на ржаной ломоть положил, луковку, огурчик рядом на дощечку, посмотрел долго на всех детей, как бы решаясь что-то важное сказать, но только вздохнул, сунул под мышку кальсоны, рубаху-растопаху, из-под которой вся грудь могучая, словно мхом-ягелем с белоголубым благородным отливом видна, и осторожно, будто боясь потревожить нас, отворил дверь и как бы растворился в ночной мгле двора. Вот только что был — и нету. Беззвучно все и как-то нереально, не сон ли это...

После ухода бабушки никто не решался ни заговорить, ни чем-то заняться, только пощелкивание ходиков было отчетливо громким, время будто оживало в этом тик-таке.

Часа два прошло, а бабушки все нет. Бабушка из последних сил дремала, и Иван отправил младшего, Саньку, Сан Саныча.

— Глянь, чего-то припозднился батя.

Сашка через минуту вбежал, раскинул руки, будто поймать кого-то хотел.

— Всё. Батяка того. Холодный.

Гурьбой, чуть не сбивая друг друга, кинулись.

Дедушка во всем чистеньком лежал на лавке в предбаннике. Руки правильно сложены на груди, глаза закрыты и лицо спокойное, сейчас матюгнется и отправит всех за стол, а сам бабулю бережно унесет охолонуть и освежить.

Вязки кальсон у бабушки растерянно свисли, не успел, всё всегда успевал (и кобылу подковать, и короб тальниковый сплести, и самогонки нагнать на всю Притычку да на черемухе ее настоять), а вот тут упущение, болтаются уже ненужные вязки, не успел завязать.

Через три дня закидали угольно-черной землей гроб; в изголовье крест, как и домовина, заранее бабушкой сработанный. Ладненькое всё, из березы свиловатой строганное, на крыше хранилось, где и скрипка его под стрехой висела.

Бабушка сидела на табурете ровно, как свечка, когда холмик подравняли, кивнула Сашке:

— Ты теперь за деда, посади меня рядом с ним.

Сан Саныч обнял тельце матери, все время хранил молчание, а тут заплакал. Бабушка прижалась к нему, будто хотела раствориться в сыне.

— Ваньке не дал Бог сынов, девки всё. Так ты постарайся, протяни род Золотаревых, не обижай отца, — а уже на земле, тихо, наверное только себе, сказала: — Погоди, милоч, маленько. Через годок приду к тебе.

Я запомнил этот апрельский день. Ровно через год пришла от матери телеграмма: «Приезжай, бабушка умерла...»

Ну вот и Зойка проснулась, зашумела вода в туалете, сейчас покурит, потом Саньку будить, кормить, в школу собирать. Вымахал балбес, скоро меня в росте обгонит, пятый класс заканчивает, а все без мамки не может.

Пепельница у меня на балконе, табуретка, пускаю дымок в открытую фрамугу. Голуби, не меньше сотни, рядом с детской площадкой переминаются с лапки на лапку, терпеливо ждут Агнессу Ивановну. Старушка — бывший преподаватель немецкого, от одиночества обезумевшая, дочь удачно вышла замуж и давно живет где-то в Германии — в этих бестолковых птицах нашла душевное упокоение.

Каждое утро Агнесса выносит голубям большую кастрюлю отваренной крупы, рассыпает горстями и бормочет что-то по-немецки. То ли обучает их языку, а может, другого они и не понимают. Птицы поначалу толкались из-за каждой съестной кучки, иногда доходило до драки, схватки были по-человечьи жестокими, с кровью, вот у воробьев там или синиц такого не наблюдается, покультурней, что ли, они. Но и голуби с годами привыкли, остепенелись, соблюдали каждый свою очередь. Агнесса им все говорит что-то, они довольно воркуют в ответ. Красота!

Мамки и бабули дворовые пытались бороться с дурной старухой, вся площадка детская засрана ее питомцами. Но в дело вступились зоозащитники, в газетах, по телевизору Агнессу прославили. Короче, все осталось по-прежнему. Голуби по утрам собираются на уроки немецкого, а когда добрая учительница уходит, срут где попало и, кажется, даже старательнее, чем прежде...

Бен Ладен уже почти два года как не появляется. Одному неинтересно. Розенбаум совсем обезножил, даже за сигаретами внучку отправляет с запиской, благо его в магазине хорошо знают. Таджики — и те недавно поменялись. Избилло с Баргигуль все-таки вернулись на родину, и на смену им прибыли их родственники, приняли эстафету гастарбайтеров. Слово-то какое дурацкое, аж в горле от него першит.

С новыми таджиками Дед хоть и здороваётся, но еще не познакомился. Во дворе Деду одиноко. Когда Зойка на смене, он перечитывает любимые книги, каждый раз открывая в них что-то новое, бывает, и телевизор смотрит, но, если дочь выходная, старается уйти. Музеи он изучил, как «Отче наш...», в кинотеатре смотреть нечего, не принимает организм современные фильмы. Ужасы, боевики да фантастика, ни вздохнуть ни пернуть, ничего там нет для души, так он объяснил это себе, и поэтому чаще Дед покупает пару буханок хлеба. Есть у него укромное местечко, где ни влюбленных, ни алкашей, — там, где мутная от нечистот речушка Кача впадает в девственно чистый по сравнению с ней Енисей, в зарослях тальника, крапивы, лопухов и дурнины всякой лежит гранитный валун. Здесь как раз и проходит четкая, будто прорисованная, граница соединения вонючей и хрустальной воды, человечья мерзость и божественное.

А в воде, в каких-то пяти метрах от валуна, всегда плещется стая диких уток. Упитанные, наглые, отвыкшие от естественной нормальной жизни. Они тут всегда, зимой и летом, весной и осенью, пройдет пара поколений, и они, как одомашненные, летать разучатся. А как все началось? С человек, с нас началось. Перегородили Енисей, он замерзать перестал. Уткам по осени далеко до теплых краев можно и не лететь, вот пара самых рискованных, а может ленивых или больных, и осталась на открытой воде. А зимой Агнесса какая-нибудь нашлась, детишки жалостливые, вот и перегородили наши утки сибирские морозы. По весне прибыли их родные, близкие и знакомые, думали поминки справлять, а тут объятия и поцелуи. Вот и получилось, что человек точно стал царем природы, многовековой, вечный закон природы одной перегородкой на реке сломал. Не угомонился, вонючее водохранилище морем назвал, гадость свою, как соплями, приукрасил. Какое это море,

если рыбы почти все передохли, благородных так вообще не стало, а у тех, что как-то выцарапались, животы червями понабиты.

Дед сидит на гранитном булыгане, бросает уткам хлеб. «Глядишь, и я скоро Агнессой стану», — думает и матерится молча. А еще он на этом камне поет. У Деда ни слуха, ни голоса, но рядом никого, и он мурлычет все чаще что-нибудь из народного, что достает до нутра, выворачивает. Откуда песни приходят, он не помнит, может, у дедушки с бабушкой на гулянках слышал, может, у родителей. Гулянки тогда были не просто застолье с родными, собирались все друзья и соседи. Длились гулянки дня по три, из одного дома переходили в другой, каждый хотел блеснуть застольем. Сейчас встречи больше похожи на простую пьянку, часто и без повода, а тогда это — Рождество, Пасха, Троица. Хоть и редко, но с веселым размахом, впереди всегда гармонист, вокруг него разухабистые бабенки с частушками. Даже если незнакомый случайно зайдет, накормят, напоят, на прощанье обнимут, расцелуют, а потом еще на посошок, стременную, на ход ноги. Бывало, такой гость и ночевать оставался.

А сейчас Дед никак не может вспомнить начало, где-то только с середины.

С сестрой мы в лодочку сядились
И тихо плыли по реке, —

почти шепотом начинает он. —

Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.

Дед бросает уткам очередную корку, птицы буровят веслами лап воду, перекрякиваются.

Злодей пустил злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.

Песню прерывает рык самолета, заходящего на посадку, и это всегда так, в самый неподходящий момент. Дед бы заматерился, но сейчас самое главное:

Сестра из лодочки упала,
Остался мальчик я один.

Дед вдруг вспомнил Саньку и так жалко стало внука, растет безотцовщина.

Взойду я на гору крутую
И посмотрю на край родной, —

и уже не поет, просто утверждает как бы на вздохе:

Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя!

Время незаметно перевалило за обед. Дед идет в кафешку: стаканчик напитка, бутерброд — и можно домой. Санька уже вернулся из школы, Зойка ускакала к подруге Аньке, худенькой и всегда ярко раскрашенной, как елочная игрушка, а может, и по магазинам *пошопингует*, как говорит она. С Анькой, по прозвищу Анчоус, так они сложили ее имя, с долгой, но складненькой фигурой, они могут до вечера дуть пиво и бестолково щебетать о чем угодно. Санька же сидит в своей комнате за компьютером или болтает о чем-то с пацанами по скайпу, а если то хохочет, то матерится по-дедовски — значит, азартно играет в какую-нибудь стрелялку.

Сегодня у внука было тихо, может, уроки делает, но на него это не похоже. Дед никогда не видел Саньку за учебниками, хотя и двоечником он не был. Непонятное поколение растет, не то чтобы чуждое, но какое-то другое. Однажды Дед заглянул в тетрадь внука и слова не смог прочесть, каракуль на каракуле.

- Что за почерк, черт ногу сломит!
- Это гены, деда.
- Какие еще гены?
- Твои, не чужие. Ты посмотри на свой почерк.

А ведь и правда, Дед и сам иногда не мог разобраться, что и о чем рука начеркала. Вот с тех пор и не дают покоя гены эти самые. Кем был отец Санькин, что он из своего нутра передал парню? Не дай бог таким же беспутным станет.

От нескольких коротких встреч с Бурматой Дед уже знал: Толик вырос в детском доме, как он туда попал — неведомо, и почему фамилию такую ему дали в этом казенном заведении. Кем только он не работал, скорее перебивался: и у геологов, и грузчиком, и сторожем. А когда Зойка с ним познакомилась, именовал себя художником. Жил при Доме культуры, комнатку ему там выделили, она — и мастерская, и ночлежка. Художник Бурмата сочинял на листах ДВП рекламу о концертах, фильмах и других культурных мероприятиях. По вечерам в его закутке собиралась местная богема неудачников, как бы художники, как бы поэты и просто любители многозначительных бесед обо всем и ни о чем. Дымили сигареты, разливался портвейн, брэнчала гитара, где-то в тени незримо присутствовали мудрый Сартр и бесшабашно смелый Хемингуэй, завораживающий «Битлз» и грубовато отчаянный «Лед Зеппелин», развратный гений Дали и ушедший от всех мистик Босх, фантазер Корбюзье и сумасшедший Гауди, ведь только у них, там, за бугром могло быть что-то большое и настоящее. Вся эта хрень, взбодренная портвейном, и уложила на лопатки мою Зойку.

Только раскрыл любимого Гончарова, хотел в очередной раз прогуляться с Обломовым, посидеть с ним на диванчике, помолчать, побеседовать — вошел Санька.

- Дед, у меня сложный вопрос.
- Отвечу, если смогу, — обрадовался, отложил книгу: внук так редко стал со мной разговаривать.
- Почему у мамки фамилия Золотарева, у тебя Золотарев, а у меня какая-то непонятная, как кличка, — Бурмата?

Чего не ждал, но только не этого. Соврать не получится, правда нужна, а она не очень красивая. Мальчишка в этом возрасте почувствует фальшь, и доверие к себе потеряю. Зойка, конечно, знала настоящую фамилию Толика. Когда мы забирали внука из роддома, дочь уже на крыльце опередила мой вопрос.

— Папа, сына я назвала Сашей, Александром в честь твоего дедушки.

— Вот как...

— Ты много о нем рассказывал. Таких людей уже никогда не будет. В сказках только, — она откинула уголок пеленки, личико сына раскрыла и поцеловала. — Пусть вырастет таким же, — и посмотрела в небо, будто попросила, а может, вопрошала. Белесый след самолета клубился и таял, крылатая точка исчезла, но звук не хотел оставлять нас, как с родными долго прощался.

Где-то через месяц захотел глянуть в свидетельство о рождении внука и выругался невольно: «Александр Анатольевич Бурмата».

— Зойка, — уже вечером спросил. — Это что?

— Ты о чем, папа?

— Почему у внука фамилия такая, погоняло, а не фамилия?

— Так надо, папа.

— Ты издеваешься, что ли?

— Тебе не понять. Пусть знает.

— Кто знает? Санька или Бурмата твой?

— Он не мой. И запомни, это я родила.

— Дура ты, больше никто!

А мне вот сейчас объясняй. А как? Может, она отомстить этим хотела беглому папаше?

— Понимаешь, Санька, — и рассказал все как было.

— Деда, а фамилию же можно поменять? Хочу как у тебя — Золотарев.

— Конечно, можно. По закону у нас все можно, — и тут я сорвался, наверное, накопилось. — По закону у нас можно врать, воровать, подличать, стучать друг на друга. Но только по-крупному, чтобы как с гуся вода.

Санька смотрел испуганно, таким Деда он еще не видел. Я замолчал, но внутри все кипело. Куда, куда же мы катимся? Страну, как крысы, рвут на части, крошки вокруг — и те тараканье подбирает. Ни слова, ни палку уже не понимают. Может, их бы не в тюрьму, а на кол. Чем выше цивилизация, тем больше откатываемся в преисподнюю. Вон вчера в новостях передали, брат родную сестру изнасиловал и убил. Вот это новость, да заткнуться надо от такого стыда и позора. Ведь ни медведь, ни волк подобного не сотворят. Они звери, а мы тогда кто? Попустительство Господне, да и только. Где же так нагрешить-то могли?

Ну, Дед, раздухарился ты. Внук тихо ушел к себе. Надо чаю покрепче и сигарету на балконе.

Во дворе никого, хочется вспомнить что-нибудь тихое, теплое, как одеялом укрыться, зажмурить глаза. И вдруг явственно увидел скрипку. Она висела у дедушки на крыше, покрытая толстым бархатным слоем пыли, но, когда сквозь щель проникало солнце, луч, будто лезвием, вспарывал серый

чехол, и виден был мерцающий золотом то ли лик, то ли нимб. Скрипка ждала прикосновения руки мастера. Вот сейчас он возьмет инструмент, смахнет рукавом пыль, обдует струны, они вздохнут в ожидании смычка — и...

Давно, больше ста лет назад, это было столыпинское переселение из Центральной России в Сибирь. Отец дедушки Александра, Спиридон, прадед уже мой, привез в наши студеные края свою самую большую ценность. Первый год жили в землянке, и прадед хранил скрипку, завернутую в плисовую тряпицу, похожую на черный бархат, на нарах. Нароботается за день Спиридон так, что до судороги руки и ноги, тут уж не до любви, детей он все больше на покосе сотворял, на душистом валке сена или под копной, под березу еще уводил ненаглядную, только там девки получают, и вот ложится спать, скрипку обнимет и вместе как в омут. Во сне шевельнется, ненароком заденет струну — и звук ее согревает, ласкает, к утру чтобы силы собрать, прикопить. День предстоит несладкий.

На будущий год Спиридон поставил добротный дом — пятистенок, благо леса кругом полно, а скрипку — под стреху на крышу. Все ждал легкого праздничного дня, но так и не сыграл ни разу в Сибири. Перед смертью наказал сыну Александру: «Ты у меня на погосте попиликай, но не торопись сильно, инструмент освой хорошо, он же за тыщи километров пришел сюда».

Но и у дедушки не получилось: то смерть от голода дочки-последыша, то гибель сына Алеши на фронте. Нерадостные дни были чаще, чем светлые. Я частенько забирался на крышу, зачарованно смотрел на скрипку — казалось, сокрыта в ней большая тайна, хотелось коснуться, но останавливал дедушкин запрет. «Не трожь, а то выпорю. Придет время, я тебе ее сам...» Время так и не пришло. На девятый день после поминок взобрался на крышу, лестница совсем погнила, чуть не сорвался, отворяю дверцу чердака; свет не вошел, он ударил в темень. Скрипки под стрехой не было, только свежесрезанный сыромятный шнурок, от старости скукоженный, будто тоже от долгого непосильного труда. Зачем он забрал ее, он же обещал...

Жизнь уходит, только воспоминания остаются, тонкая, почти призрачная паутинка. Было это, не было, не проверишь и не докажешь, но скрипка-то где-то звучит, робко, как ребенок, хнычет, а то и плачет навзрыд.

Вот и Бен Ладен вышел, давненько не виделись. Не на привычную лавочку, стоит посреди двора, озирается, хотя точно знает, Розенбаума не будет.

— Покурим, Миша, — протягиваю пачку.

— Щас бы засадить, а ты покурим...

— Что случилось?

— Комиссию вчера прошел. Со второй группы на третью перевели. Выздоровел я, дворником могу работать. Суки. Намекнули: дай на лапу, оставим как есть. А с чего я дам...

— А как-то опротестовать?

— Хер тут опротестуешь. Интернациональный долг выполнил, трешку с копейками добавляют к пенсии, и сиди не рыпайся. А то, что я до сих пор хожу и глаза в землю пялю, боюсь на мину наступить, это нормально, да? А то, что Ольга со мной не спит, почти каждую ночь из горящего бэтээра

выскакиваю, это как? Только сейчас понял, думал, за Родину там надрываюсь, нет, за государство. А государство — зверь, который жрет нас, некоторых и не глотает. Пережует вот, как меня, и выплюнет... За Родину... Родина — это река наша, где я хариуса научился ловить, палисадник, где батя рябинку посадил, где могилы моих родителей и дедов, Ольга моя, дочки мои, внуки. Да и ты вот, Дед, да и Васька. Ну, давай покурим, что ли...

Скрипка не успокоила, Бен Ладен еще больше разбередил. Опять не усну долго, вечером намахнуть надо. Чтобы Зойка не ворчала, водку я прячу. То в графинчик перелью или в заварной чайник набулькаю. «Дед, ты нам живой нужен. Побереги сердце», — бурчит дочь. Побережешь его с вами... Надо вот про Бурмату узнать, где он и чего. Алименты его нам не нужны, а вот гены хочу пощупать.

Вспомнил про Витьку Новикова, корреспондента отдела культуры в нашей газете. Всю жизнь я отрубил в ней, вначале корректором, потом выпускающим; когда ответсек уходил в запой, и его приходилось замещать, а сказали бы — побудь редактором, и с этим бы справился.

Витька дружил со многими чудиками из богемы и про такую личность, как Бурмата, должен что-то знать. Я не ошибся.

Витька встретил, как всегда, в прокуренной комнате и уже поддатый.

— Старик, ты живой, какими ветрами? Вмажем по граммულке?

— Не, Витек, я только перед сном. Моторчик не позволяет.

— Ну, где ты, как, чего? — суется Витька, выпить охота, а не с кем.

— Тоска, дружище. Книги, телик, уток хожу кормить на берег. На покой, наверное, пора.

— Держись, старик. Жизнь новая началась, интересно.

— Тебе интересно, а мне грустно... Вить, ты лучше расскажи про Бурмату, где он сейчас, может, знаешь?

— Толик в Канске. Рабочий сцены в театре, подженился, все грозит-ся книгу написать. Говорит, трактат философский. О смысле жизни. Как начнет рассказывать, аж захлебывается. Там перемешаны буддизм, христианство, похоже, вообще все религии, о которых он слышал и читал. Крутой замес на экзистенциализме. В общем, дурдом. Но поклонников у него много. А тебе-то он зачем?

— Долгая история. Потом расскажу.

Домой идти рано, но и податься некуда. Вышел из редакции неприкаянный, стою на крыльце, как столб, у которого все провода оборвали, концы их скрюченные болтаются бестолково, хоть к Витьке возвращайся да хлопни пару стаканов портвешка. Вспомнил про свое заветное место, валун на берегу Качи, и потопал туда, правда, без хлеба для уточек. Ну, ничего, они разумнее нас, поймут мое состояние.

Гранитная булыга была теплая, ждала, как утрату, соскучилась. Речушка тихо плескала, доверительно так: или сама с собой разговаривала, или меня приглашала. А у меня как с утра накатило, так до сих пор и не отпускает. Пацаном все мечтал: когда же я вырасту?.. А я уже никогда не вырасту. По паспорту семьдесят один, а в душе те же пятнадцать. Все самое главное помню. Так же наивно мечтаю и витаю где-то сильно вверх или за струной

горизонта. Первую любовь, когда не чувствовал притяжения земли. Когда, не имея ни голоса, ни слуха, пел, надрывая горло в ночной тиши сеновала, о ее трепетной и недоступной красоте... Первое разочарование, как неожиданный удар под дых, как плакал и думал — жизнь кончилась, уже никому и никогда не нужен, уходил в огород и ложился в борозду меж картофельных грядок, будто в могилу. Помню... И освежающий запах родника в расступившейся зелени мха, и усыпляющий дымок костра, когда земля и небо сливаются воедино. Помню... Как струсил и, казалось, воняет от меня, все отворачиваются, но не отмыться. Как победил и размахивал воображаемой саблей справа налево. Сверкала сталь и верилось: так будет всегда. Но, увы, запинался, а то и падал в смердящую тину чаще, чем с гикающим восторгом скакал к вершине. Помню всё... Смех и слезы, кровь и пот. Только не знаю, зачем я был пущен в этот мир. Порой участливый, терпеливый, заботливый, а порою холодный, равнодушный и расчетливый. Может, затем, чтобы улучшить его, сделать более красивым и добрым? Но ведь я на земле не один такой, а перемен что-то не видно. Убивают, воруют, лгут — и всё более изощренно. Может, все зря? Все мы пустое место. Блеф, мираж, морок.

Когда же я вырасту? Да уже никогда. Мне далеко не семьдесят один. Мне все сто семь или тысяча сто семь. Я не вырасту, а врасту в землю, повторив пути отца, деда, прадеда. Единственное благо — удобрю почву, на которой взойдут всегда чудные травы и цветы. Может, и деревья потом будут тенью своей листвы успокаивать подобных мне. Может... Неужели только для этого позвал Всевышний? Вот сижу, морщю лоб, тру подбородок, курю одну за другой. Видимо, только к закату задумываемся о сущности или бессмысленности себя и всего.

Когда я вырасту... Наверное, только в тот миг, когда мятущаяся и усталая от поисков душа покинет дряхлое, бесполезное тело; или взмоет в хрустальные кущи, или низринет в смердящую бездну — и вот только тогда встану в полный рост и откроется заветное.

Я уже никогда не вырасту. Так хочется в детство, хочется до озноба, до сухости во рту, как в бесплодной пустыне, когда один глоток может всё вернуть и продлить.

Когда я вырасту — всё забуду. Любовь и смех, слезы и неудачи, кого ждал и кого ненавидел. Я буду там, за недоступной для вас чертой. Буду видеть все и понимать, но от невозможности подсказать или остановить мучиться больше, чем в сегодняшних пределах...

Так где же отдохновение? Зачем и для чего все-таки запущены Им я и подобные мне в этот вечный двигатель? Шестеренки галактик скрипят, вспыхивают петарды звезд, невыносимый гул пронзает уши, от него пахнет то паленой шерстью, то пьянящими розами — и дух мой в этом хаосе, как в детском доме. Сиротский взгляд, штанишки дырявые, грязь под ногтями и пустота в животе.

Устал, помню все и не вырасту никогда. Отчаянем, как одеялом, накроюсь. Жизнь утратила смысл.

Домой не пришел, а доковылял. Внук за компьютером, Зойка где-то куролесит. Одиноко, хоть стреляйся. Вспомнил вдруг, недавно ездил в Приютчку навестить могилки дедушки-бабушки. У входа на погост на лавочке

сидела старушонка, несмотря на солнечный полдень, в платочке, на плечах — теплая кофта, не вырабатывает уже нужного тепла изношенное тело. Хотел передохнуть, покурить, а она обрадовалась случайному соседу и всю жизнь исповедала.

— А золоту медаль мне не дали. Всю ж войну проработала. Начальнику какому-то дали мою медаль. Она ж золотая. Вот и не дали... После войны тоже работала. Видишь, как согнуло меня.

Чего же я жду от этой жизни? Чужие ошибки в чужих текстах исправлял, а зачастую и лживые новости торопливо относил из редакции в типографию. Какой ты медали ждешь, придурок?

ВЕЧЕР

Кто я? Откуда? Зачем и где?

Ветер из фиолетовой мглы. Скрыться бы. Утонуть. Всё неправда. Ложь и туман. Из фиолетового в серый, душный и пропитанный липкой влагой не провалиться бы. Мгла поглощает жизнь. Выпрямись и встань. Если бы. Был цветок на солнечном подоконнике и завял. Даже запаха не успел родить. Был и завял. Нет, он умер. А может, его и не было. Все это лишь сон и морок... А боль, которая не отпускает, ее-то куда денешь? Как собачонка бездомная привязалась. Сгинь, отпусти!

Из «Дневника постороннего»

Канск — это вам не захолустная, почти вымершая Притычка, где я провел самые счастливые годы, и не Ирба, где окончил школу и познал дурманящую влагу первого поцелуя, и даже не Красноярск, дурацкий и воняющий, где отрубил от звонка до звонка в молодежной газете. Канск — городок серьезный, он обладает не только театром и музеем, здесь есть любимые народом табачная фабрика и спиртзавод, громадное текстильное производство, а у станков сбежавшие из деревень полногрудые девчонки, и все хотят замуж, и все смотрят на мужиков с надеждой. Неохота возвращаться в мир, где главное — поросята, корова да курицы. Таким, как Бурмата, здесь не рай, это их Мекка и Царьград, но самое главное, Канск, не знаю уж почему, считается уголовной столицей Сибири.

Вот и поехал я в этот районный зачуханный городишко, чтобы встретиться с Бурматой.

Если что-то случалось серьезное, громкое, пусть и в сотнях километров от Канска, всегда уверенно говорили: это пацаны оттуда, никаких сомнений. Помню, когда взяли Колю Канского, настоящего авторитета, только по слову которого казнили или миловали, иногда в течение нескольких минут решали многомиллионные тяжбы, уголовный мир задохнулся от возмущения, ужаса и удивления. Как это, Колю, да кто посмел? Как мы теперь без него? Но самое красивое началось потом. Был назначен день суда над Колей, и с утра сотни анонимных звонков сообщили о минировании прокуратуры, суда, магазинов и еще черт знает чего. Короче, службы МЧС и МВД не просто

разрывались на выезды, они крыли Колю самыми грязными словами. Все понимали, сообщения ложные, но по уставу здания обнюхать, осмотреть, просветить и прочее тщательнейшим образом надо. Вдруг среди этого вранья да окажется хоть одна закладка. По одному шелчку из Москвы полетят, сверкая кокардами, шапки у местных полковников и генералов, зачирикают вслед им погоны. Вот же Коля, каков ты авторитет все-таки, не фуфло провинциальное. А не взяли бы тебя за цугундер, как хорошо бы было, пила бы кофе по утрам вся мелочь служивая, вели бы разговоры серьезные о политике, да пусть и о бабах, но все бы как-то привычно, спокойно и без напряга.

Суд перенесли на две недели, народу сообщили, преступник будет наказан. Но в назначенный день хохма со звонками повторилась, и так три раза. Люди в городке уже смеялись, а чиновников от каждого звонка из столицы бросало в нехороший пот. Они лихорадочно думали, что бы еще соврать, почему какой-то сраный Коля держит на ушах целый город.

Вот в такое место и занесло Бурмату. Все случилось по пьянке, но он не жалеет об этом. Из Канска в Красноярск приехал поискать успеха начинающий поэт-художник Юлий Бурмистров. Почему поэт, да еще и художник — он все опусы на холстах подписывал типа стихами. Например, изобразил бурлящую меж скал реку, а на крутом берегу, вся в голубом и готовая к полету, дева — наверняка ткачиха-ударница позировала. Под шедевром размашисто кистью выведено:

Горный поток — это женщина в страсти,
Мечется в скалах, камни ворочает.
Встретил тебя — и я больше не властен,
Инстинктом влеком, но разум не хочет.

Подобные произведения и привез Юлий. Были у него и абстрактные работы, сегодня без них никак, с подобными же бестолковыми стихами. Куда как не в молодежку идти.

Витька Новиков посмотрел, почитал, поморщился, но в надежде выпить на халяву приободрил Бурмистрова.

— Интересно все, забавно, — Юлию не понравилось это слово, чего тут забавного, но он робко промолчал. — Сейчас позвоню ребятам, обсудим, посоветуем, подскажем. Оставляй всё здесь и через часок подтягивайся.

Они расстались. Молодой автор, конечно, купил бутылку коньяка, лимон, плитку шоколада. И совсем скоро за журнальным столиком в отделе культуры сидели Виктор, Юлий, Бурмата и начинающая поэтесса Лира Ионесси, конечно, это псевдоним ее, Лира была просто Катей Сазоновой.

Новиков с Бурматой уже накатили по стопке и о чем-то тихо переговаривались, курили, Катенька-Лира, приобняв Юлия, восторженно смотрела на его картину и почти пела свои стихи. Бурмистрову было неудобно, лишним здесь он себя чувствовал и, как-то уклонившись от вдохновенной поэтессы, подошел к парням.

— Может, еще по одной?

Бутылка скоро, как апрельская сосулька, скользнула под журнальный столик, Юлий уже вместе с Бурматой сходили за второй, потом и за третьей.

Кончилось все тем, что они загрузили картины в багажник такси и помчали в серьезный город Канск. Юлий, чтобы расположить Бурмату, провел его по всем достопримечательным местам городка, первым делом, конечно, галерею посетили. Бурмистров не стал показывать, где его шедевры, было интересно, обратит ли на них внимание сам гость, но Толя — человек опытный, он как бы случайно показывал на какое-либо полотно.

— Старик, а вот любопытная вещь. И по стилю, и по мысли. Это кто у вас так?

— Моя работа, — застенчиво, не веря до конца в похвалу, говорил Юлий. — Тебе правда понравилось?

— Без дураков. Это стоит не только выставки, но и каталога, — что еще умного он мог добавить.

— Говорил директору, давай издадим. Так он, дебил, денег пожалел.

— У вас что, спонсоров нет?

— Какие спонсоры? Ты еще скажи меценаты. Дыра это. Вот бандиты у нас есть, проститутки. На весь город от силы человек пять, с кем поговорить можно.

— Нелегко тебе, понимаю...

Заканчивали ознакомительную экскурсию в драмтеатре, здании, построенном после войны пленными японцами. За эти годы домище в помпезном сталинском стиле пообветшало, могучие колонны фасада были исписаны признаниями любви к Зинкам и Машкам, а вот Валька, так это вообще сучка подзаборная, неведомый Гриша — п... конченный. Короче, колонны были своеобразным переговорным пунктом молодежи. Спасибо большое от юной поросли товарищу Сталину и, конечно, японцам за безмятежно счастливое детство.

И вот здесь судьба кардинальным образом вмешалась в устоявшийся штиль жизни нашего романтика-флибустьера. Юлий уговорил Бурмату сходить на спектакль «Сирано...», где главную роль играла его тайная любовь Люба Воробьева. Девушка родилась и выросла в Канске, матушка с папашей алкашом, но ударником Коммунистического Труда на спиртзаводе, прочили ей будущее на ткацком комбинате. Она же все свободное время проводила или в драмкружке, или в комсомольской агитбригаде. Люба была не то чтобы активисткой, просто ей невыносимо было дома, близкими подружками не обзавелась и уехала в эти суматошные коллективы. Играть или, как она считала, придуриваться на любительской сцене ей нравилось, ее хвалили. Когда пришла пора выбирать будущее, Любе стало так грустно, хоть в реку вниз головой.

Папаша решил, пойдет ученицей на ткацкий, а это значит, на всю оставшуюся жизнь в Канске. Но городок этот был Любе невыносим, как и дом, даже еще больше, он был ей противен. Много позже она полюбит его и будет жалеть, как калеку, ставшего убогим не по своей воле.

Ночами от безысходности Люба плакала, и выход ей виделся только в одном — уехать, сбежать. Но куда?.. И опять же судьба — встретила на улице руководителя драмкружка.

— И куда наша прима нацелилась? — нравилась она ему, в жизни застенчивая, робкая, но на сцене будто огонь волшебный влили в нее, светилась и трепетала.

— Не знаю. Отец на ткацкий гонит.

— Господь с тобой, какая фабрика, ты же талант! Поезжай в Красноярск, в Институте искусств актерское отделение есть. Характеристику тебе напишу.

— Правда?

— Правда, правда, — он приобнял Любу, уже встрепенувшуюся в надежде. — Завтра приходи.

Такого страха, как в Красноярске, Люба еще не переживала. Во-первых, конкурс был аж одиннадцать человек на место, во-вторых, все, кто хотел учиться, уже были похожи на артистов, не только красиво и модно одеты, но и вели себя как настоящие артисты.

«Наверное, прав был отец, буду ткачихой. По осени отнесет он, как и обещал, мастеру литру, и примут ученицей, стану ударницей, на Доске почета меня все увидят. Вот и перспектива, как наговаривал он, потом орден дадут, потом депутатом выберут. Канск гордиться мной будет», — думает Люба, но не легче ей от этого.

Экзамены трусиха Воробьева сдала хорошо, но впереди главное — собеседование, пытаться будут. И здесь Любе повезло, вел ее по жизни кто-то, об этом она пока не задумывалась, только радовалась.

— Воробьева, кто вам эту басню подсказал выучить? — спросил маленький, как пуговка, седой мужичок, это потом уже народный артист Стариков будет Любиным мастером-наставником.

— Никто, я сама.

— Вот так-то, господа-товарищи. Скоро наша провинция всех за пояс заткнет. Воробьева, как вас по имени? Любовь, — произнес он нежно и как бы в назидание всем. — Имя какое красивое! Беру вас в свою группу. Согласны?

Люба чуть не в обморок. Откуда вдруг пришло бабушкино:

— Я помолюсь за вас.

— Вот так-то, господа-товарищи. А вы всё — пьяница, алкаш... Я народный, народ меня любит, даже девушка за меня помолится. Записывайте Воробьеву.

Так вот, как с неба все упало, Люба и стала студенткой. Пять лет прошли незаметно, будто короткая встреча с любимым: только обнялись — уже расставаться пора. И хотя в Красноярске четыре театра, всех туда не устроишь, друзья, знакомые, по благу; в общем, пришлось Любе в нелюбимый Канск возвращаться. Дома ее встретили как-то странно, отец робел перед дочерью. Мать, если раньше хоть изредка, но ласкала, была приветлива, то теперь родное чадо стало будто падчерицей или приемышем. Зато в театре сложилось как никогда удачно, землячка все-таки, не пришедшая выскочка, была равная среди равных.

Блиzkих подруг, как и в детстве, у Любы так и не появилось. Она, как пишут бездарные журналисты, всю себя отдавала сцене. Жизнь шла, годы шелкали, пока в Канске не появились Александр Иосифович Коньков и Бурмата. Коньков был приезжим режиссером, аж из самого Ленинграда, он-то и поставил «Сирано...» Ростана. Пьеса всем актерам и театрам хорошо

знакома, но новый режиссер так ее прочитал, что местные зрители впервые на премьере утирали настоящие слезы, а смех их был искренним, и в конце они, такого никогда еще не было, непроизвольно встали и хлопали, хлопали.

Бурмата был уже на втором спектакле, и занавес еще не раскрылся, но он, не сдерживая иронии, склонился к Юлию:

- Давненько не был в кукольном.
- У нас драматический, — не понял его Бурмистров.

После первого акта провинциальный зритель не ринулся в буфет или покурить; как пришибленные почти все остались в зале. Бурмата отправил Юлия купить программку, а когда юный друг вернулся и развел руками, он попросил рассказать, что это за бабенка в главной роли. На такие слова Бурмистров обиделся: он был не просто влюблен в Любу, он ее обожал, для него она была бриллиантом в зачуханной короне Канска, и поэтому просто буркнул:

- Наша, канская.
- А имя-то хоть знаешь?
- Любовь Воробьева.

Вот и все, что узнал в тот вечер о молодой актрисе Бурмата, правда, на выходе он ненадолго остановился у доски приказов, где прикноплены листки о распределении ролей, премиях и выговорах, и успел отметить, что театру требуется рабочий сцены.

Почему, Бурмата и сам на это не сможет ответить, на следующий день он пришел к директору театра и написал заявление о приеме на работу. Неужели буровой мастер не справится с задачами рабочего сцены, тем более что цель у Толика Сиротинина, это он знал уже точно, была совсем другая. Ему не просто, а во что бы то ни стало нужно было покорить волшебную Роксану. Он не помнит, когда такое переживал, чувствовал, но Толик вдруг увидел, как в туманном мареве, свою первую любовь. Девочка тоже была детдомовкой, худенькая травинка, скорее даже тощенькая, но пацану показалось, что она может взять его за руку и увести из проклятого детдома. Надо было поближе сойтись с девочкой, и Толик, когда им выдавали после обеда пряник, не съедал его, прятал в карман и долго караулил девочку во дворе.

Пряники помогли, уже через какую-то пару недель девочка позвала его в кладовую, где хранились матрасы и другое постельное, и они стали близки. Про это Толик от пацанов знал много и сразу понял, девочка уже не девочка. Мало того что Толик не получил никакого удовольствия, а ждал, опять же по словам пацанов, волшебства и тайны перевоплощения в мужика, так он был еще смертельно обижен тем, что не первый. И тогда малолеток подумал, любовь — это сказка, выдумки взрослых, а то, позорное и противное, что они называют красивым словом «любовь», — просто случка.

И вот теперь Люба-Роксана, как та же девочка, казалось, хочет взять его за руку, уже даже птицей протягивает крыло-ладонь, и они, осталось только сблизиться, вместе — туда, где он никогда не был, но подспудно догадывался, только там он познает чудо любви и найдет себя.

Вот ведь как бывает... И Бурмата разработал план. Вместо шершавых пряников в дело были пущены шоколадки и вино, букеты после спектаклей, малый успех получил, его изредка впускали в гримерку, он тихо и нараспев

читал Есенина и Гумилева. Не действовало, оставалось последнее, проверенное и беспроегрышное: уединиться, побренчать на гитаре, перемежая песни о туманах и перекатах диковинными байками про тайгу, буровую, страшных медведях и веселых геологах, но на Любу и это не действовало. Она хоть и слушала, но как-то обреченно-тоскливо, мол, давай, давай, всё это мы проходили в студенчестве.

Бурмата наконец-то понял: походы в кафе и даже ресторан не помогут, требуется что-то решительно неординарное. Уже отшелестела осень, городок укутала-убаюкала зима, ночью он тихо посапывал, изредка вздрагивая от станционных гудков поездов, равнодушно уносящихся на восток или запад, днем же только лениво приоткрывал глаза и дремал до вечера, чтобы опять забыться в одиночестве и тоске. «Надо бежать, драпать отсюда — и как можно скорее», — Толик у окна общаги пучился в ночную мглу; ни сигареты, ни бутылка вина не спасали от безысходности. Вдруг, как по наитию, он встал и пошел к цветочному киоску. Небо было чистым, всё в звездах, безнадежно далеких, загадочных и недоступных, ковш Большой Медведицы еще не склонился к горизонту, значит, не поздно, можно успеть, но Толик не стал ускорять шаг, он был уверен и шел степенно. Продавщица, укутанная в шаль, курила на крыльце, готовясь закрывать торговую точку; в магазине было уже темно, и Толик окликнул женщину.

— Уважаемая, подождите!

Ему распахнули дверь, щелкнули выключателем. Ассортимент был небогат, и Бурмата попросил:

— Может, вы сами выберете?

Женщина сняла шаль и оказалась не то чтобы старушкой, но очень уж пожилой и как-то устало подорванной, как бы поизношенной безнадегой жизни. Толик даже хотел извиниться и уйти, но она остановила его.

— Вы к любимой или на день рождения?

Как тут ответить? Бурмата опешил.

— Пусть будет к любимой.

— А какие цветы она любит, знаете?

— Думаю, любые, кроме черных, — соригинальничал он.

На женщину это не подействовало. Букет скоро был готов и, несмотря на скудость выбора, очень даже красиво выглядел.

Но как, вот задача, как теперь без приглашения войти? Да и дома ли она? Бурмата запахнул полой пальто букет, глянул в окна знакомой квартиры на пятом этаже, они светились. Решение, точнее озарение, пришло мгновенно. Он подошел к урне, из которой торчал полиэтиленовый пакет, вытряс мусор, снял туфли и носки, впихнул все в пакет и за углом дома загреб его снегом. Потом минут десять потоптался по ледяному асфальту, ступни стали синекрасными, но холод и дрожь его сейчас не трогали, ему было легко и весело, он даже напевал: «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой...»

На звонок дверь открылась не сразу, вначале Люба спросила:

— Это кто?

— Я принес сюрприз, как вы и просили.

— Я ничего не просила.

— Люба, это Сиротинин.

— Господи! — она увидела его босым. — Ну проходи. Ты, как всегда, в простоте ничего не можешь.

Букет вальяжно расположился посреди стола в вазе, они пили кофе, молча посматривали друг на друга, как бы узнавая по новой. Люба думала: «Ну вот что с ним делать?» А Бурмата: «А что дальше? Надо же что-то еще». Потом немного рассказывали каждый о себе, просто, без прикрас, а когда пришла пора расставаться, хозяйка робко произнесла:

— Босиком тебя не отпущу. Постелю на кухне — и ложись.

— А можно?

— Сегодня можно, — она засмеялась, и они оба еще не знали, что это «можно» станет надолго.

Деду ну никак не хотелось ехать в Канск, три часа в электричке, а потом найдет ли он этого Бурмату, да и зачем он ему. «Просто посмотрю на него и назад», — уговаривал он себя и неспешно собирал портфель, что-нибудь нехитрое перекусить, минералку, сигареты и томик Вулфа «Домой возврата нет», с недавних пор любимую книгу. Много находил он в ней про себя, про жизнь вообще, удивлялся, как вообще это смог постичь американец, от такого текста с ума можно сойти. Третий раз перечитывать будет и все медленнее, смакуя каждую страницу. Ждал Дед и второй том Вулфа «Оглянись на дом свой, ангел», но Дед робел перед ним, как перед прыжком в неведомую, пугающую тьмой и манящую глубину.

Через какой-то час электричка почти опустела. Дед покурил в тамбуре и уже с книгой на коленях задремал. Электричка вздрогнула, засвистела перед очередной станцией, «Маганская», как из железной бочки объявили. Дед открыл глаза.

Тоскливой и грустной была дорога в Канск. Этот Бурмата Деду был уже совсем не нужен. Гвоздик бы ему в голову, вспомнил он слова бабушки Олёны. Это пришло уже из детства, как всполох дальней зарницы. Грома нет, но великое пространство играет беззвучно цветами, будто невидимый орган, и тихий испуг накатывает, обволакивает. Сварливые собаки неслышно волокут цепную привязь, забиваются в конуру, как в окоп перед нещадной бомбежкой, петухи, только что оттоптавшие кур, вдруг хоронятся в соломе за насестом, будто и не было у них никогда лихой удали. Что-то будет скоро.

Будучи дошколенком, он несколько дней наблюдал за гнездом ласточки под крышей дровяника. Когда она его слепила, он не заметил, а только недавно услышав писк птичьих деток, теперь с самого утра садился на чурку и наблюдал за ласточками; мама и папа носят своему выводку то кузнечика, то червячка. Мальчишка был просто зачарован этим действием. Особенно ему нравились паузы. Птенцы насытились, трудяги родители упорхнули, а детки вдруг снова на разные голоса начинают требовательно кричать: «Еще хотим, еще вкусенького!»

Как-то бабушка истомила в русской печи для внука чугунок какао на сливках, налила чашку, и мальчишка, еще ни разу не пробовавший такого чуда, только ушла бабуля, взял ухват и с трудом, но смог этот чугунок вынуть из пасти горячей печи. Когда бабушка вернулась покормить внука обедом,

чугунок стоял на столе пустым. С тех пор Деду даже от запаха какао становилось дурно. А птенцы всё пищали и пищали. И мальчишка, то ли жалко стало ему трудяг родителей, то ли еще почему, он этого так и не понял, взял длинную жердь, ударил по гнезду, оно расколосось, и на березовую шепу упали три желтоклювых беспомощно шевелящихся комочка. Протянул руку, хотел их потрогать, но прилетели родители, громко запричитали, заметались между крышей дровяника и землей, отец детей все норовил клонуть пацана, и мальчишка громко заплакал. Он не испугался, ему стало жаль утраченной забавы. И вообще, за что они его, ведь он хотел помочь усталым птицам.

Прибежала бабушка.

— Внучок, ты что? Обидел кто?

Он показал порушенное гнездо, на слюнявых, залипших в опилки и дресву птенцов. Взрослые ласточки с появлением бабушки молча сидели поодаль, доверили ей принимать решение.

— Это кто же натворил?

— Баба, это я.

— Зачем? Кто тебя надоумил?

— Не знаю. Они пищали.

Бабушка прижала внука к груди, от нее пахло коровьим молоком и дынями.

— Это грех, Семен, — по-взрослому она еще не называла его. — Я же тебе говорила про Бога. Он все видит, Боженька наказывает за грех.

— Как наказывает? Ремнем бьет?

— Вон облачко на небе видишь? Боженька за ним прячется, посматривает за людьми. А вон еще одно облачко, там у Него кузница и ангелы куют Ему гвоздики. Если согрешил кто сильно, Боженька берет гвоздик и опускает, а тот прямо в голову грешнику.

— И всё, баба?

— И всё.

— А гвоздик потом из ж... выходит?

— Этого уж я не знаю.

Мальчишка бывал у дедушки в кузне, ему нравилось смотреть на трепещущее синевой пламя в горне, он удивлялся, как быстро простая железная палка вдруг становилась красной и, наверно, вкусной, вот лизнуть бы; а потом на наковальне она оживала, летели во все стороны звездочками искры, и палка превращалась либо в подкову, либо в дверную щеколду, либо еще во что-то полезное. Эта кузница была доброй. А почему же у Бога куют гвозди людей протыкать?

— Баба, меня Боженька тоже накажет?

— Это твой первый грех, ты не ведал ее, простит Он. Пойдём помолимся.

Бабушка уводит внука в дом, стает на колени и чуть слышно, только для себя, говорит что-то. Сема уже не боится гвоздика, он вспомнил, дедушка обещал вечером сводить на рыбалку.

Бурмату оказалось найти несложно. Многоопытный Дед знал куда пойти — конечно, в редакцию, в районке не только местные сплетни ведают, но и про таких необычных новичков в городе могут кое-что рассказать.

В фойе театра Сиротинина он прождал больше часа. Первой появилась Люба.

— Вы Анатолия ждете?

— Да, жду.

Дед удивился, почему эта сразу понравившаяся ему женщина вдруг опередила Бурмату. Явно, не родственница, очередная жертва. И ее охмурил туманами.

Но вот и он. Быстрым шагом, оторвали от важного и срочного, почти уперся в Деда, в глазах недоумение, легкая растерянность.

— Слушаю вас.

Деду уже не хочется ничего говорить. Он увидел *его*, понял — и достаточно.

— У тебя сын растет. Большой уже. Ты знаешь об этом?

— Допустим.

— Повидал бы хоть. Он хочет этого.

Бурмата отвел взгляд в сторону, резко тряхнул головой, как бы избавляясь от ненужной и докучливой памяти.

— Я не только отца, но и мать ни разу не видел. Он с тобой, что ли, а я вот в детдоме хлебал одиночество.

— Сын не виноват в этом.

— Виновных всегда нет. Никто ни в чем не виноват, — и Бурмата так же резко, как и появился, ушел.

Опешивший от этой фразы Дед несколько минут стоял как пришибленный. Догнать Бурмату, горько упрекнуть, ударить побольнее. Нет, все не то. Он живет одним днем, а может, и надо так. Жизнь так коротка. Утро, день, вечер, ночь — и всё. Потом вечность. Но почему же она так пугает? Как мрак в детстве, когда ты дома один и, кажется, в каждом углу притаилась опасность. Пойти и проверить не хватает смелости, духу не хватает, и лежишь без сна, чего только в голову не приходит. Любой шорох, любой звук, если они не поддаются объяснению, многократно увеличивают страхи. И страхи эти не имеют ни человеческого, ни звериного обличья. Просто темный клубок страха.

Вечность — вот этот страх, догадывается Дед, ее не выразить словами, может, она лишь для того, чтобы ты наконец понял, для чего в уютное тело женщины было впущено, посажено твое крохотное семечко, зернышко, из которого ты, выскользнув робким ростком, окреп и набрался сил, ну а теперь давай, совершенствуйся, твори, созидай. И вот что-то ты сделал, чего-то не сделал, что-то понял, чего-то не понял и в итоге в недоумении приходишь опять сюда — в Вечность. И какой смысл в этом, скорее бессмыслица, жестокая, как приговор на вечный срок без права условно-досрочного или амнистии. Может, поэтому самоубийц и не хоронят на кладбище, и не отпевают. Некого отпевать, они совершили рывок, побег через колючку правил и устоев.

Что же получается? Бог — хозяин нашего концлагеря. Мы здесь всего лишь на перевоспитании...

Дед, как бы стряхивая этот морок, невольно перекрестился. «И нет здесь правых и неправых. У каждого своя правда, своя цель, своя истина. И у Зойки,

и у Бурматы. А чего я тогда мучаюсь, чего мне не хватает? Живи проще. Но опять же это возврат к рептилии».

Уже на вокзале, ожидая электричку, Деда вдруг охватили такие отчаяние и пустота, что жизнь утратила всякий смысл. Скоро наступит завтра — как путь в никуда. Над прошлым багровый бесформенный рубец, над будущим уже занесен бесповоротно заточенный клинок.

Дед смотрит в небо, может быть, там ответ, и не может понять, почему, когда нам тяжело, помощи всегда ждем оттуда. Но звезды мерцают, не раскрывая тайны. Полная луна равнодушная, холодная. И только облака — дети ветра, их беззвучная песня прекрасна в ночной тиши. Облака откровенны, кажется, вот сейчас...

НОЧЬ

Остановись, остановись ветер, остановись время, остановитесь звезды. Мрак и тишина, укройте, может, согреюсь. Может, уйду, откуда пришел. Тщетный, обдирающий в кровь поиск не привел к цели. А была ли она? Лабиринт без выхода. Эта мучительная тренировка — всего лишь подготовка к прыжку в иной мир; возможно, там будут властвовать любовь и гармония. Хочется верить. Верить всегда больно. Вдруг полет в искрящееся небытие всего лишь бред воспаленного разума?

Кто я? Кроме себя нелепого и никому не нужного — кого увидел? Сместон? Да. Слаб и бестолков от невозможности что-то исправить? Да. Просто облачко пара, выдохнутое в холодное пространство.

Где я? Отчетливо вижу лишь хаос и бессмысленность, они окружают, кольцо сжимается, безропотно ожидаю часа X.

Откуда? Догадываюсь, но вслух это непроизносимо.

Но вот зачем? Зачем?..

Из «Дневника постороннего»

Это, может, привычка, но в «час Быка» он всегда открывает глаза. Скорее потому, что когда-то, уже и не помнит от кого и где услышал, люди чаще всего в это время расстаются с жизнью. А ему, видимо, на уровне подсознания не хотелось покидать земной мир со всеми его прелестями и горестями.

Вот и сейчас вязкая, непроглядная, как гудрон, тишина. Ни птичьего звона, ни самолетного рокота, ни паровозного гудка — все замерло. «Наверное, — думает Дед, — что-то еще я должен сделать, подсказать, совершить, ответить». И вдруг — как пронзило: надо к отцу, на родину...

В Ирбу выехали рано, чтобы к ночи вернуться домой. Серега, сосед Деда, шустрый бесшабашный парень, только что купил вишневую «девятку», счастье и гордость переполняли его, и он соглашался на любые поездки, лишь бы порулить, покрасоваться. Окна машины всегда были открыты на полную, из них гремела задорная и бестолковая песня: «Моя вишневая „девятка“...»
— А зачем мы едем? — вдруг спросил Серега.

— Сам не знаю. Захотелось увидеть отца, поговорить хоть полчаса, выпить по стаканчику.

— Я бы тоже с отцом увиделся, — Серега резко вдавил педаль газа. — Вот, послушай, недавно написал.

Из недавнего детства
Явилась весенняя слякоть:
На охоту отец
Обещал меня взять и не взял.
Я бежал по следам,
Бормоча себе: «Только не плакать!»,
Задыхаясь от слез,
По отцовским следам я бежал.
Никогда не прощу
Себе то, что устал от погони,
А отцу — что так ловко
И хитро запутал свой след.
Снится: мальчик бежит,
Но отца он уже не догонит,
Потому что отец...
Потому что отца уже нет!¹

«Девятка» рассекала утренний туман, мелькали беспечно зеленые березняки, задумчиво-насупленные стога сена, болотные проплешины на лугах, будто кто-то неряшливо здесь прибирался. Серега вдохновенно декламировал стихи, теперь уже больше про любовь. Как-то, поддатый, он прочитал их Деду во дворе. Дед оценил творчество, показал начинания соседа Витьке Новикову. Стихи напечатали, и так они подружились.

Свою поэзию Серега считал баловством, главным для него был бизнес. Тогда только-только позволили заниматься предпринимательством, и Серега по-быстрому сообразил: тут можно хорошо заработать, и открыл кооператив. Полуграмотная бухгалтерша Анжела, больше года ее нигде не держали, спившийся художник Пономарь да два бичеватых работяги под чутким руководством Сереги, поэта-дробильщика, такова незамысловатая профессия была до этого у него на заводе, лили для народа всякую гипсовую хрень. Формы они где-то скоммуниздили, и из мастерской, сараюшки, когда-то принадлежавшей бомжам, но безжалостно изгнанным, как с конвейера потоком шли гипсовые распятия. На религию вдруг появилась мода, замысловато узорчатые плитки для потолка, их как горячие пирожки расхватывали такие же, как Серега, кооператоры, они возводили особняки, которые надо было сделать красивыми. Обиженные бомжи несколько раз хотели отомстить проклятому буржую, пытались поджечь сараюшку, но Серегу не зря больше знали как дробильщика. Если кто его трогал хоть словом, хоть делом, он резко отвечал: «Раздроблю!» — и, не раздумывая, дробил кости посягнувшим на его личность, тем более на дело. Бомжи, подальше от греха, перебрались вообще в другую часть города.

До Ирбы было совсем близко, как Серега неожиданно сбросил скорость, хотя не любил этого: «ласточка» не имеет права плестись, она должна рассекать пространство.

¹ Стихотворение Сергея Мамзина.

— Смотри, вон партизан какой-то.

Из черемухового колка двинулся высокий мужчина, он хотел побыстрее, но часто запинался, сбивался на короткий шаг. Шел он наискосок в нашу сторону, явно слышав автомобиль. Над головой мужика, точно маскировка неведомо от кого, торчал и трепыхался травяной веник.

Мужчина поднял руку, помахал, и Дед узнал его, это был отец.

— Серега, тормози, это батя.

Вышли из машины, закурили. Отец был бледен, улыбался растерянно, как бы был виноват в том, что остановил.

— Таня попросила травы пособирать. Она сейчас только ей лечится.

— Рано ты что-то вышел.

— Знаешь, сынок, и с чего бы это, подумал, что умру сегодня. Упаду в траву и не найдет никто. Мыши обгрызут до косточек.

— Батя, ты чего? Рано тебе о смерти.

— Сам не знаю. Подумал вот...

Рюкзак с травой запихали в багажник. До села ехали молча. Мать дома заусетилась, усаживала покормить, но Деду хотелось побыть с отцом наедине.

— Пап, а давай на реку съездим, искупаемся. Сто лет в нормальной воде не был.

Отец вопросительно глянул в сторону матери.

— Поезжайте, чего уж там.

По дороге остановились у гастронома, взяли бутылку водки, колбасу, сыр. Серега решил сгонять в книжный, вдруг в селе что путное найдет, а может, просто догадливым был, видел, что мы хотим вдвоем побыть.

Июньское солнце уже набрало силу, пронзительно хлесткими лучами прогоняло с искрящейся поляны росу. Отец сразу разделся, он был в длинных черных трусах, высокий, худой, и они казались большими, не по размеру. Я скинул футболку, джинсы.

— Ну что, батя, пойдём. Потом по маленькой.

С разбега сразу нырнул. Холодная вода встрепенула, чуть проплыл и оглянулся. Отец зашел только по колена и плескал на себя, как драгоценными камнями осыпал сверкающими брызгами, растирал ладонями грудь, живот. Видно было, он наслаждался, как бы знакомился с рекой, на которой вырос, а сейчас вдруг то ли боялся потревожить ее, то ли обидеть.

— Хорошо! — крикнул я, хлебнул воды и закашлялся.

Отец не ответил, присел в воду, и только сейчас я заметил на затылке у него проплешину. Лысина была какая-то навязчиво желтая и как бы аккуратно выбрита. Стало жалко батю, будто он неухоженный ребенок, большой и нескладный.

— Как ты на пенсии, не скучаешь?

— Чего скучать, огород, мать совсем больна.

— К Стекольщикову ходишь? — это наш сосед, столяр, с деревом как с любимой обращается, вся мебель в нашем доме его рук дело.

— Уже год как умер.

— Пойдем помянем.

Вот и Серега вернулся, мы двинули в обратный путь. По дороге встретили автолавку, в очереди одни мужики.

— Портвейн дают, — определил отец. — Остановись, возьму бутылку. Водку я сейчас не очень.

— Батя, тут больше часа стоять.

— Я фронтовик, меня все знают. Без очереди возьму.

И правда, отец только подошел, поздоровался с одним, другим — и толпа расступилась.

«В городе такого бы не случилось», — подумал и вспомнил горбачевские очереди за водкой, какое там фронтовик, безногого не пропустят кто помоложе, по головам лезут, поубивать готовы друг друга. Злоба, одна злоба. Встрепенулся, и я вот сижу — барин.

Выскочил из машины, протолкался к отцу.

— Батя, бери ящик. Я заплачú.

Отец растерянно и просяще посмотрел в толпу.

— Костя, это сын твой? Пусть берет.

Мать дома причитала, что совсем не посидели, но мне ведь хотелось всего лишь увидеть отца, да и надо было торопиться дотемна.

— Приезжай через месяц. Огурцы пойдут, помидоры. У вас же там все химическое, с отцом по клубнику ходите, угостишь Сашеньку, я уже и не представляю его. Привез бы. А клубника у нас, помнишь, какая...

Как ее забудешь, большую чашку вареников с клубникой за раз съедал, мать не успевала лепить. Макнешь его в сметану, а сок рубиновый по пальцам, пчелы зудят вокруг, тоже попробовать хотят.

Отец вынес бутылку портвейна.

— Возьми с собой, мне и так много.

— Батя, не пью я его.

— А ты выпьешь и меня вспомнишь, — обреченно как-то сказал он.

Тогда я не придал значения этим словам, а он как напроорочил. Утром следующего дня пришла телеграмма: «Папа умер».

Бутылка «Агдама» так и стоит у меня на книжной полке. Этикетка выцвела, посерела, а выпить никак не решусь.

Хоронить отца пришло немного людей. Родных у него почти не осталось, дядя Коля застрелился, он отвоевал летчиком корейскую, потом спецслужбы его прятали, чтобы не разболтал непонятно какие секреты, вот и пустил он себе пулю в живот на таежной заимке. Младший брат дядя Володя неожиданно разбогател, жена была завмагом, и смылись они в Крым, видать, за решетку не хотели. Дядя Вася, старший, спился и голосу не подавал, где он. Вот и пришли соседи да несколько шоферюг; батя почти всю жизнь проработал, или, как говорил он, отмантулил заправщиком на автобазе. Старые водилы, уже тоже пенсионеры, уважали отца, он их понимал и всегда литров пять лишних умудрялся залить в бак. Отцу они не говорили спасибо, иногда молча то куль комбикорма забросят, зимой свинью чем-то кормить надо, один раз даже мешок семечек подогнали. Вот радости-то нам, ребятам, было.

Отец никогда не был строгим, а в гробу выглядел сурово, будто наказывал всем: не торопитесь, живите, мол, и радуйтесь.

— Может, награды ему на пиджак, пусть покрасуется? — спросила мать.

— Не надо. Он и при жизни их не носил. Можно возьму их на память?

Наград у бати было всего три. Бестолковая, по его словам, медаль «Ветеран труда» — ее вручили, провожая на пенсию. Медаль «За победу над Германией» с профилем великого вождя и орден Красной Звезды — награда нашла героя, но про это особый рассказ. Меня сейчас больше тревожило и волновало, как отец, от кого узнал день своей смерти. Утром сказал, а вечером ушел. Вспомнилась и смерть деда Александра, ведь он тоже наверняка знал, приготовился, только не сказал никому, поберег как бы. Смерть, наверное, главная загадка, куда-то же мы уходим. Не случайно об этом знали и дед и батя. Спокойны были, ни слез, ни истерик, выполнили отпущенное — и в вечность. А может, к Богу, уже сам себе сказал я.

Отцу было восемнадцать, когда началась война с немцами. Первым ушел Василий, мать видела, что и Костя рвется, но тормозила, пока курсы бухгалтеров не закончит, а он получил корочки и в тот же день написал заявление добровольцем. Из Ирбы направился в Красноярск, несколько месяцев учили на пулеметчика да рыть окопы, а потом и на передовую.

Еще пацаном Семка нет-нет да и просил отца рассказать о войне. Но тот отмалчивался.

- Ничего там хорошего нет. Смертоубийство одно.
- Папа, а ты хоть одного немца укокошил?
- Не приглядывался. Может, и попал в кого.
- Расскажи маленько.
- Пойдем лучше на звезды смотреть.

Они выходят на крыльцо, новенькое, еще пахнет смолой, отец по весне раскатал их хибару на дрова, а летом поставил дом. На жарком солнце сосновые бревна обильно покрылись каплями смолы, как бы вспотели, и дом засверкал, словно золотая игрушка. Мать несколько раз брала Семена за руку, они отходили в сторону и любовались новостройкой.

- Смотри, сына, видишь семь звезд? Это Большая Медведица. Мальчишка разглядывает сияющий купол, но никакой там медведицы.
- Где она?
- Вон, на ковш похожа.
- Но у ковша ни лап, ни хвоста, какая это медведица?
- Это ученые люди так называли.

«Никакие они не ученые, — думает мальчишка. — Обманывают зачем-то».

Отца с его «сковородой», так он назвал ручной пулемет Дегтярева, прикрепили к разведчикам. С этой убойной штукой он должен был прикрывать отход роты.

Несколько дней батарея не могла взять небольшую возвышенность, уж больно плотно засели немцы. Только вперед, они лупят как оглашенные. Много пацанов наших там положили. Командиры обмозговали и решили отправить разведку боем, а чтобы засечь огневые точки фрицев, все вернуть ночью.

Уже совсем близко были немецкие окопы, даже слова их какие-то дурные доносились, как татарин Руслан (бойцы пограмотнее подшучивали над ним: «Где твоя Людмила?»), на что он обиженно отвечал: «У меня Фаруда,

а не Люда, она меня ждет») запутался в колючей проволоке — и как заорет, мешая русский с татарским: «Шайтан, куберды-буберды, нога, б..., помоги, Аллах!» — да визгливо так кричит. Ну а немцы не совсем уж идиоты, они каждую ночь ждут наших. Запустили, сразу и не сосчитать, ракеты осветительные — и как лупанут из пулеметов-минометов.

Рота назад, не до Руслана им. Командиры, конечно, засекли огневые точки, а батя со «сковородой» остался. Сколько он их разогрел, не считал, щедро покормил фрицев, да вдруг так долбануло, что очнулся только в лазарете. Ничего не помнит, голова забинтована, только один глаз видит.

Уже потом, двигаться когда начал, рассказали ему. Высоту, конечно, взяли рано утром, раненых и убитых вынесли. Покалеченных — санитарам, неживых — в общую яму, и закидали бы черной от горя землей, пусть отдыхают от этого ада, может, хоть там их встретят по-человечьи, теплотой и заботой, но солдатик с лопатой окурок шелкнул в разверстую пасть могилы, да как закричит: «Шевелится там! Шевелится один...»

У бати полчерепа было снесено осколком мины, но жизнь, как собачонка бездомная, привязалась, не хотела его отпускать.

Вытащили отца считай что мертвым, и молодой хирург, которому показали холодеющее тело, великим экспериментатором мог бы стать, а может, и стал. Все, что есть у Деда, сейчас бы отдал, ничего не пожалел, чтобы разыскать доктора того и упасть на колени. Но под резолюцией из санбата фамилии нет, только длинная заковыристая подпись. Эту подробную резолюцию отец хранил, сейчас она у меня, писана коричневатыми с красным отливом чернилами, будто запекшейся кровью.

Хирург вырезал у отца ребро, распилил на три части, дырку в голове обеззаразил спиртом, скорее всего, и поставил реберные косточки на место страшной раны. Месяц отец отлежал как полено, кровоточила рана, гноилась, хирург каждое утро к нему первому подходил. И вот батя шевельнул вначале ногой, потом и рукой, а тут уже и закурить у соседа по койке попросил.

Через полгода отца комиссовали, левый глаз, правда, видел плохо и рука левая как бы непослушной стала. Да ничего, вытащил его к жизни, как безнадегу из мертвой трясины, хирург, отчаюга рисковый.

Домой отец возвращаться робел, целый год провоевал, а даже медалюшки заваливающей не получил. Был, правда, один раз перед строем представлен к медали «За отвагу», уже после четвертой или пятой разведки, но так и не была она вручена — наверное, во фронтовой неразберихе затерялись бумаги. И только через семь лет после войны словно опомнились в штабах, грехи решили замаливать. Вызвали отца в военкомат, и подполковник Тарасов одной рукой, вторую потерял в мясорубке военной, похлопал по плечу и вручил орден Красной Звезды. Напились они тогда с военкомом и задружили. В районной газете «Правда Ирбы» ровно за день до смерти Сталина появилась заметка «Награда нашла героя». Потом батя еще много раз встречался с полковником, получал юбилейные медали, но их наградами он не считал, они, наоборот, как бы жалили в больное. Конечно, выпивали с Тарасовым, но так, как в тот раз, уже не напивались.

Внук Санька стал совсем большим, к Деду заходит все реже, только чтобы денег стрельнуть или предупредить, что вернется поздно. Вот и тогда зашел, но молчит, испытующе смотрит.

— Вымахал-то, на голову выше меня.

— Гены, Деда, от них никуда.

— Какие гены, мать как сморчок, да и я не сильно-то.

— А отец у меня какой?

— Вспомнил, — Дед вздрогнул от вопроса. — Вроде высокий.

— Дед, посмотри вот. В журнале «Искусство» прочитал, — рука у внука была за спиной, он разогнул ее и протянул.

Журнал был раскрыт на статье, которую предваряла большая цветная репродукция человека. Мужик, это бросилось сразу, в какой-то нелепой обуви — и не ботинки, и не калоши, какие-то растрепанно-разношенные чуни, в телогрейке, распахнутой на голой груди, корявые скрюченные руки вздеты, и лицо усталое, измученное, тоже — в небо. В глазах — и вопрос, и крик. А совсем высоко — недосыгаемое солнце. Аспидно-черное, мерцающее всеми оттенками черноты, будто из вороньего крыла скроено. И лучи у солнца — черные стрелы, не достигая земли, ломаются, а человека, отчаянно вопрошающего, они огибают плавно.

— Невеселая картинка, — Дед с подозрением посмотрел на внука.

— А ты подпись читал?

— Грузчик Бурмата, — обреченно произнес Дед.

— Это мой отец, что ли? Или однофамилец?

— Я его видел всего раза три. Похож маленько.

— Я тебе давно говорил, фамилию хочу поменять. Это как сделать?

Оказалось, это не так просто, но молодежь упертая, через месяц внук показал новый паспорт.

— Золотарев Александр Семенович, — гордо произнес он.

— А Семенович-то почему? — лицо Деда от счастья даже помолодело.

— Не тот отец кто породил, а тот, кто вырастил. Правильно я говорю... папа? — внук видел, с Дедом что-то не то, что-то надо, что-то еще. — А может, обмоем это?

— У меня нет ничего. Сгоняй в магазин. Я денежку дам. Хотя нет, пошли вместе, — сейчас расстаться с внуком он не сможет.

— Вон же у тебя есть, — Сашка показал на бутылку «Агдама» на книжной полке. — Винцо выстоялось. Сколько помню, она у тебя.

Зойке сын не сказал о перемене фамилии, да и узнает она об этом, наверное, только когда он в институт пойдет или в армию призовут. Странно, беда придет — маму зовем, на Бога надеемся, но Дед точно не помнит, чтобы он был близок с матерью, отец хоть на звезды посмотреть еще младенцем выносил его. Первый раз это случилось, когда дома не было, жили в халупке, почти в землянке, дым из трубы выходил строго вертикально в морозное небо, и малышу казалось, что по этому столбу можно вскарабкаться к мерцающей и манящей всеми тайнами вышине. Отец подолгу смотрел на небосвод, прижимал сына все плотнее к груди, маленький Семен хорошо слышал его сильное сердце и свое крошечное, оно тикало как часики, а отец все смотрел,

почти не дыша, молчал. «Я люблю тебя», — хотелось сказать малышу, но он тоже молчал, будто боялся нарушить это единство отца, неба и Семена. Уже сейчас, вспоминая, Дед подумал: «А ведь этот небосвод у бати был как алтарь, только знать бы, кому он тогда молился...»

Картинка про Бурмату заинтриговала Деда, но кроме названия ее, имени художника и то, что она была продана на аукционе в Лондоне за большие фунты стерлингов, из статьи он больше ничего не узнал. Единственная возможность — редакция, повидаться с Витькой Новиковым, один раз он уже выручил.

— Старик, у тебя вопрос?

— Ты же на культуре сидишь, про художника Антона Иванова что-нибудь знаешь?

— И ты про Антона? Он теперь не Иванóв, а Ива́нов, — сделал непривычное ударение Витька. — Давай выпьем, иначе хрен что узнаешь.

— Кроме выпивки у тебя ничего, — уже соглашаясь, буркнул Дед.

— Алкоголь и женщины — двигатель прогресса, — Витька открыл сейф, коньяк он держал в нем, чекушка водки для случайного гостя была всегда в столе.

— Антон... кто такой Антон? О него ноги вытирали. Формалист-модернист, а то и придурком называли. Всю жизнь был просто Ивашкой и вдруг — Иванов. У наших мэтров кровь из зубов пошла, жаба их душит, несчастных.

Картины художника Антона Иванова на выставках рубили, заслуженный мастер кисти Полушин на одном из собраний даже предложил забрать у «сраного абстракциониста», правда, с трудом выговорив это мерзкое слово, мастерскую, лишить его членства в Союзе как не оправдавшего надежды, льющего воду на чуждую идеологическую мельницу, вон впереди еще сколько молодых одаренных, не до пенсии же им в очереди топтаться... Скорее всего, Полушин желал, мечтал об этом, подолгу не мог уснуть: он хотел получить звание народного. Не за горами смерть, и хорошо бы уйти всенародно любимым, посидеть во всяких президиумах.

Полушин сильно ошибся во времени, время было совсем другое. В этот раз готовилась очередная зональная выставка. Антон принес невинный натюрморт, на столе арбуз пополам, мякоть аж светится на солнце, семечко черное вот-вот выскользнет на льняную скатерть, а на краешке стола громадный, наполненный запахом весны букет сирени, даже не букет, а какое-то облако возрождения, буйного начала всего нового.

Полушин первым тут же обрушился: как это может быть, сирень уже давно отцвела, когда созревают арбузы, у Иванова опять какое-то несоответствие реальности. Никто еще не успел поддержать заслуженного, потом, наверное, крестились не раз, как встал искусствовед из Москвы, куратор из Академии.

— Несовпадение по временам года, это же не главное, — сказал он, глядя как-то по-доброму, снисходительно и с улыбкой на Полушина. — Извините, как вас по имени-отчеству? Так вот, Яков Абрамович, в этом натюрморте главное — радость жизни. Она так и брызжет с холста, я бы порекомендовал его на Зону.

Что тут поделаешь, Москва, искусствоведа робко поддержали. Правда, на вечеринке после собрания, когда столичный гость ушел в гостиницу, Полушин, изрядно приняв на грудь, бушевал, чего никогда за ним не наблюдалось.

— Ивашка херню какую-то принес, а вы перед Москвой языки в ж... по-засовывали. Бздуны, попомните, опозорит на Зоне нас эта сирень.

Полушин еще не знал, что искусствоведа из Москвы побывал в мастерской у Антона, и художник, заметив, какие работы понравились гостю, подарил две картины. Каким уж путем одна из них попала за границу на аукцион, знает только проклятый Полушиным москвич.

Когда вышла статья искусствоведа в таком серьезном, уважаемом, даже авторитетном журнале, да еще и с репродукцией картины Ивашки, Полушин просто занемог, он так заболел, что месяц не появлялся в Союзе. Супруга Идея Павловна докторов знакомых приглашала, но те определить ничего не могли, заслуженный же больше всего боялся, что теперь кто-нибудь из собратьев осмелится подшучивать над ним, не дай бог, еще и злорадствовать. Бездари эти, им только повод дай...

— Ты-то, Витя, был у Иванова? — история эта Деду отчасти была знакома, с подобным не раз сталкивался.

— Был, конечно.

— Ну и как?

— Как-как? Замечательно, статью готовлю.

— А раньше чего? Отмашки не было?

— Дед, ты, как всегда, вечный корректор. Ошибки всё ищешь.

— Не ошибки, Витя, ищу. Москвич бы не заступился, так и загнобили бы мужика. А как Антон с этим прощельгой Бурматой познакомился?

— Почему прощельгой? Он недавно из Канска прислал свои заметки. Занятная вещь, думаю, куда бы их приспособить.

— Почитать не позволишь?

— Потерпи, опубликую — прочитаешь.

— А картины у Иванова правда хорошие?

— Дед, это просто бомба. Статья, когда выйдет, хочу одну выпросить. «Голгофа» называется. Ни разу подобного не видел.

— Может, сводишь в мастерскую? Интересно посмотреть. Да и узнать бы, как они с Бурматой сошлись.

— Думаю, просто. Оба детдомовцы, а у Бурматы еще нюх на людей, не таких как все. Они просто сблизились. Антон мне рассказывал, засадят бутылку коньяка, а потом среди ночи орут во все горло жиганские песни. Один раз даже милицию к ним вызывали.

Сломал во мне что-то этот рассказ Новикова. И за что я так невзлюбил Бурмату — за Зойку, что ли, обидно, за Саню? Нет, тут что-то другое. Ненароком себя увидел. Жизнь, почитай, прошла, а что я сделал? Самолет сочинил, корабль построил? Даже печки сраной — и той не сложил. А ведь для чего-то же выпустил нас Господь в свет, было же предназначение. Вглядывался плохо или просто трусил, сейчас и не вспомнить. Как кизяк, проболтался в проруби, о ледяные края бился, иногда и до крови, больно,

но не решался в чистую глубину, заглядывал туда — и оторопь брала от страха. Все-таки бздел, значит... Вот Бурмата рисковый, тыкается куда ни попадя, но тоже всё без толку. А я просто плыл по течению, боялся разбиться об скалы, но вдруг выкарабкался бы, пусть и поободрался, зализал бы раны и нашел ту жилу с неведомыми кристаллами, которые искрились небесным светом только для тебя. Закончил филологический — а зачем? Чтобы ошибки в чужих текстах искать? Да и дед Александр, вспомнил вдруг с обреченностью, так и не сыграл на скрипке. Бессмысленно все... Жизнь тупа, и не надо сопротивляться, отчаиваться. Но ведь батя же совершил разведку боем, а может, просто повезло ему, везет же хоть раз в жизни некоторым. Хотя нет, он был готов. Не был бы готов, не остался бы прикрывать, запричитал бы, как татарин Руслан. Да и на фронт ведь его никто взашей не гнал, сам добровольно рванул. Может, только для этой разведки и выпустил его на свет Всевышний. А он вишь как, выполз из смертной ямы, да еще и меня спроворил. Научил на звезды смотреть. Все мы просто ступеньки к вершине готовности. Батя родил меня, я — Зойку, бестолковую попрыгунью, ни одной книжки сыну не прочитала, ни разу не слышал, чтобы колыбельную ему спела. А может, это для того, чтобы одиночество, как стылый космос, укрепило и закалило Саньку?..

Уже дома зашел к внуку.

— Саня, а ты вперед-то хоть маленько смотришь?

— Это как, Дед?

— В будущее. Школу через год закончишь, а дальше?

— Дальше или институт, или армия.

— Неопределенно как-то. Кем хочешь стать, дворником или трубочистом?

Внук рассмеялся.

— В трубочисты бы пошел, но нет сейчас такой профессии.

— Саня, я серьезно.

— Серьезно, Дед, — внук замолчал. — Серьезно я никем не хочу. Будущее, а какое оно будущее? Вот у тебя, всю жизнь непонятно зачем ходил в редакцию. Пусть бы газета выходила с ошибками, это даже интереснее. А сейчас пучишься в телевизор и книги перелистываешь, в чужую жизнь лезешь, а свою на пустоту потратил. На мамку посмотри: будущее, она что родилась и мечтала красить чужие волосы и ногти. Дед, мы все крепостные, мы рабы, у нас нет будущего. Есть прошлое, которым вы гордитесь, есть бессмысленное настоящее, как говорит мать, бытовуха, а вот будущего нет.

— С такой установкой тяжело тебе будет.

— А кому сейчас легко, — хохотнул внук.

Вот и вечер. Зойка пришла с работы или от подруги. Закрывается в своей комнате, врубает на всю катушку музыку, какую-то нерусскую дрянь, знала бы хоть маленько язык их, тогда понять еще можно, а так только фон, чтобы подрыгаться, и сейчас танцует она, слегка поддатая, сразу заметил, отчаянно и плохо, но ведь никто не видит, или же просто курит, пристально вглядываясь в темный пустынный двор. Что она там ищет? Дворовые алкоголики давно разбрелись, может, в темном квадрате песочницы хочет увидеть себя, девочку, беззаботно играющую с совком и ведрком...

Зойка вошла неслышно, я даже вздрогнул. Она плакала.

— Папа, а зачем меня мать ударила тапком по голове? Я же ничего дурного не сделала, просто играла.

— Зачем ты плохое помнишь? Она, наверное, устала, ее раздражал твой шум.

— Я совсем тихо играла.

— Ну это тебе казалось — тихо.

— Это было так давно, а почему я помню?

— Надо уметь прощать. Матери уже давно нет с нами. Прости ее.

— Я простила, а все равно помню.

Дочь уходит, а Дед вдруг ни с того ни с сего представил страшных людей, которые едят камни. Округлые валуны, угловатые с острыми выступами булыги. Скрежет чудовищный, летят искры, осколки, жалят больно, но страшные люди никак не могут насытиться.

Все чертовщина лезет, пора спать. Дед курит на балконе, потом законных три стопки без закуски, чтобы достали, и укладывается лицом к стене, так быстрее забывается.

Дремота не идет, Дед видит себя на небе. Высоко среди звезд он летит метеоритом, он не хочет миновать землю, нельзя же просто сверкнуть и погаснуть. Далеко внизу уже видна несуществующая халупка-землянка, отец на крыльце чиркает спичкой, прикуривает, это он подает сыну знак, куда держать направление. Дед размахивает руками, ну хоть кто-нибудь, помогите! Все тщетно. Проваливается в дико кричащую, визжащую от боли, безумно хохочущую, рыдающую взхлеб, всё поглощающую без разбора бездну. Эта безжалостная пасть не смыкает свои челюсти никогда, пути назад нет.

«Ну вот и всё, — думает Дед. — Дождался. Ухожу. Рассказал, что смог, что успел. Не судите, это и было мое. До свидания».

Утром Дед уже не встал. Он умер во сне, никого не потревожив. Как и дед его, как и отец. Он легко покинул земной мир. Вот ведь как странно, приходим мы, вскрикивая и плача от испуга и удивления: надо же, куда нас закинуло из теплой матери, а уходим тихо, зачастую и не прощаясь. Встретили светом, улыбками, словно обещая и обнадеживая, что на всем пути будет радуга, но чем дальше торилась дорога, тем согбеннее и мрачнее был человек. Может, только после ухода будет светло и чисто, как в детстве? Мы еще встретимся. Обязательно встретимся.

Дед избавил родных от многих проблем с похоронами. Когда вскрыли конверт с завещанием, там все подробно было изложено. Оказывается, место на кладбище давно куплено, даже клумбочку он соорудил — странную, правда: растут на ней крапива да лопух, чертополох и белена, конопля и еще какая-то дурнина. По углам будущей могилы топорщились крохотные кедровка и пихта, это в головах будет, а в ногах кустики калины и рябины. Гроб и крест тоже не надо было заказывать. Валерка-столяр, давний друг Дедов, по его чертежу и точно по размеру соорудил это из мореной лиственницы. Просто всё, без излишеств, правда, неподъемно тяжело. Коричнево-желтая, в обеденном пронзительном солнце, домовина Дедова походила

на золотой слиток. Когда гроб на плечах понесли к могиле, он плавно покачивался и уже казался лодкой из дорогого металла.

Санька не знал, да и никто не знал, что все это благодаря прадеду, в честь которого назвали его, тот успел внуку Сене наказать перед смертью: «Подрастешь, семьей обзаведешься, дом надо будет ставить, на нижние венцы бери листвень, стойкое дерево, жук его не берет и от воды не киснет. Листвень — это наш дуб сибирский». Вот и не ослушался Дед, дом не срубил, он у него железобетонный, зато домовину, как и завещано, приготовил.

Не торопясь шла процессия. Впереди Санька с венком, сам выбирал, не на величину смотрел, а на убранство. Он знал, что Деду должно понравиться. Дед больше всех других любил цвета сиреневые, а в этой гамме всего один венок и был, может, и его Дед заранее заказал, но это было бы уже совсем чудом.

Следом за Санькой шли Зоя с подругой, они и здесь болтали о чем-то без умолку, хихикали. Саньку это раздражало, он чувствовал себя никому не нужным; вроде и при матери, а как сирота. Был в процессии и Витька Новиков, он шел с диктофоном и бурчал что-то в него, наверное, чтобы не упустить деталей, он ведь потом напишет в газете заметку о доблестном ветеране редакции.

А Дед от всех них был еще недалеко. Он парил рядом, большие облака огибал, в мелких прятался на мгновения. Не то чтобы ему интересно было, он взирал на все равнодушно, как бы присматривал за порядком. Сейчас он помнил все, что было с ним, и до мельчайшей капельки, память его была безразмерна, но также явственно хорошо знал он, что будет со всеми, кто идет его провожать, даже и с теми, кто не смог отдать последний долг.

Еще живой, за день до смерти, вроде и не знал о ней, но хотел попросить Зою пригласить на похороны — когда-то же они будут? — Бурмату, чтобы пусть и не словесно, но на другом уровне примириться, но догадывался, как дочь может ответить: «Еще чего не хватало», а сейчас он уже знал, Бурмата все равно не смог бы прийти. Незадолго до смерти Деда он уволился из театра и стал работать диджеем в Доме культуры, это сманила его смазливая директриса; над немолодым диджеем похихикивали, да он и сам толком не разбирался в новой музыке. Вот «за туманом» бы или «лыжи у печки стоят», есть еще «всё перекаты да перекаты», но ни девчонок, ни парней это не трогало, да они этого понять бы и не смогли; директрисе же, оказалось, кроме мужика нужны были деньги, а их у Бурматы отродясь не водилось, не умел он их складывать. Люба тоже охладела к его мудрым путаным речам, и Бурмата, собрав в рюкзачок только ворох своих заметок и никому не сказав ни слова, ушел в тайгу. Может, геологию вспомнил.

Его нашли в ближайшем зимовье быстро. Избушка была еще теплой. Бурмата лежал на нарах, худой и красивый. «Как Иисусик», — увидев его, сказал пожилой эмчэсовец. Толик, похоже, не обратил внимания на голубые блики угарного газа и задвинул заслонку трубы, так все решили. Но Дед-то знал, все было совсем не так. Толик и правда закоченел, пока добирался до укрытия, а когда согрелся у приветливой печки, вдруг решил почитать свои записи, но уже первый листок вызвал какую-то брезгливость, почти тошноту,

и он без сожаления сунул рюкзачок в печь, плотно закрыл дверцу. Он понимал, что закрывает ее навсегда. Пламя вспыхнуло ярко, но как-то быстро бликов его стало не видно, будто что-то мелкое и пустяковое обратилось в пепел. Бурмата встал и твердо втолкнул задвижку трубы. В золе потом следователи нашли только пряжку рюкзака и красивый камень. Его всегда носил с собой Сиротинин, это была друза горного хрусталя с еле заметным фиолетовым отливом. Миллион лет назад она хотела превратиться в аметист, но не успела, а может, передумала, магма же остывает не так, как мечтается аметисту.

Дед делает еще один взмах, второй, третий и видит уже всю необъятную ширь. В океанах какие-то игрушечные корабли с пушками, в темно-фиолетовой глубине неуклюже, как гусеницы, шевелятся подлодки, картонные самолетики над волнистой гладью, а по берегам по всему пространству муравьиные холмики мегаполисов пульсируют сотнями тысяч сердец, но не это он хочет увидеть. Круг за кругом, Дед вглядывается, ну вот же, вот они на лавочке рядом с песочницей — Бен Ладен и Мишка Розенбаум.

«Ушел Дед, — вздыхает Бен Ладен. — Пятерку-то ему я так и не отдал». — «Давай лучше помянем, — Розенбаум достает из травы бутылку, на горлышке которой, как шляпка гриба, — пластиковый стаканчик. — Он нас простит, я знаю».

И здесь всё ладом, порядок. Легко, почти без усилий Дед удаляется. Вдруг неизвестно откуда, наверное, из тех мест, что покинул он, только каким образом это, неужели кто-то дергает его назад, пришла песня — «Как прекрасен это мир...». Дед не знает, придется ли ему еще раз увидеть земное чудо, и просто бездумно парит над твердью, изумляясь ее красотой и совершенством. Есть там, конечно, неполадки всякие, думает он, закавыки сложные, но ведь справятся, не все же, как я, бестолковые. Вдыхать легко, пахать надо. И точно, вон на бахче стоит Избилло с мотыгой. Утомленный, он смотрит в небо — то ли выглядывает чего, то ли просит нещадное солнце хоть чуть сбавить обороты. А вокруг полногрудые арбузы, дыни золотом брызжут, на кустах опалово мерцают алыча. А вот и Баргигуль, она выходит из глинобитного домика в ярком атласном халате. В руках — запотевший кувшин, значит, скоро любимого она напоит прохладой. А оттуда, где серебрится арык, доносятся детские лепетание, смех, как колокольчиками кто-то балуется. Конечно, это резвится выводок Избилло и Баргигуль.

Еще несколько взмахов, и Дед видит: на кладбище тоже идет все ровно. Комья земли уже долбят по лиственничной крышке, словно разбудить хотят, глупенькие, все это тщетно, он уже безвозвратно далеко. Санька стоит в стороне, одинокий, потерянный, он не знает, что там впереди, что его ждет, но чувствует страшную потерянность, хочется заплакать, может, легче станет, но слезинки не получается выдавить.

Весь в прадеда, весь в меня, весь в нас всех. Мы же еще встретимся, я всегда буду рядом, время — оно только кажется длинным. Вот, говорят, время летит, нет — оно просто летает, не подчиняясь никаким законам. Из прошлого в будущее, из будущего в настоящее.

Утро, день, вечер, а вот уже и ночь, бархатный саван с блестками звезд. Дед почти слышит, как его ждут, волнами находят эти нетерпеливые любовь

и нежность. Он взмывает выше и видит впереди, на обресе горизонта, деда Александра со скрипкой. Он держит ее, высоко подняв над головой, она мерцает золотым нимбом. Дед не касается ее смычком, она поет сама обо всем: что было, что есть и что будет. Бабушка Олёна обеими ладонями прижимает к груди чугунок с какао; так же бережно она держала, обнимала внука, когда он разорил гнездо ласточки. «Хорошо же все, — доносилось Деду, — прожили мы ладно, слава Господу. А вот как они там без нас?»

Всё ниже, ниже опускается Дед, уже почти пикирует к родному теплу и видит: на холм этот призрачный нетерпеливо и уверенно поднимается прадед Спиридон, отец Константин, матушка Татяна и еще кто-то незнакомый, а может, и знакомый, просто от волнения он разглядеть не может.

Я вернулся. Я дома.

* * *

В день похорон Деда в местной молодежи под заголовком «Дневник постороннего» были опубликованы заметки Бурматы с предисловием Витьки Новикова. Ни Зойка, ни Санька о них бы никогда и не узнали, если бы не Анчоус. У Аньки тогда приключился роман с дворовым мажором и пьяницей, но зато сыном состоятельных родителей, Васькой. Васька каждый вечер встречал любимую с букетом, и они уносились в роскошном порше в укромное место, чтобы насладиться друг другом. И в этот раз, надо же такому случиться, денег на букет не осталось, резко подорожал кокс, и тогда Васька, проезжая мимо какого-то революционного памятника, краем глаза увидел у постамента цветы, резко тормознул, сгреб охапку роз, прихватил валявшуюся рядом газету и спрятал в нее свой криминал. Так букет, обернутый местной «Молодежкой», уже после полуночи оказался на кухонном столе у Аньки. Утром она хотела скомкать газету в мусорное ведро, но увидела на фотографии знакомое лицо. «Погоди-ка, это что же, Сиротинин, что ли?» Оказалось, целую страницу занимали заметки Толика Бурматы. Анька не стала их читать, но газету аккуратно расправила и потом, при встрече с подругой, с невинной улыбкой вручила ее Зойке.

«Ни хрена себе, он еще и писатель», — Зойка сунула газету в сумочку и только перед сном вспомнила. Вначале с любопытством, а потом уже настороженно стала читать, заканчивала же с необъяснимым чувством страха и одиночества. «И чего ему надо было? Я ведь, кажется, любила его... Кажется...» Зойка вошла в комнату к сыну. Санька сидел за компьютером. «Ну ты как, орел?» — «Нормально. С другом общаюсь». — «Не сиди допоздна». — «Мама, я большой». Зойка вздохнула: «Да, скоро и он ее покинет».

Газету Зойка не выкинула, так и оставила на столе. Санька в поисках ножниц, конечно, наткнулся на нее, перечитал пару раз и даже кое-что записал в блокнот.

*

Когда шибко уж хорошо о себе подумаешь, когда влюбишься в себя единственного, оглянись и посмотри на кучу дерьма, которую ты оставил. Ты такой же, как и все. Ну чем ты отличаешься от всех?..

*

В детстве я думал, что слоны спят стоя. Они мне казались такими большими: если лягут, то уже не смогут поднять свое тело. И вот этой маленькой детали мне хватало, чтобы представить Африку, ощутить всю ее необычность. Иногда даже забывал о детдоме и подолгу «сидел» под пальмой, наблюдая за жирафами и слонами. Но больше всего мне нравились ягуары. Не знаю почему, но казалось, когда вырасту, стану похож на них.

*

Оленевод в Байките рассказывал. В тайге все друг друга знают. И белка, и бурундук, и кедровка. У них свой мир. Приходит человек, они его принимают, если по-хорошему пришел. Вот осенью пойдет кто-то раньше времени хлестать шишку, кедровка услышит колот, скажет бурундуку, и они за ночь всю шишку обшелушат и унесут. Раньше такого не было.

*

Утро осени, которая почти стала зимой. Толпы людей давятся, спешат на работу. Все раздражены, гыркают друг на друга... До чего же жалок народ, покорно идущий на то, чтобы его лишили голоса, оскопили все его творческие потенции.

Многочисленное стадо кастратов. А те, что не поддались, выглядят идиотами.

*

Папа и мама, зачем вы меня выпихнули на белый свет, в эту то безнадежно сумрачную, то блестящую, как елочная игрушка, жизнь? Что я вам сделал такого, что теперь мучаюсь, то плыву по течению, то безжалостно бьюсь об острые скалы? Уже все изранено, и не знаю, что дальше. Надеюсь, хоть *это* было у вас по любви. Это было как молния, так ведь, она ослепила вас, и вы сотворили. Ну а то, что детдом, это ничего. Но вот почему мир ко мне равнодушен, ему все равно, есть я или нет, он даже безжалостен, порой и жесток. А я все трепыхаюсь, надеюсь. Мол, природа подскажет, поможет, может, и выручит. Ничего подобного! Даже не моргнет и не оглянется, когда я исчезну. Она будет упорно продолжать свой эксперимент с другими.

*

Прошедшую ночь видел цветной сон. Очень отчетливый, реальный. Будто не сплю, в комнате темно, и вдруг окно озаряется странным светом. Выскакиваю на балкон и вижу почти над головой вращающийся вокруг своей оси и медленно и бесшумно парящее на юг НЛО. Даже не оно вращается, а его ореол — оранжево-фиолетовый. Удивленный, замер, и время мое остановилось. Объект медленно парил, и меня объял неземной восторг. Пришел в себя, когда НЛО почти уже на горизонте, оно медленно таяло. Цветное пятно на черном фоне. И пришла глубокая жалость и грусть по чему-то недоступному, недостижимому, словно вечная истина спокойно и величаво прошла над тобой, а у тебя вместо смысла только ощущение осталось.

*

Давно заметил: добрые люди беззащитны, они вызывают чувство жалости. Может, оттого, что где-то в глубине взгляд их несчастен и очень одинок. Добрые люди одиноки, настоящие друзья, если и бывают у них, то очень

редко. Все это от затравленности, зла еще много. И вообще, какое дикое время! Над добрыми людьми сейчас зачастую смеются, они — «странные», чудики, не умеют жить. А уметь жить — это значит всё под себя и ради этого идти на всё. Все нравственные понятия — в сторону, об этом только надо уметь говорить. Не внутреннему миру, а внешнему все внимание. Главное — выглядеть. Суета, а в суете не заметишь, что там под оболочкой.

*

Отчего все это и зачем, что нас влечет в этот дурман? Глаза открыты, а хуже завязанных. Бредем, спотыкаемся... Как взрослеем, так и слепнем постепенно. Многого теперь уже не поймем, не увидим и не почувствуем... Неужели так рано холодеет душа? Может, просто ненастье временное...

*

Недавно наблюдал в автобусе за людьми. Почти ни у кого, особенно у женщин, нет естественного выражения лица. Маски то заученные, возможно перед зеркалом, то оставленные какой-то неведомой мне жизнью. Запомнилась маска высокомерного презрения. Она, наверное, считается очень умной, а красоты Бог не дал... В деревне раньше такого не было, было естество, а сейчас и там, в глубинке, появляется. И еще. Сколько в городе людей, а у большинства во взглядах одиночество, ищущее, отчаявшееся, высокомерное, забитое.

*

Почему все созданное природой красиво? Потому что всё это кристаллы. Кристаллы травы и деревьев, кристаллы воды и ветра, кристаллы людей... Но кто же всё это огранил? Дурак и неуч все-таки дедушка Дарвин.

*

Сегодня на автовокзале. Мужичок весь пропитой, в зимнем пальто, в резиновых сапогах, с палочкой. На улице лето, июль шпарит. Мужичок подходит, вытаскивает из кармана руку, на которой держит мелочь. «Добрый день, дорогие люди. Подайте, Христа ради, милостыню бывшему фронтовику. Душу себе успокою и родных ваших помяну...» И смотрит хитро, нагло и печально. Двигает губами, словно жует что-то недоговоренное, потом кособочит рот, одна щека нелепо приподнимается. Все это действие он смотрит вам прямо в глаза. В его взгляде всё: и жуткое похмелье, и тоска, и какой-то рискованный молодой задор. «Нет у нас, старик», — говорит кто-то. «Дай бог, чтобы было», — и идет дальше. Он уже далеко, а одна женщина, видно деревенская, с сумкой покупок, все поглядывает ему вслед и вдруг, отрешившись от городского наваждения, роется в кармане, отсчитывает мелочь и с тревогой поглядывает на удаляющегося мужичка. Хоть бы вернулся, наверное, думает. Может, вспомнила своих покойных родителей, и вот в чужом городе, среди суеты, кто-то предложил ей помянуть их, а она равнодушно отмахнулась. Представляю, как она долго будет вспоминать об этом.

*

Мать плачет по сыну — река течет, а жена плачет — и росы на траве нету.

*

Идешь по улице незнакомого города. И вдруг — как озарение: «Я здесь когда-то был». И это еще одно подтверждение того, что от судьбы не уйти.

Всё для нас запрограммировано. Кто-то еще до твоего появления проходил по улице этого города, чтобы и тебя заставить здесь очутиться. Кто-то все- сильный.

*

Апрель, возвращаюсь в Канск. В вагоне до дома добираются бывшие заключенные. В черных мешковатых костюмах из холстины, стриженные, смотрят еще несвободно, словно вокруг них запретная черта. Когда проходят по коридору, другие пассажиры смущенно замолкают, будто и их вина есть в том, что эти люди были в каком-то недобром месте.

Вот их уже не видно, а запах еще стоит, запах одинокого мужского пота и дыма, сосновой хвои и лежалых тюфяков, сладковато-приторный, словно дурман.

На долгой остановке они идут в станционный буфет. Молоденькие, соскучившиеся по прежним детским забавам, они покупают заветревшиеся серые вафли, сухие катышки конфет, с затаенным недоверием бросают взгляд на дорогие бутылки коньяка и, прижав к груди свои жалкие, но необъяснимо дорогие кульки, уходят.

Господи, какая же доброта и ласка сейчас нужна, чтобы оживить их... Не будет человеческого тепла — и ожесточатся... Вот и исправили...

*

Мужики, не торопитесь умирать. Был я там. Ни фи́га там хорошего нет. Трава одна растет...

*

Мы можем сконструировать, соорудить, а потом и взорвать царь-бомбу, уничтожив человечество. Всё под корень. Но не можем понять друг друга.

*

Число, цифра (в отличие от буквы) несет в себе дьявольскую силу. Чем больше чего-то ты имеешь, денег например, тем больше тебе их хочется. Так же и алкоголь, и наркотики. Увеличение числа. И человек разрушается. Число растёт, расцветает, а душа сохнет. И даже возраст, увеличение цифры лет, заканчивается смертью носителя этой цифры.

Я родился с возрастом «бесконечность». Когда-то наступит «ноль» — это абсолют, бесконечность.

*

Любовь — это безграничная вера, когда в человеке не сомневаешься, веришь ему даже больше, чем самому себе. Любящие фаталисты, они изначально несут в себе знак трагедии.

*

Человек ничтожен — даже живую травинку, червяка он не может создать... Создатель всего живого — всемогущ!

*

Человеку нельзя позволять получать столько, сколько он заработал, иначе начнет рыпаться, возбухать, почувствует себя на что-то еще способным кроме заботы о дне насущном... Нищенская зарплата лучше любых решеток и кандалов. Вроде и нету, и не прыгнешь. Грызет извечная, неутихающая тоска — а завтра как?

*

Санитар в психбольнице. Студент учился на историческом факультете. В больнице был больной, знающий учебники истории наизусть. Рассказывать или читать он их никому не мог, все отворачивались, и только санитар в свои дежурства приводил больного к себе и слушал истории. То ли предмет ему трудно давался, то ли некогда и лень было книги читать, да и ведь когда слушаешь, запоминается легче. «Ну, так на какой странице мы остановились?» — «На сто третьей». — «Давай с нее и начнем». По первости санитар сомневался в знании и памяти больного и приносил с собой учебники, сверял...

*

Моя заветная мечта — посмотреть на мир глазами насекомого, корой лиственницы... Основной источник неприятностей в тайге — собственный мудеж, природа доброжелательна, но неявно.

*

Жизнь — это не то, что ты родился и существуешь. Родиться ты можешь и мертвым, и появляется она в тебе не вместе с плачем от шлепка медсестры по попке. Жизнь есть дух, какой-то особый вид материи, еще не познанный нами, как, допустим, время. Пока ты в чреве, тебя питает этим духом мать, ты всего лишь набухающее в почве матери зерно. Но вот ты на воле, и Господь ли или другие небесные силы дают тебе строго отмеренную норму духа — жизни. И жить ты будешь ровно столько, сколько тебе дали жизни или как ты ее умудришься тратить. И не зря говорят: «Жизнь из него ушла». Ведь это буквально. Кончилась материя жизни, осталась лишь пустая оболочка Я. Посему Я и Жизнь — совершенно разные понятия и вещи.

*

Как хочется гармонии! А для этого надо совсем мало. Избушка в тайге и обязательно на берегу речушки. И чтобы теплая зима и белый глубокий снег. В печурке трещат дрова, на стенах желтый свет от керосиновой лампы. Пахнет покоем и умиротворением. На столе Библия, нехитрая закуска и бутылка водки.

Вышел, покурил, раскрыл наугад Библию, но почему-то нашел Нагорную проповедь, дочитал, натянул валенки, надел тулупчик, шапку нахлобучил, притворил плотно дверь и побрел по глубокому снегу к деревьям.

Искрится снег в лунном свете, обязательно должна быть полная луна, моргают чистые, как в детстве, звезды. И больше ничего не надо. А вот и то самое нужное, самое укромное место. Разгребаю ногами снег, чтобы до палых осенних листьев, до хвоинок, до моей последней простынки, усыпанной шишками, и укладываюсь поудобнее. Поджимаю ноги, под голову ладони — и краем глаза вижу мою последнюю звезду.

*

Мы потеряли красоту... Мы стали атеистами, которые не верят в существование добра, милости и прощения. Мы стали расчетливы и холодны. «Весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим...» Кто вы такие, вы поставили себя выше Бога, что вы можете построить, кроме железобетонных коробок?

Мы потеряли Бога, и пустота поглотит всё и всех. Хочется опустить руки и заплакать. Но сил нет, и слез нет. Даже в детдоме так тяжело, одиноко и пусто не было.

*

Очень хочу посмотреть, узнать все-таки, что там. Что же нас так пугает, а иногда и влечет. И скоро мне это откроется...

*

Согревающий и обжигающий огонь, уносящий пыль и палые листья ветер, бликующая струящаяся вода, дурманящий запах свежеспаханной земли, обнаженная зелень травы, успокаивающий сонный лепет листвы... Все это должно быть со мной. Всегда!

В конце выделенных Санькой заметок торопливым размашистым подчерком внук, как бы подводя итоги, написал: «Как же они похожи, Бурмата и Дед, как отец с сыном, только возрастом и различаются. Мучились, всё искали чего-то... Наверное, проще надо было жить. А вообще — кто его знает? Повзрослею и, может, тоже таким стану...»

ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ

ГОЛУБИ

Грязных птиц в сизых перьях любить?
Что глупее такого вопроса?
Я бросаю им крошки и просо,
Я хочу их вниманье купить.

По бессмертным брожу площадям,
Весь Сан-Марко в их росчерках сизых,
В их полетах глумленья и вызов.
Вектор не разложить по осям

Нашей жизни короткой. Взметнулся
Тенью серый комок. Не предам
Ни мгновенья, и чувствую сам,
Как светло им Господь улыбнулся.

Вот воркующий говор плывет,
Вот вращения лихих кавалеров...
Почему они избраны верой
Той, в которой полмира живет?

Для чего нужно дух приземлить,
Поместив в это хрупкое тело?
Почему? Да какое нам дело,
Нам доверено их накормить.

Вениамин Максович Голубицкий (род. в 1957 г.) — поэт. Кандидат юридических наук. Автор книг стихов «Минование» (Екатеринбург, 1999), «Огни субботы» (Екатеринбург, 2003), «Вне резкости» (Екатеринбург, 2005), «Светогень» (М., 2012), «Поиск адресата» (М., 2017) и книг стихов для детей «Рыжий ангел» (М., 2012) и «Капризная буква» (М., 2021). Лауреат премии «Поэт года» (2017). Живет в Москве.

* * *

Ну вот и всё. Мертвые говорят за живых,
Потому что слово должно быть произносимо.
А живые не слышат складывающихся слова за них.
А живые следуют молча мимо.

Напряжение монолога, переходящего в диалог
С тишиною, а значит, каждого с самим собою.
Это и есть тот дар, которым одаряет Бог.
Это и есть то, что по смерти зовут судьбою.

И наконец, написание завитушек-букв,
Чтобы произносимое не забылось,
Чтобы, сгорая, этот жертвенный тук
Был принят Тем, чьей волею всё на земле случилось.

Мертвые говорят, говорят, говорят...
Слезные травы шепчутся вдоль дороги.
И потому который уж год подряд
Ходит слушать кладбище Ванюшка-убогий.

ВАГИНОВ

Слишком молод был автор. И слишком избит сюжет,
Чтобы справиться с ним без помарок подобного рода,
Утверждая, что жизнь — это там, где, не выключив свет,
Обсуждают, зачем создала нас такими природа.

И козлиная песнь разлита, как чернила в ночи
По столу у поэта, чернильница — чёрта услада,
Он то селится в ней, то гуляет сверчком по печи,
Расшифруй стрекотанье, другого призванья не надо.

У античных статуй поотбита известная часть,
А еще сломан нос, искривленный и дышащий страстью.
Только, слыша мотив строгих гимнов, нелепо не впасть
В повторение их, вдохновенья и ритма во власти.

И зачем этот мир амальгамой зеркал поглощен?
В них и время живет, не меняясь, дробясь, отражаясь,
И нелепый резон побуждает неспящих на кон
Снова ставить слова, что поэт произнес, заикаясь.

* * *

Боже мой, этот мальчик ушастый,
Боже мой, этот мальчик смешной,
Так немного узнает о счастье
И обманется строчкой больной.

Фотографии глухи к советам,
Фотографии смыслы хранят
Зашифрованным образом, в этом
Роль их странная, времени яд.

Он на стульчике, в платице, с мамой,
Он пострижен, и он отвлечен
Чем-то рядом, за кадром. Упрямый
Взгляд не в камеру. Это не он,

Это — время, и это — минута
Безвременности. Это портрет.
И фотограф спокоен как будто,
Щелкнул кодак — и времени нет

Позже, раньше... Чего ты, проказник,
Мыслишь трудно? — расслабься, родной.
Ничего не подарят как праздник,
Будешь жить с черно-белой страной.

Снимут в профиль и в фас (так им надо)
Старика, чтоб закончить сюжет.
И тюремная камера рада
Смысл вместить. Только смысла-то нет.

Фотографий углы искрошились,
Клей заварен, чтоб клеить дела.
Все до снимков со всеми простились.
«Где ты, Ося? Тебя не нашла...»

ВЛАДИМИР КАНТОР

«НЕОБХОДИМОСТЬ БРЕДА»

Рассказ

В подростковом возрасте мне часто снился, а иногда и наяву виделся какой-то мужик — черный, большой, огромный, громоздкий, дышащий какой-то мертвечиной, дыхание вырывалось сквозь гнилые зубы. Он надвигался на меня, почти наваливался, а я как-то уменьшался в размерах и очень боялся, что это огромное чудище схватит меня и что-то со мной сделает.

Профессорский дом, в котором я жил, построили в 1936 году. Строили, видимо, зэки. На одном кирпиче читались слова: «кирпич делаю заключенный в лагерь». Но никто этих слов не замечал. Строго говоря, было два пятиэтажных дома друг против друга, их разделял газон, обсаженный кустами. В каждом доме по тридцать квартир. Во время войны (и далее — примерно до 1953 года) каждой квартире было выделено по грядке. Сажали картошку — точнее, кожуру с глазками. Но вырастала настоящая картошка, попавшая, как теперь мы знаем, в Россию из Германии при немке Екатерине Великой. Поначалу, не понимая, что надо есть клубни из земли, мужики травились, поедая то, что было сверху, и пошла поговорка: «Что немцу здорово, то русскому смерть». Потом, конечно, поговорку поменяла национальная гордость: мол, немец столько водки не выпьет, как русский.

Профессорских детей мальчишки из бараков били с криком «Дави жидов!». Хотя еврейских семей было немного, две-три, не больше. Кто жил

Владимир Карлович Кантор (род. в 1945 г.) — философ, писатель, литературовед. Ординарный профессор философского факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Автор монографий «В поисках личности: опыт русской классики» (М., 1994), «Изображая, понимать, или *Sententia sensa*: философия в литературном тексте» (М.—СПб., 2017), «Русская мысль, или Самостоянье человека. Философические эссе» (М.—СПб., 2020), «Две родины Достоевского: попытка осмысления» (М.—СПб., 2021), а также нескольких книг прозы: «Победитель крыс» (М., 1991), «Два дома и окрестности» (М., 2000), «Смерть пенсионера» (М., 2010), «Крепость. Роман» (М., 2015), «Шум времени, или Быль и небыль. Книга прозы» (М.—СПб., 2020) и др. Живет в Москве.

в нашем доме? Ученые и их гонители, доносчики. А рядом бараки — внешняя угроза. Как мы знали, вдоль Дмитровского шоссе строился многоэтажный и многоквартирный дом, чтобы переселить туда обитателей барачков. Барачков было много: как правило, двухэтажные с коридорной системой. Школа втягивала всех (ибо образование было всеобщим и обязательным): дети из барачков и профессорские дети и внуки учились вместе. Учились даже дети из немного таинственного дома без номера, стоявшего на пустыре. Там жили просто уголовники. Милиция обходила этот дом стороной, только иногда приезжали на мотоциклах с автоматами, устраивали какие-то проверки. В нашем классе учился мальчик из этого дома — Валёк по прозвищу Сосед.

Он был моим соседом по парте. И с легкой руки Светки Гончаровой, все время спрашивавшей меня «Как твой сосед поживает?», его все стали звать Сосед. Она была вполне буржуазная девочка. Но буржуазкам как раз нравятся маргиналы, даже разбойники, как я понял позже. Зато Валёк сказал как-то грубо про нее: «Она, поди, из твоего дома. Папаша профессор... И почему это у профессорских девчонок сиськи такие маленькие... Потискать нечего. И пососать».

Про тисканье я еще понял, а что он собирался сосать, не мог и вообразить. А мне вдруг представилась Лида, у которой груди были явно заметны, она и старше меня была на год, хотя училась в моем классе. Но я и подумать не мог взять ее за грудь, тем более залезть под юбку, как делали шпанистые мальчишки. Да и не знал я, что могу найти под юбкой. Вообще-то я много слышал о специальных отношениях мальчиков и девочек, о разном устройстве их тел. Хотя это было природой так странно устроено, все это выглядело какой-то дикой выдумкой. И жалко было девочек. Другое дело, и это я с тревогой замечал, что девочек эта тема очень будоражила.

Я промолчал, не зная, что ответить. Мне пришлось как-то отнестись ему задание по просьбе классной руководительницы. Внутренность этого двухэтажного дома угнетала. Грязь — не самое неприятное, самое ужасное был запах — кислый, вонючий, словно рвотой пахло. Там жили и девочки-школьницы из старших классов. Вчерашние и нынешние дуры и двоечницы, они поженски оформились и приобрели статус тех, с кем хотелось проводить время. Жильцы этого дома, мужики, проходя и походя, хлопали их по попам, щипали за щеки. «А евреев зато у нас нет, не найдешь!» — сказал мне вдруг толстый дядька, стоявший прямо в носках на площадке второго этажа. «Да не обращай значения, — кивнул мне Валёк, — это он не тебе, это он просто так». Знал ли он про мою некондиционную половину крови? Или, поскольку я вошел в его пространство как Сосед, стал вроде бы своим, где национальность роли не играла?

Девочка в четвертом классе, синеглазая, светлая, с русыми косами, уложенными короной, которой я нравился, а она мне. Она делилась со мной разными фразами, услышанными дома; как-то сказала улыбаясь: «Сколько время? Два еврея, третий жид, по веревочке бежит. А веревочка лопнула и жида прихлопнула!» Она засмеялась шутке, я тоже захотел, но смог только криво улыбнуться. Конечно, она была из не очень-то образованной семьи, это я растерянно понял, когда на мое пижонское «пардон» она воскликнула: «Сам ты пердун!» Растерянно я отошел, не ответив. Девочка окончательно потеряла для меня интерес. Хотя еще с дошкольного возраста слушал радио,

где воспевались русские красавицы с синими, как небо, глазами. У моей русской мамы тоже были очень синие глаза. И я приносил синий карандаш к маме и просил, чтобы она покрасила мне глаза в синий цвет. Мама не то смеялась, не то плакала, не то сморкалась, пряча лицо в носовой платок. Как-то я рассказал, что одноклассник назвал меня евреем. Многие захихикали. Почему-то это было обидным. Я видел, что мама растерялась и сказала: «А ты назови его китайцем!» Будто не понимала, что китаец — это не обидно, а еврей — обидно, оскорбительно даже. Спасаясь от собственной раздвоенности, я сочинял патриотические стихи:

Вот перед нами дуб,
Простое дерево русское,
Но в нем таится и сруб,
И спирт, и бумага, и блузка.

Бредовое, извращенное сознание.

Чувство ущемленной души, бесконечная обидчивость. И никто ни разу меня не защитил. И первая жена, смотревшая на меня как на мальчика, шуточно называвшая «Вовка-писатель из пятой квартиры». Моя квартира имела номер пять. Было постоянное чувство неполноценности. Чего не хватало? Наверное, если честно, внешнего признания. И это ощущение собственной слабости и одинокости, несмотря на какие-то успехи, опубликованные книги, вторую любящую жену, сидело во мне глубоко и долго. Уже ушли в прошлое понижения оценок на вступительных экзаменах (не из крестьян, не из рабочих — и фамилия сомнительная), проблемы с публикациями, когда требовали *хорошую* фамилию...

Уже и в 60 лет я иногда удивлялся, думая о себе в третьем лице, что он — *как большой*, что его слушают, что он ездит по миру, что к его словам всерьез относятся, уважают его знания, справляются с его мнением. Будто он вправду понимает, что к чему. А самоощущение, что он совсем не взрослый, а как-то придуривается, прикидывается, и все верят.

Я блуждал в игрушечной чаше
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

В пятом классе, уже после разоблачения культа личности, косые взгляды на меня ушли, но не у всех. Видимо, еврейская составляющая была зоркому глазу заметна. Сам я считал себя русским мальчиком, тем обиднее было выталкивание меня за пределы этого круга. И подлый страх сидел в душе, что когда-нибудь, объединившись, одноклассники накинутся на меня, как в большую перемену набрасывались они на подслеповатого, с гнойничками в углах обоих глаз, бедно одетого мальчишку по прозвищу Ха-Ю, хватали и с криками «кастрировать Ха-Ю!» раскладывали на учительском столе и ковырялись в его штанах, стаскивая их, предлагая девочкам посмотреть на мужское достоинство несчастного. Девочки смущались, взглядывали как бы случайно и выходили, ухмыляясь, из класса. Это было по-настоящему

страшно. Нет, меня не трогали, я не был мальчиком для битья, но в душе этой грани не было.

Это случилось, как помню, в восьмом классе. И, как всегда бывает, не очень-то ожидаемо. Мне было пятнадцать, учился я скорее хорошо, хотя и не был отличником. Путь в школу пугал меня: боялся, что навстречу выйдет малый, тощий, косой, с болтающимися руками и, проходя мимо, ударит меня по лицу. Так уже пару раз было. Я шел с одноклассницей Лидой, она жила в соседнем подъезде, мы немного опаздывали, быстро перебежали трамвайную линию и двинулись вдоль шоссе к школе. Навстречу шел длинный, тощий, косой. Проходя мимо нас, он даже не остановился, просто на ходу ударил меня кулаком в челюсть, пробормотав: «У, жиденок!» Просто ткнул кулаком в подбородок. Болезненно, хотя не очень сильно, просто унизительно. И пошел дальше, не оборачиваясь. Лида прижалась к моему плечу, словно меня не унизили сейчас на ее глазах, взяла за руку и мы пошли дальше в школу.

Конопатая одноклассница Лида Селезнева жила в нашем пятиэтажном профессорском доме в среднем подъезде на втором этаже. Въехала Лида и ее семья туда пару лет назад; она поступила в нашу школу и попала в мой класс. Ее отец, Василий Петрович Селезнев, мужчина с округлыми плечами и толстой грудью, перевелся из киевского какого-то института профессором на кафедру животноводства в Тимирязевскую академию, где когда-то, до своей смерти, мой дед заведовал кафедрой геологии. Дом предназначался для профессорско-преподавательского состава; внизу, в подвале, как когда-то в барских домах, жили нянечки, уборщицы, сторожихи. Селезнев не раз говорил соседям, что ему неприятно видеть свою дочь в одном классе с сыном еврея. Моя русская мама, уже не раз нарывавшаяся на эту проблему, потерявшая работу, когда в 1949 году отказалась разводиться с мужем-евреем, резко сказала его жене, что Селезнев («ваш Вася») дождется, что она напишет в партбюро академии о его словах. Тогда он немного притих. Но Лида не обращала внимания на слова отца и все время держалась рядом со мной. Даже будучи в душе совсем не взрослым, я догадывался, что она ко мне равнодушна.

А отец ее разворачивал где-то вычитанные им тезисы о зловредности евреев для любого человеческого общества: «Разве евреи тоже люди? Тогда то же самое можно сказать и о грабителях-убийцах, о растлителях детей, сутенерах. Евреи — паразитическая раса, произрастающая, как гнилостная плесень, на культуре здоровых народов. Против нее существует только одно средство — отсечь ее и выбросить. Уместна только не знающая жалости холодная жестокость! То, что еврей еще живет среди нас, не служит доказательством, что он тоже относится к нам. Точно так же блоха не становится домашним животным только оттого, что живет в доме». Перед домом росли липы, под липами — несколько скамеек и пара столиков; за ними сидели в хорошие дни профессора из Тимирязевки. Там он и выступал как с трибуны. Коллеги морщились, но слушали. Он понимал, что текст должен быть в меру интеллигентным, и начинал с Кафки. «Как этот чешский еврей сумел раскрыть сущность евреев как паразитических насекомых. В кого превращается его еврейский герой? Все говорят, что в насекомое. Но не просто насекомое. У немцев есть слово „Ungeziefer“, его-то и употребляет Кафка. Это не просто насекомое, а паразит, вредитель».

Но однажды один приехавший к кому-то в гости биолог из МГУ, длиннорукий, рыжий, с волосами не совсем причесанными, светлыми глазами, с конопушками по всему лицу, как у Лиды Селезневой, сказал презрительно: «Что-то Геббельсом пахнет. Как помню, это ведь вы громили менделистов, морганистов и прочих генетиков!» Селезнев пожал округлыми плечами и скривил рот: «Чего поминать? Это дело прошлое. Но я вот что скажу: генетик может исправиться, еврей — никогда. Он евреем родился, евреем и помрет». Тут, пожалуй, первый раз в истории нашего двора я видел, как один профессор ударил другого по зубам. Это рыжий биолог двинул толстого Селезнева. Тот слетел со скамейки. Потом, опираясь о сиденье, встал, втянул голову в плечи и пошел к своему подъезду. Обвинить рыжего в сионизме он, видимо, не решился. Это было время послевоенных испарений, сказать кому-то, что от него Геббельсом пахнет, — это был сильный удар, на который и ответить было нечем. Тема эта звучала в детских песенках, которые мы проносили в детском саду.

Сегодня ночью под мостом
Поймали Гитлера с хвостом!

А отец время от времени говорил, что во время войны их лозунгом были стихи Симонова «Жди меня» и, усмехаясь, добавлял — и «Убей его». Стихи Симонова — и одновременно культ Бетховена и Маркса.

Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, —
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет!

А как же Гегель, Шиллер, Брехт? Они ведь тоже немцы! Отец обожал и без конца слушал Бетховена.

Это, конечно, было бредовое раздвоение. Говорят, такое было и в начале войны. Не верили, что немецкий пролетариат может так зверствовать. Мы-то уже про немецкие зверства много слышали. А тогда наши отцы с ужасом это увидели. Не верили, но потом пришлось поверить, когда увидели.

* * *

В тот день у нас не было четвертого урока — химии. «Химия, химия — вся наука синяя!» — приплясывая, завелся мой школьный приятель Женька Трофимов, едва ли не единственный, с кем я тогда дружил. Мы вышли с ним в коридор и, прислонившись к подоконнику, принялись за нешумную игру в «коробочку». Спичечный коробок мы клали на край подоконника, чтобы он немного выходил за него, и снизу щелкали по коробку. Предусмотрено было три варианта: коробок просто переворачивался и падал другой стороной — это было два очка, вставал на ребро — пять очков. Около нас сразу стало несколько человек, рядом со мной примостилась Лида. Так можно было проиграть и десять минут перемены, и сорок пять не случившегося

урока. Поразительно, как вспоминаю, сколько времени мы тратили на эту вполне бессмысленную игру. Но зачем-то она была нам нужна. Мы и в пристенок весной играли как бы на деньги. Но все же не на деньги. Денег ни у кого не было. В те времена только спекулянты, большие начальники, партийные боссы и их детки имели денежные запасы. Может, и прав Шиллер, писавший, что человек бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. Вот мы и играли безо всякого расчета. Коридор шумел, выглядывавшие из классных дверей учителя просили быть потише.

И тут к нашему подоконнику подошел Гришка Кружалин со своими пацанами. Гришка был классом старше, жил в соседнем дворе в четырехэтажном доме на третьем этаже, и при нем состояло шесть или семь мелких хулиганчиков на подхвате. Выглядел он как герой советских фильмов про войну, а эти герои ориентировались на образ Джека Лондона. В школе все мальчишки, особенно немного интеллигентные, его опасались. Со мной он находился в хороших, даже можно сказать — полуприятельских отношениях. В отличие от многих я запросто закахивал в дом без номера, а Валёк, Сосед, считался моим корешем. Гришка хлопнул меня по плечу: «Здорóво! Держи краба!» И протянул руку. Я ее пожал. «Играем? Может, в картишки?» Я отрицательно покачал головой: «Не умею». Он хмыкнул: «Да я бы научил! Или ты уже до телочек дорос? У тебя здесь девчонки ничего».

Гришка вдруг схватил стоявшую рядом со мной Лиду за грудь, нащупал сосок (девочки бюстгальтер не носили) и начал крутить его, притянул к себе. Пацаны из его шайки засмеялись. Он поцеловал Лиду в щеку, поцелуй переполз на ее губы с засосом. Она казалась совсем растерянной. Но не сопротивлялась. А Кружалин хлопнул ее по попе: «Ладно, не плачь. Все девчонки через это проходят. Даже профессорские». И напел:

Наша Лида громко плачет,
Потеряла Лида честь.
Честь, ядрена мать, не мячик
И нельзя ее обрести!

В глазах у меня стояли слезы. Я не знал, что делать. Потом сказал: «Не надо, оставь ее». Он посмотрел на меня как на маленького: «А тебе что? Она хоть из твоего класса, но ты же ее не оприходовал». Я как-то глупо ответил: «Она еще моя соседка». Он вдруг съерничал, но грубо: «А, из профессорского дома? Где одни евреи живут... А сам-то ты тоже еврейчик? Как фамилия?» Из класса вышел стриженный налысо, как тогда говорили, Валёк. Месяца два назад у него обнаружили стригущий лишай, забрали из школы, потом вернули обстриженного. На голове у него было среди коротких волос безволосое пятно. Выглядел он жутковато.

Кто-то из моих одноклассников, подлизываясь к Гришке, которого боялись, выговорил мою немецко-еврейскую фамилию. Кружалин схватил меня за воротник школьной гимнастерки. Его пацаны окружили меня, пытаются схватить за руки. «Пошли отметелим его, — крикнул самый маленький из пацанов, — чтобы не возникал! А ты ему по хавальнику добавишь, зарубку сделаешь!» Но ладонью по физиономии и по губам ударил его Валёк: «Помолчи,

сучонок. Будут один на один. Я послежу, чтоб без подлянки!» В желудке у меня стало нехорошо. Гришка был выше меня, занимался боксом, как я слышал. «Как бы не обделаться!» — отчетливо подумал я. «Давайте, шагаем», — сказал мой сосед по парте. И мы спустились во двор. Напротив здания школы стояла одноэтажная каменная котельная (зимой школа имела свое независимое отопление, топили углем), земля была покрыта угольными крошками и щебнем; справа — забор, отделявший территорию школы от поля, где стояли разные деревянные домики, среди которых дом без номера. Слева — тротуар вдоль шоссе. Тротуар, по которому я ходил в школу.

«А ну отвалите! — сказал Валёк, отгоняя кружалинских дружков. — Сказано: один на один!» Беда была в том, что бить по лицу я не умел. Просто представить не мог, как это ударить в зубы. До этой стычки я давно-давно ударил по зубам мальчика в детском саду, ударил от обиды и неожиданности его удара растопыренной ладонью мне по лицу. Тот упал в песочницу, а девочки побежали в группу с криком, что Кантор убил другого мальчика. А теперь Кантор стоял перед необходимостью вполне осознанно бить по лицу другого человека. Гришка пошел ко мне, сплюнув на землю. Я, неожиданно для себя, шагнул к нему навстречу и, когда он размахнулся для удара, вдруг перехватил его руку, резко развернул его и заломил руку за спину, так что он согнулся с криком: «Пусти, гад!» Его дружки хотели было двинуться на меня, но Валёк сказал еле слышно: «Сказано: один на один! Сунетесь, убью на хер!» В дверях школы стояла Лидка, прижав руки к губам. Я продолжал выкручивать Гришке руку, понимая, что отпустить его не могу, что он тут же распрямится и нокаутирует меня. И повторял тупо: «Хватит с тебя?» А он так же тупо отвечал: «Пусти, сука! Мало вас, евреев, Гитлер поубивал!» В ответ я еще сильнее завернул ему руку. Он закричал от боли, а я толкнул его вперед, да еще пнул ногой в задницу, так что он проехался лицом по угольному щебню. Охнула Лида. Гришкины дружки переглянулись, но бросились его поднимать. Физиономия у него была расцарапана углем и в крови. Он встал вначале на колени, потом откинул голову, повертел ей, словно проверяя крепость шеи, взялся за свой крутой подбородок, в который я не ударил. И вскочил легко и спортивно на ноги.

Лида охнула довольно громко, но никто в ее сторону даже не посмотрел. Валёк быстро подошел ко мне и стал рядом плечом к плечу, сглотнул слюну и сказал: «Не бзди, сосед! Ща они будут нас рвать. Но х.. им! Не дадимся!» Но неожиданно подошедший Гришка протянул мне руку и сказал: «Мир!» — и, повернувшись к немного прибалдевшим друзьям, произнес: «Хорошо дерется — наверное, немец!»

После уроков мы с Лидкой шли домой, и она говорила, что непременно расскажет своему папе, как я за нее заступился и подрался за нее. «Хорошо дерется — наверное, немец!» — крутилась у меня в голове фраза Кружалина. То есть, думал я, получается, что немцы, разорившие нашу страну и уничтожившие миллионы людей, лучше горстки униженных, уничтоженных и уничтожаемых евреев.

Это был настоящий бред. И этот бред был реальностью жизни. Или и вправду жизнь есть необходимость бреда. Из года в год, из века в век, из страны в страну...

ГЕОРГИЙ ПЕШКОВ

* * *

В моей вселенной Бога нет.
Она изучена детально:
рассеян мрак, поверен свет,
расчислен точный ход планет,
раскрыт материи секрет
и приоткрыта жизни тайна.
Сиречь почти документально
подтверждено: здесь Бога нет.

В моей вселенной Бога нет.
В ней все описано подробно —
любая вещь, любой предмет,
любой типаж, любой сюжет,
любой урал, памир, тибет,
любой фотон, любой микроб, но —
как это, право, ни прискорбно —
в ее скрижалях Бога нет.

В моей вселенной Бога нет.
В ней есть вражда и солидарность,
упадок есть и есть расцвет,
есть рай надежд и ад вендетт,
есть ложь, предательство, навет
и есть любовь и благодарность.
Но в ней — прими это как данность —
ни Бога нет, ни чуда нет.

Георгий Валерьевич Пешков (род. в 1972 г.) — поэт. Публикуется впервые. Живет в С.-Петербурге.

В моей вселенной Бога нет.
Собрав архивы переменных
за сто эпох и тыщи лет,
позитивист-естествовед
нам выдал правильный ответ.
Но полон мир других вселенных —
чудесных, тайных, сокровенных!
А в них — чего в них только нет!

* * *

Он обнял эту женщину и вдруг
подумал про бесчисленных подруг
во всем их прихотливом изобилии,
которые его не полюбили,
которых он, увы, не полюбил.
Он сам их опрометчиво губил
как опцию — мятежных, нежных, сложных,
круживших, словно бабочки, вокруг,
поспешно выбирая из возможных
объятья первых двух случайных рук.

Потом он вдруг подумал, что и жизнь
могла пойти иначе, окажись
он более разборчив на изломах
своих путей, не соверши он промах
в каком-то из моментов роковых.
Он с грустью и тоской представил их —
чудесные непрожитые жизни,
пошедшие всем скопом на убой —
в иных краях, широтах ли, отчизне,
с другим талантом, поприщем, судьбой.

И с ужасом он вдруг взглянул на дверь,
поняв неотвратимо, что теперь
малейший шаг за створки этой двери
ведет не к обретению, но к потере,
к размену всего целого на часть,
что каждый выбор, сделанный сейчас,
лишает нас всех прочих вариантов,
а каждый ход всем прочим ставит шах.
Но мерный бой брегетов и курантов
нас заставляет делать этот шаг.

ЛЁША ПЕРСКИЙ

ДОНОС

«...П., студент V курса, русский (?), беспартийный, член ВЛКСМ.

Является активным членом сионистского подполья. С первого курса регулярно сотрудничает с израильской разведкой Моссад и контрразведкой Шин-Бет, работающими под крышей еврейского агентства Сохнут; постоянно посещает синагогу на улице Архипова, где делает обрезания; распространяет среди студентов института коробки мацы и раздает налево и направо всем подряд Свитки Торы, как туалетную бумагу.

Активный деятель православной общины. Постоянно лично взаимодействует с иерархами Русской православной церкви, участвует в заседаниях Священного Синода и молитвенных бдениях. Не вылезает из монастырей, прислуживает в качестве алтарника в нескольких храмах, принимает деятельное участие в богословских диспутах; с завидным постоянством распространяет среди слабых духом студентов института Молитвословы и Псалтыри, Библии и Евангелия. Регулярно посещает православные службы не только по двенадцатым праздникам, но и по субботам и воскресеньям, где исповедуется, причащается и вкушает просфоры.

Активно сотрудничает с белогвардейским Народно-трудовым союзом (НТС), эмигрантскими журналами „Континент“ и „Вестник РХД“, издательством западногерманской разведки БНД „Посев“ и издательством ЦРУ „Ардис“. Сам постоянно читает и весьма активно распространяет среди еще неокрепших идеологически студентов книги и журналы, не изданные в СССР; достаточно успешно ведет среди молодежи дискуссии на разные

Лёша Перский (Леонид Романович Перский; род. в 1956 г.) — родился в Ташкенте, после окончания школы переехал в Москву. Работал могильщиком, репетитором, дворником, экскурсоводом, сезонным сборщиком яблок, учителем, писал для ТВ, радио и театра. В 1983—1986 был литературным секретарем В. А. Каверина. Почти 20 лет занимался литературными делами Наума Коржавина. Автор и издатель книг: «Наум Коржавин. Все мы несчастные сукины дети. Байки и истории про Эмку Манделя, собранные Лёшей Перским» (М., 2017) и «Бешеная младость. Стихи. 1977—1981» (М., 2017). Печатался в журналах «Веселые картинки», «Мурзилка», «Огонек», «Знамя» и др. Живет в Москве.

темы, в ходе которых целенаправленно и убедительно пропагандирует чуждые нам духовные ценности вседозволенности и безудержного потребления.

Так как П. весьма ярок, харизматичен и убедителен, он вполне может увлечь за собой неокрепшее идейно стадо невинных агнцев в ненужном нам идейном направлении.

В свете вышеизложенного представляется целесообразным минимизировать по возможности контакты П. со студентами, для чего лучшим выходом было бы изолировать его.

В любом случае членам парткома института следует постоянно контролировать все его контакты и деятельность П. в нашем орденоносном вузе.

Р. С. П. родом из Ташкента, свободно владеет узбекским языком; кроме того, у нас в МГПИ имени Ленина обучаются по целевому набору группы нацкадров из Узбекистана.

В этой связи весьма вероятно активное участие П. в мусульманской общине нашего института и пропаганда им радикального ислама со всеми отсюда вытекающими последствиями, но пока достоверных сведений об участии П. в радикальном мусульманском подполье и создании исламских боевых бригад в институте еще недостаточно...»

Познакомил меня с этим замечательным доносом доцент кафедры советской литературы Владимир Вениаминович Агеносов, служивший одновременно и секретарем парткома факультета. Вернее, пересказал сей документ «близко к тексту, практически слово в слово», для чего время от времени он заглядывал в свой блокнотик, чтобы не отступать от первоисточника.

Автором доноса в деканат был наш однокурсник Коля А., сразу после института он устроился на работу в Всесоюзное общество «Знание», которое с самого своего возникновения находилось под контролем ВКП(б)/КПСС и МГБ/КГБ, а потом очень скоро стал секретарем райкома комсомола Бауманского района. Между прочим, в Бауманском районе всегда голосовал на выборах «наш дорогой» Леонид Ильич Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, поэтому это был один из самых образцово-показательных районов Москвы, и в идеологическом плане тоже.

— Что скажете, батенька? — очень дипломатично и мягко спросил меня умный и все понимающий Агеносов.

— Боюсь, что скоро научно-фантастические романы братьев Стругацких совсем перестанут читать, потому что новым фантастическим бестселлером станут шедевры, вышедшие из-под пера нашего писака, — попытался сыронизировать я и хоть как-то спасти из рук вон плохую игру.

— Тем не менее, мой юный друг, я вас прошу быть предельно внимательным и сугубо аккуратным в новых знакомствах и со старыми товарищами и друзьями, вы достаточно благоразумны и умны, чтобы самому сделать надлежащие выводы из произошедшего, — многозначительно закончил свою воспитательную беседу со мной секретарь парткома факультета.

— Так точно! — хмуро пошутил я. — Не извольте беспокоиться.

...Мацу бабушка Фаня в моем далеком детстве замачивала в молоке, чтобы она стала мягкой и тягучей, а потом бросала на сковородку, заливала

яйцами — и получалась отличная яичница. В синагогу ни в Ташкенте, ни в Москве почему-то мне ни разу не удавалось зайти. А вот в Тунисе, на острове Джерба мне довелось побывать в древней синагоге Эль-Гриба, где хранится один из старейших в мире Свитков Торы. Но было это спустя сорок лет после доноса Коли. И у Стены Плача в Иерусалиме я побывал лет через двадцать после окончания института, встретил там Аркашу Калютского с музыкально-педагогического факультета. Мы вместе с музпедом еженедельно занимались на военной кафедре, а потом «служили» месяца два в лагерях на летних сборах. Аркаша работал охранником у Стены Плача.

Баба Муся крестила меня, когда мама уехала на Кавказ на все лето заниматься альпинизмом и оставила годовалого сына у бабушки в маленьком городке Янгиюле под Ташкентом. Кстати, семья четырехлетнего Иосифа Кобзона, его мать с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом были эвакуированы в войну в Янгиюль. Единственный православный храм в Янгиюле был устроен в большом доме неподалеку от железнодорожной станции, которая раньше называлась Кауфманская в честь первого генерал-губернатора Туркестанского края. Когда я учился в институте, нас ежегодно отправляли на Пасху дежурить вокруг московских храмов, как замысловато выражались в то время — «для поддержания порядка». Во время «пасхального дежурства» мы довольно часто заходили внутрь церквей, стояли на службе, с любопытством внимая церковнославянским распевам, гласам и молитвам.

Ни одна из бабушек никогда никоим образом не подталкивала меня к исламу.

И в Голубой мечети, и в Айя-Софии в Стамбуле я побывал только в начале нулевых. А до того ни разу не заходил в мечеть ни в Ташкенте, ни в Москве. Узбекский язык я знал очень плохо, слов 20—30, не более. К сожалению.

Вот тамиздатовские книги, как и самиздат, читались и перечитывались в большом количестве, и, конечно же, я делился интеллектуальными сокровищами с друзьями и подругами, товарищами и коллегами. А они со мной.

Выводы какие-то, конечно же, надо было сделать, но Бог миловал, как говорится.

Лет пятнадцать тому назад после длительного перерыва вдруг я встретился с Агеносовым. Поговорив о том о сем, я напомнил ему о старом доносе на меня и поинтересовался, как он думает, не смогу ли я его где-нибудь разыскать в архивах КГБ?

— Ну что вы, голубчик! — рассмеялся мой преподаватель. — О чем вы говорите? Если бы мы дали бумаге ход, наши недремлющие органы тут же схватились бы за этот документ, возбудили дело, начали бы им заниматься... А так мы в парткоме просто ознакомились с письмом, намотали на ус и спустили его на тормозах — в унитаз! — гордо похвастался бывший секретарь парткома вуза.

Правда, он не добавил, что в случае возникновения такого дельца в органах и преподавателям факультета, да и всего института не поздоровилось бы! Начались бы проверки всей работы МГПИ имени Ленина райкомами комсомола и партии, горкома ВЛКСМ и КПСС, Министерством высшего

и среднего образования, не говоря уже про идеологический отдел ЦК партии и бдительный надзор органов КГБ. Как могли допустить коммунисты и комсомолцы — преподаватели вуза, что на переднем крае классовой борьбы (!) при подготовке отборных бойцов идеологического фронта (!) — учителей русского языка и великой русской литературы — вдруг стала возможна такая диверсия? Можно сказать, антисоветская бомба могла бы взорваться на факультете. И в мозгах наших преподав, и примкнувшим к ним студюозусов. И полетели бы тогда головы с плеч, и не одна!

Да и моя жизнь и судьба могли бы сложиться совсем иначе и пошли бы по совершенно другой колее — меня запросто затолкали бы в диссиденты и упекли в правозащитники. Коих я крепко уважал за твердость и мужество, с которыми они несли все тяготы испытаний, но считал их такими же страстными большевиками, против которых они боролись, только с обратным знаком. Выходить на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию, с грудным ребенком на руках, на мой взгляд, было одержимостью или безумием.

Коля А. продолжил карьерный рост и очень быстро стал вторым секретарем Бауманского райкома ВЛКСМ. Впереди замаячила позиция секретаря райкома КПСС того же Бауманского района, но вскоре грянула перестройка, и Николай сразу же превратился в успешного бизнесмена, руководителя фирмы, председателя правления банка. Но по работе и в комсомоле, и в партии, и в бизнесе выпивать ему приходилось так много, что Коля спился и уже не смог соответствовать.

Владимир Вениаминович Агеносов женился на китайке, профессоре русской литературы, он по-прежнему преподавал в разных институтах и написал несколько «очень хороших учебников» по советской литературе, как сказала моя коллега Наташа Б., заслуженный учитель РФ.

Рукописи не горят, писал Михаил Афанасьевич. Еще как горят! Или просто исчезают в недрах той же Лубянки на долгие годы, убивая своим отсутствием автора. Василия Семеновича Гроссмана, например, погубил арест его романа «Жизнь и судьба». Стало быть, даже самый талантливый и хорошо написанный донос не является рукописью? Не знаю.

МИГРЕНЬ

Отца часто мучили мигрени. Бледный папа лежал в одежде на диване, мама заливала в тазике полотенце кипятком из чайника, отжимала его и укладывала отцу на высокий лоб. От дымящегося паром горячего полотенца сосуды головы у отца расширялись, и мигрень понемногу отпускала.

У меня головушка начала зверски болеть в шестнадцать лет, когда я готовился к выпускным экзаменам в десятом классе. Родители уехали в горы, и я жил один. Одновременно у меня фоном бубнил телевизор, катушечный магнитофон «Комета» громко орал, выдавая на-гора старые затертые записи музыки конца шестидесятых очень плохого качества, а я под этот микст перечитывал школьные учебники, отвлекаясь, читал разные художественные

книги, учил билеты, писал формулы и решал задачи. В результате башка разламывалась от боли, мозг разрывало, меня часто тошнило и рвало. Как я сейчас понимаю, у меня были сильные спазмы сосудов головного мозга.

Зверские головные боли продолжались у меня больше тридцати лет. Если я мало спал и у меня были перерывы по семь-восемь часов между едой, если я находился в душном, не дай бог, прокуренном помещении без притока свежего воздуха, у меня начиналась адская мигрень. Боль ни от чего не проходила. Никакие обезболивающие таблетки не работали, самые сильные анальгетики давно перестали мне помогать. Непереносимая головная боль не давала мне жить, просто существовать, не говоря уже про работу. Во время приступов мигрени я рычал, катался по полу, громко кричал на жену и детей, валялся в темноте на кровати, есть не мог, изо всех сил пытался заснуть, но ничего не получалось. Меня безумно все раздражало и бесило.

Три-четыре больших куска черного хлеба, жирно намазанных маслом и медом, с горячим сладким чаем ненадолго облегчали болезненные приступы. Сильный приток холодного ветра со свежим кислородом из окна машины на большой скорости или мощный кондиционер поначалу освежали голову, и боль чуток отступала. Сперва горячий душ расширял сосуды, но быстро перестал работать. Потом резкий контраст кипятка и ледяной воды в душе помогал мне иногда, но не всегда срабатывал.

Опытные врачи в разнообразных клиниках назначали многочисленные сложные исследования, густо обвешивали мою головушку кучей электродов, электрические самописцы нежно подрагивали стрелками и чего-то записывали на бумажных лентах. Одни «убийцы в белых халатах» после своих длительных экзерсисов сообщали, что у меня «затруднен отток венозной крови из головы». С помощью присосок какие-то замысловатые неизвестные мне приборчики прикреплялись лепилами по всей поверхности моей многострадальной башки. Другие эскулапы, наоборот, утверждали, что у меня «артериальная кровь плохо поступает в мозг». По сути, гиппократы говорили одно и то же: у меня на уровне шеи была патология, во время приступов там происходил зажим кровеносных сосудов...

Повышение температуры воздуха, любая смена погоды, магнитные бури, полнолуния и новолуния, затмения Луны и Солнца — все это колошматило и било по бедной моей головушке с нечеловеческой силой.

...Две десятиметровые пальмы на скалах над заливом Алькудиа ураган легко переломил, как спички. Устоявшие под резкими порывами ветра пальмы склонялись почти до самой земли и трещали, как сухие дрова в печи. По бурному серому морю одна за другой шли гигантские волны высотой с небоскреб. Разверзлись хляби небесные, и потоки ливня неслись почти параллельно земле. Целую неделю ураган бушевал на Майорке, где мы отдыхали всей семьей. И все это время головушку мою нещадно крутило, как будто меня кидали в гремящей железной бочке вниз по наклонной плоскости с высокой горы. Катили, ни капельки не переживая о сохранности бесценного груза, и бросали мою бедную головушку в ухаба на ухаб.

В семь в нашем отеле начинался ужин, и уже давно самостоятельные дочери, восемнадцатилетняя Неся с пятнадцатилетней Маней, пошли в столовую. Жена с четырехлетним Гришей осталась присмотреть за болящим главой семейства. Вдруг мне захотелось пойти искупаться, может быть, размечтался я в тайной надежде: от моря мигрень отступит хоть немного. Отель «Алкудиа» был очень красиво расположен высоко на скалах над Средиземным морем. Но если ты хотел поплавать, надо было спуститься к воде по длинной, как в метро на глубокой станции, крутой деревянной лестнице с перилами. Я надел плавки, взял полотенце и стал спускаться к морю, супруга и сын последовали за мной, хотя купаться они не собирались.

«Только далеко не заплывай!» — отдала руководящие указания супружница перед тем, как я погрузился в воду. Согласно махнув жене рукой, я оставил на берегу тапочки и полотенце и пошел. Ливень хлестал, и грязная сероватая поверхность моря была вся в кружочках дождя и беловатой пене. Шестиметровые волны грозно рокотали и неслись мне навстречу. Пройдя с десяток метров, я нырнул в набегавшую волну и с удовольствием поплыл. Плавать я не умел, хотя в первом классе несколько месяцев ходил учиться в бассейн, но бестолку. К тому времени, отдыхая каждым летом с детьми на море, я постепенно обучился водной грамоте — как говорили обитатели древней Спарты, образованный человек должен уметь читать и плавать. Я отходил от берега до того места, где мне было «по горлышко», и на этой глубине пытался плыть вдоль береговой линии, чтобы нащупать почву под ногами в случае чего. В тихую погоду в морской соленой воде я позволял себе иногда отплыть метров сто — максимум сто пятьдесят — от берега, на глубине я немного отдыхал, лежал на спине, широко раскинув руки, изучал бездонное синее небо, разворачивался и возвращался на твердую почву.

Как только я нырнул в штормовые волны, стальное кольцо, сжимавшее всю неделю мою голову, разжалось и боль отпустила мозг. На радостях я быстро поплыл от берега, лихо ныряя в ласковые шестиметровые валы, ритмично наплывавшие на меня раз за разом. Я подныривал в середину водной гряды, как нож в масле проходил ее насквозь, спазмы сосудов головного мозга враз завершились, и я наслаждался всем огромным миром вокруг и тем, что боль наконец отпустила меня из своих чугунных тисков. Обернувшись, я заметил, что супруга призывно машет рукой, мол, давай возвращайся. Мне показалось, что я отплыл довольно далеко, но в реальности находился не дальше пятидесяти метров от берега. Жена все время продолжала тревожно семафорить рукой — мол, завязывай, пора ужинать. Я развернулся и, вдохновленный отсутствием мигрени, послушно отправился назад.

Плыл я кролем. Греб размашисто и уверенно. Широкими гребками я, казалось мне, приближался к земле. Но вскоре заметил, что стою, вернее, плыву на одном и том же месте — возвращающиеся назад в море волны как-то незаметно и непонятно для меня снова и снова оттаскивали меня от берега. Поскольку я вырос вдалеке от воды и моря, никто не объяснил мне ни в детстве, ни во взрослом возрасте, что, для того чтобы преодолеть силу возвращающихся от берега волн, надо подныривать в основание каждой

из них, и только таким образом ты сможешь проплыть против течения к земле. Я продолжал плыть в сторону берега, но силы постепенно начали оставлять меня, я по-прежнему упорно барахтался и бултыхался на расстоянии, наверное, тридцати или сорока метров от береговой кромки.

Неожиданно для меня рядом с женой и сыном появился невысокий активный мужичок, который почему-то стал показывать руками, что мне надо плыть не к берегу, а в сторону. Совсем не понимая его странных, даже дурацких советов, я из последних сил старался продолжить свое «плавание» по направлению к жене и сыну. Глядя заливаемыми все время водой глазами сквозь высокие волны на берег, я вдруг стал думать, как же будут дальше жить без меня мои дочери, сыновья и моя супруга, когда я утону? Откуда же они будут брать деньги на жизнь? Как же они без меня обойдутся? Ответов у меня не было.

Тогда активный мужичок, мой ангел-спасатель, поменял тактику. Он отбежал по песку метров на пять в ту сторону, куда показывал мне рукой направление движения, и вдруг достал из-под воды длинный канат, уходящий в море. Скорее всего, это была веревка, ограничивающая по бокам зону катания на водных велосипедах. Тогда я сменил на девяносто градусов направление и поплыл к спасительному тросу. Через какое-то время — мне показалось, что прошла вечность, на самом деле не больше двух-трех минут, — я с трудом доплыл до искомой пограничной веревки, схватился за нее и, перебирая по ней руками, постарался приблизиться к берегу. До дна ногами было не достать, а держаться за трос руками, находясь на глубине, и плыть при этом у меня совсем не получалось. И под весом моего тела веревка вместе со мной стала опять уходить под воду. В этот момент силы почти совсем оставили меня. Удержаться на плаву и, руками перебирая канат, приближаться к берегу было для меня непосильной задачей.

Мой невысокий ангел-спаситель и еще один доброволец-англичанин на берегу мгновенно оценили грозящую мне опасность и, не раздеваясь, прямо в одежде нырнули в бурные высокие волны и бросились вплавь ко мне на помощь.

Этого я уже не видел — как рассказала мне потом жена, она опустилась вместе с четырехлетним Гришей на колени на песок и начала громко молиться. Держась за веревку из последних сил буквально зубами, чтобы меня не отнесло в море, я стал погружаться в воду. Воздуха в легких оставалось немного. «Как же жена и дети будут жить без меня?» — продолжал размышлять я уже под водой.

В этот момент рядом со мной оказался ангел-спасатель, каким-то образом он помог мне, приподнял меня из воды, поддержал на плаву и я, перебирая руками по канату, стал приближаться к берегу. Второй спасатель-доброволец, вероятно, помогал мне, поддерживая мое тело с другой стороны, но я его не видел и не чувствовал.

Через минуту я почувствовал землю под ногами. Не отпуская ни на секунду из рук спасительный канат, шатаясь как пьяный, я добрал до берега и плашмя упал на мокрый песок. Сердце мое билось ударами двести в секунду.

Выкатив наружу красные глазища, я дышал как паровоз, сплевывая слюну и воду из легких. Гриша с ужасом и жутким интересом наблюдал за мной.

Мой невысокий ангел-спаситель снял и выжал свою футболку, снова надел ее, посмотрел с непонятым интересом на меня, распростертого на песке, и, бросив сквозь зубы: «Strange man» («Странный человек»), удалился в неизвестном направлении. Мне предстояло еще отдышаться, собраться с духом и подняться на двести ступенек вверх от воды к отелю.

Мигрени у меня продолжались до пятидесяти лет, пока я не встретил замечательного гомеопата Григория Владимировича Абрина, и он излечил мою голову.

Этот день — 15 июля 2001 года — я отмечаю как второй день рождения.

ВАЛЕРИЙ СКОБЛО

* * *

Ни первым среди равных, ни последним...
Я вовсе не хочу быть среди равных.
Ни задним не желаю, ни передним,
Ни в гуще, ни одним из самых главных.

И в очередь, поверьте мне, не стану,
Ведь даже крайним мне стоять не лестно.
Я не примкну к аристократов клану,
Мне кажется все это неуместно.

Но и к Бабёфу не пойду, пожалуй —
Не надо мне ни равенства, ни братства.
Лишь за глоток свободы самый малый...
Да нету сил за эту тему браться.

* * *

Всё засадил вокруг сливами, вишнями —
Вот разрослись: были дёбры поливы.
Но понимаю, что всё это лишнее:
На фиг сдались мне и вишни и сливы.

То, что любое деянье бессмысленно,
Я сознавал, когда брался за дело,
В умных трудах сколько раз все расчислено,
Чтобы все сущее смысл свой имело.

Валерий Самуилович Скобло (род. в 1947 г.) — поэт, прозаик, публицист. Автор книг стихов «Взгляд в темноту» (СПб., 1992), «Записки вашего современника» (СПб., 2011), «О воде и воле» (СПб., 2015), «За тайной печатью» (СПб., 2017). Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной литературной периодике. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012). Живет в С.-Петербурге.

Редакция сердечно поздравляет Валерия Самуиловича Скобло с юбилеем — 7 июля.

© Валерий Скобло, 2022

Да, все напрасно, и тщетны старания.
Жизнь не по их наставленьям ведóма.
Временем стерты в труху без названия
Все фолианты и... Выйди из дома!

Садик к земле привязал нас оковами,
Каждая тварь ищет норку и нишу.
С нами связав свою жизнь, бестолковыми,
Яблоня ветками бьется о крышу.

Вряд ли поправишь картину починкою,
Доводам этим резонным не внемлю.
Рядом с качаемой ветром былинкою
В самом конце рухнуть в мягкую землю.

* * *

У нас в квартире целых четыре календаря,
Но времени не прибавляется, извините.
Время на всех четырех уж так и проходит зря,
Оставляя нас в постояннейшем дефиците.

Время — такая вещь, что, как его ни измеряй,
С ним дело глухое — скажу без ненужной позы.
Только и остается, что повторять: ай-ай-ай!
Глядя на все четыре и утирая слезы.

* * *

Я уже пережил Сократа —
Непредвиденный поворот.
Нам по семьдесят лет на брата,
Мне чуть больше... И вот, и вот...

Я чуть старше, но не мудрее,
Весь мой ум — за его же счет.
Чуть умнее мы все, по идее,
На почти две тыщи пятьсот.

Записал — и мне стало легче...
Не умножив добро стократ,
Сброшу всё, что давит на плечи...
Скоро встретимся, друг Сократ.

ТАТЬЯНА ШИПИЛОВА

ЛЕТАРГИЯ

Рассказ

Я приехала в свой маленький городок два года спустя. Раньше приезжала каждое лето. Год или два — неважно, время здесь остановилось лет десять назад. О том, что город все-таки жил, говорили лишь обновленный единственный кинотеатр да наконец-то закопанная в главном городском парке яма за фонтаном, где когда-то собирались строить церковь. Строить ее собирались лет тридцать назад, но за последние годы туда попадало и покалечилось столько детей, а денег на строительство так и не нашли — и закопали. Что сделали с иконой, которая стояла там последние лет пятнадцать на месте будущего алтаря, никто не знал.

Еще о прошедшем времени говорил сколотый угол памятника у Вечно-го огня. Огонь горел скорее из упрямства, нежели из памяти; пламя было слабенькое, еле синеватое, совсем не похожее на огонь, но горело несмотря ни на что.

В моем детстве парк худо-бедно работал: иногда включали карусели, можно было прокатиться в вагончике, рельсы которого частично заходили на территорию главного рынка. Я даже помню времена, когда работал большой, десять на пять метров фонтан. Его включали каждый день до обеда, мы бегали, пытались поймать брызги и специально прыгали в воду, чтобы всем было видно: мы не боимся намочнуть и можем выбраться наверх. Раньше здесь подстригали кусты и высаживали клумбы, а библиотека в конце парка всегда была полна народа. Или мне так казалось, потому что мы проводили в ней почти всё свободное время, которого так много летом. У меня там работала бабушка и тетя, там я полюбила читать.

Татьяна Евгеньевна Шипилова окончила Литературный институт им. А. М. Горького, в настоящее время — аспирант кафедры зарубежной литературы. Публиковалась в журнале «Кольцо А» и на портале «ГодЛитературы.РФ», куда впоследствии была приглашена на работу. Живет в Москве.

Сейчас все будто спало. Иногда казалось, что где-то стоит замок, в котором принцесса уколола палец о веретено — и вместе с ней в сон погрузился весь город. Отгремели его лучшие дни, когда заводы и фабрики обеспечивали всю республику; прошли урожайные годы, когда торговали зерном и фруктами; ушли в небытие страшные дни, когда город отходил от двух терактов подряд. Жизнь вроде и текла своим чередом, но делала это нехотя, не спеша, будто ее заставляли, рутина никуда не денется, а Терек так и продолжит бурлить на окраине города, раз в год угрожая разлиться и снова затопить улицы.

Город спал, и пробуждение его все откладывалось, плавно переходя в лентаргический сон.

Мне сказали, что почистили городской пляж. Конечно, пляжем его называли только местные да такие, как я, кто учился плавать именно здесь, когда всей семьей или же в компании друзей с утра пораньше спешили купаться, чтобы занять место в теньке под деревом. В роше, что рядом с пляжем, говорят, открылся ресторан; у нас во дворе оттуда слышна вечерняя музыка. Когда-то мы там катались на велосипедах, а еще именно там случилось мое первое в жизни свидание, когда гуляешь по парку, держась за руки, стесняешься смотреть друг другу в глаза и страшно, если вдруг кто увидит из знакомых, ведь их так много в маленьком городе.

Такси проехало мимо здания пятиэтажки на Садовой. Мы называли этот дом просто «Пятый этаж», потому что когда-то там жили, и с балкона в ясную погоду можно было рассмотреть двуглавую вершину Эльбруса. С моим плохим зрением я ее никогда не видела, но верила, что говорили братья.

Попыталась рассмотреть знакомые окна, но не узнала рамы. Квартиру давно продали, теперь там живут военные. А вот поворот во двор узнала, и на меня вдруг накатила порыв: попросила туда заехать. Таксист растерялся, но успел затормозить и повернуть.

Двор я помнила разным: в далеком детстве мне он казался огромным, с большими качелями, что на земле не стояли твердо, а оттого нам запрещали на них качаться, боясь, что они перевернутся, но разве дети когда-нибудь слушают взрослых? Потом мы переехали ближе к Тереку, а сюда приходили к тете в гости, уже выходя гулять с маленьким братом; теперь сами запрещали ему и еще нескольким мелким приближаться к опасным железякам.

А еще я помнила двор с балкона, когда смотрела вниз, сидя на коленях любимого и слушая музыку из кафе неподалеку, на стройке которого он как раз работал. Под нашими окнами всегда росли огромные цветы, и до второго этажа стены и окна были обвиты виноградом. Солнце сюда не проникало, потому ягоды были кислые и мелкие, но зато все утопало в зелени. На скамейках перед двумя подъездами всегда кто-то сидел — перешептывался, незлобиво переругивался и рассказывал последние сплетни.

Сейчас цветов я не видела. Баба Женя давно умерла, именно она смотрела за клумбой. Качелей тоже не было. Наверное, они все-таки перевернулись, и от них решили избавиться. На скамейке перед первым подъездом сидела Света. Я ее еле узнала, а ведь она была старше меня всего-то года на два. Сидела она одна, смотря в одну точку, туда, где раньше был виноград. И только, кажется, кафе продолжало все так же работать: у заднего входа

стояли два грузовика, сновали грузчики, лениво переругиваясь и передавая друг другу ящики и коробки.

Я тяжело вздохнула, будто оторвала от души кусок. Таксист спросил, можно ли ехать дальше.

А дальше по дороге до больницы, оттуда поворот на Кирова, где на перекрестке колонна с названием, гербом и годом основания города сообщает, что рада приветствовать вас тут. Двести пятидесятый юбилей, насколько я знаю, так и не отметили, денег у администрации не хватило.

Мимо маленького рынка, мимо цветочных палаток, кинотеатра и магазина, мимо нескольких кафе, которых в городе теперь столько, будто строят на каждого жителя по отдельности. Мимо парка Пушкина, бильярдной и прокуратуры, перед полицией свернуть направо. Теперь мимо роши, библиотеки и улицы Братской, с которой когда-то компания из двадцати одного человека уехала на две недели в горы. Мне было тогда двенадцать, а Эльбрус оказался любовью на всю жизнь.

Мимо заброшенного еще во время строительства Дома престарелых, мимо заросшего футбольного поля, маленький кусочек хорошего асфальта, а потом снова по ямам и колодцам. И вот любимые ворота, в детстве голубые, теперь же то ли персиковые, то ли бледно-оранжевые, уже давно выгоревшие на горячем тропическом солнце, а за острыми зубчиками виднеется крыльцо. Окна дома затемненные, сверху — козырек крыши, частенько на него у нас залетал воланчик.

Таксист вытащил мой чемодан, получил деньги и быстро уехал, я же подошла к воротам, дернула за ручку. Закрыто. Всмотрелась в зубчик слева, там обычно можно было заметить веревку с ключом. Но в этот раз я ничего не увидела. Постучалась.

Дядя семенил по двору, своим шарканьем напоминая деда. С возрастом он все больше становился на него похож.

Меня ждали осетинские пироги, салат из огурцов-помидоров, назуки. Хоровац обещан на завтра. Во дворе за два года ничего особенно не изменилось, только кран на улице еще больше покосился да на веранде второго нашего дома прибавилось старой рухляди.

Я прошла в летнюю кухню, с опаской поглядывая в сторону окна, но подходить к нему не хотела. Я знала: огород засыпали, теперь там только несколько клумб да деревьев — дядя присылал видео и фото. Но мне казалось, если не вижу этого лично, то пока можно верить, что ничего не изменилось, можно верить, что все осталось так же, как в детстве, когда дед пропадал в огороде часами, а мы бегали туда купаться в огромной ванне, казавшейся нам целым бассейном.

Странное чувство: я хотела, чтобы город проснулся и снова зажил, ведь время идет вперед, а он словно пятится назад. Я хотела, чтобы после долгой спячки снова заработали заводы, открылись фабрики, появилась работа для горожан. Но как же я не хотела, чтобы что-то менялось в доме, в котором я выросла. Как же мне не хотелось, чтобы огород сровняли с землей, подняв его уровень до дамбы Терека. И хоть я знала, что участок постоянно затоплен во время паводков, воду сложно откачивать, урожай погибает, — надо было что-то менять, но именно этих изменений я боялась больше всего.

Возвращаясь сюда каждое лето, я возвращалась в детство. Сейчас же, подойдя к окну и не увидев дедовых грядок, я поняла: детство закончилось.

МИХАИЛ ЕРЕМИН

Зачем анафемой грозите вы России?

А. С. Пушкин

Как не в пленницах ли, падшие не под ножовками ли, регулярные, Ландшафтные, пейзажные? — То, как ни впору и колоть на розжиг Жакобы, шератоны, хепплауайты, чиппендейлы?.. Сажа на жаккарде И гарь на патине, и копоть на эмалях — обогрев По-черному, оно в разы рачительней. Напасть, поди, не на пустом, и за повинными не стало — Активировать бы оных в топку. Окститесь. Не самими ли накликано?..

2022

Пороки, отягченные собой, не стелются ли, По-над землей, подстерегая, низменно таясь, Биопилона, оного дабы зазорно ухватить и, обвиваясь, Вращаться вокруг одушевленной по природе вертикали. А то и, скажем, пуше, как то Full Moon, Sunrise, шпагат Джанейро, вис с упором, Стриппластика в партере, задний планш et cetera. А вслед и порученцы пагубы, как есть, все семь.

2020

Для умерщвления правителей (царей, вождей) издревле Используются яды. В разгуле бунтов — эшафоты, трехлинейки. У заговорщиков в обычае клинки, подкопы, бомбы, револьверы (По ходу табакерка, портупея как удавка). Для полноты — история про Золотого Петушка, Сюжетом каковой Не предусмотрен действующий самодержец в царской ложе.

2019

Михаил Федорович Еремин (род. в 1936 г.) — поэт, переводчик, автор книг «Стихотворения» (Нью-Йорк, 1989; М., 1991, 1996, 2021; СПб., 1998, 2002, 2005, 2009, 2013, 2016, 2017). Живет в С.-Петербурге.

ПРОЗА О ПЕТРЕ I

ЯКОВ ГОРДИН

ЦАРЬ И БОГ

Утопия Петра Великого

ЦАРЬ. БОГ. ФЕОФАН

...Самодержавный Государь человеческого закона хранить не должен, кольми же паче за преступление закона человеческого не судим есть: заповеди же Божии хранить должен, но за преступление их самому токмо Богу ответ даст, и от человека судим быть не может.

Феофан Прокопович. Правда воли монаршей. 1722

1

Мы далеко не всегда сознаем, что в центре процессов окончательного формирования государственной идеологии и, соответственно, государственного строительства — процесса, определившего судьбу России на столетия, — оказались личность и судьба царевича Алексея Петровича.

Трагедия 1718 года стала некой точкой невозврата, после которой и стал бесповоротно реализовываться утопический вариант того, что принято именовать Петровской реформой и что Пушкин называл «революцией Петра».

«Дело» Алексея Петровича оказалось в центре мощной работы по созданию стройной и непреложной идеологической доктрины, которая в разных вариантах, но без потери глубинного смысла стала путеводной идеей русских самодержиц и самодержцев вплоть до Николая II, который в 1897 году определил свой статус: «Хозяин земли Русской».

Причем идеология эта рождалась в процессе подготовки общественного мнения к лишению права на престол законного наследника, а затем созданию доктрины, оправдывающей его убийство.

Главы из книги «Царь и Бог. Утопия Петра Великого».

© Яков Гордин, 2022

Мы уже говорили о той популярности, которой пользовался Алексей в разных слоях русского общества.

Очень рано формировавшийся миф о «царевиче-спасителе», слухи о преданности царевичу казачества, о том, что царевич скрывается в народе от преследований отца, — все это, конечно же, было известно Преображенскому приказу и его главе Ромодановскому, а соответственно, и царю.

В материалах следствия сохранились ходившие в народе листки с молитвами за Алексея.

«Настоящий нынешний день Преподобного Алексея человека Божия, благочестивому Государю нашему Царевичу и Великому Князю Алексею Петровичу Божиим промыслом на соблюдения жития его приданного, егда торжественными почитаем похвалами Ангела, о сем аще и недостойные наши дерзнухом принести к Богу молитвы, дабы преподобный Алексий, человек Божий, в имени своем пособителен суще нарицающимся, благороднейшему Государю нашему Царевичу и Великому Князю Алексею Петровичу, молитвами своими подавал пособие, в непреходящем благополучном и душеспасительном здравии, дабы Его Царское благородие укрепилась во всех, Богу и Отечеству Православному, угодных измерениях...»

Так православный люд откликнулся на очередное возвращение Алексея в родные пределы из Европы.

Особым аспектом ситуации было народное представление о роли в судьбе царевича его мачехи Екатерины.

Следственное дело, начатое в 1718 году, продолжалось до 1722 года, обрастая все новыми ответвлениями.

В декабре 1721 года «в Канцелярии Полицеймейстерских дел, по розыскному делу, приличная к воровству женка отставного солдата Васильева, жена Кузнецова, Марья Обросимова дочь», желая, очевидно, облегчить свою участь, донесла на служителя в доме Меншикова, столяра Василия Королька, что он говорил «некоторые слова, касающиеся к чести Ея Величества, Всемилостивейшей Государыни Екатерины Алексеевны».

Не будем вдаваться во все повторяющиеся детали допросов. Нам важно то, что касается «дела» Алексея. А именно судьба царевича и оказалась сутью этого розыска.

Марию и Королька пытали, и при допросах выяснились весьма характерные, бродившие в народной среде подробности представлений о смерти Алексея, а главное — о причинах его гибели.

«А Генваря в 11-м числе, она же, Марья, в болезни своей, при исповеди отцу своему духовному назначила, а потом в распросе сказала:

Некоторых слов она в вышеписанном распросе не сказала, а именно, что при означенных, де, разговорах оной Королек говорил с нею: Пока, де, Государь здравствует, по то, де, время и Государыня Царица жить будет; а ежели, де, его, Государя, не станет, тогда, де, Государыни Царицы и Светлейшего Князя Меншикова и дух не помянется, того для, что, де, и ныне уже многие великому Князю сказывают, что, де, по Ее, Государыни Царицы, наговору Государь Царевича своими руками забил кнутом до смерти, а наговорила, де, она, Государыня Царица, Государю так: Как, де, тебя не станет,

а мне, де, от Твоего сына и житья не будет; и Государь, де, послушав Ее, Государыни Царицы, и бил его, Царевича, своими руками кнутом, а от того он Царевич и умер».

«Великий Князь» в этом случае — сын Алексея Петр, будущий Петр III.

Помимо прочего, существенно то, что наиболее полные сведения следователи получили даже не от расспросов с пыткой, а от исповеди как Марии, так и Королька. Священники выполнили петровский указ и на тайну исповеди внимания не обращали.

Расспросы с пыткой, судя по записям, происходили именно после донесения священников.

К розыску привлекались новые лица из служителей в доме Меншикова. Выяснилось, что они вполне осведомлены о происходившем в царской семье.

Некая «старуха Варвара Кулбасова», одна из тех женщин, что ходили за княжескими детьми, по признанию Королька, говорила очень значимые для следователей вещи.

Будем помнить, что Королька пять раз вздергивали на дыбу, били кнутом и жгли огнем и выбили из него много разнообразной информации.

В частности, от «старухи Варвары Кулбасовой» он слышал о том, что «старую царицу», то есть Евдокию Лопухину, «сожгли или где дели, а горело, де, в то время на Конюшенном Дворе, а тут никого не пускали». То есть пожар был устроен для сожжения «старой царицы».

Стало быть, народ ждал от власти чего угодно.

Но главный и наиболее опасный мотив касался слухов о том, что шестилетнему великому князю Петру Алексеевичу «уже многие и ныне сказывают», как и по чьей вине погиб его отец.

Следствие по делу Василия Королька вели первые лица политического сыска — генерал Андрей Иванович Ушаков, будущий свирепый шеф Тайной канцелярии при Анне Иоанновне, и нынешний глава этого учреждения Петр Андреевич Толстой, главное действующее лицо в «деле» Алексея. Стало быть, этому направлению следствия придавалось особое значение.

Маленький царевич Петр Петрович, наследник, сын Екатерины, уже умер, и была высока вероятность, что трон после Петра займет царевич Петр Алексеевич. И, повзрослев и обладая властью, не забудет, кто погубил его отца...

2

Еще в начале века, в 1700-е годы, в народном, общественном сознании уже вызревал образ жестокого будущего — неизбежный конфликт отца и сына, который мог закончиться только трагически.

Это явление — пророческая мифология, порожденная особым инстинктом, также писавшимся полусознанным предшествующим опытом, — не в последнюю очередь определяло атмосферу, в которой развивались отношения Петра и Алексея. При длительном внешнем благополучии и тот и другой жили с ощущением опасности.

И когда в 1715 году Петр решил для себя вопрос об участии сына, то появилась необходимость фундаментально подготовить общественное, народное сознание к роковой развязке, возвести вопиющее нарушение законов Божеских и человеческих в образец государственной мудрости и в пример нравственного подвига, чтобы на этой основе и далее возводить новую вавилонскую башню идеального «регулярного» государства.

Вопреки традиционному мнению, у Петра были большие сложности с выбором надежных сотрудников (см. главу «Фон для трагедии» в: Звезда. 2021. № 10).

Но в случае реформы нравственной, идеологической, при попытке создания ведущей концепции царствования судьба ему улыбнулась.

4 июля 1706 года Петр приехал в Киев. Готовилось возведение крепости. В ожидании похода Карла XII в российские пределы укреплялись границы со стороны Польши.

По традиции его приветствовал торжественной речью представитель Киевско-Могилянской академии Феофан Прокопович.

Речь молодого монаха поразила царя своей нетривиальностью и общекультурной насыщенностью.

Феофан Прокопович, преподававший поэтику, риторiku, философию и богословие, очень искусно построил свою речь, так что восторженное восхваление монарха не казалось грубой лестью, а выглядело как дань высокой традиции.

«Что о солнце Анаксотор философ, то я глаголю о Царском зрении. Ученейший древний любомудрец, аки бы человек тоей ради вины создан был, дабы смотрел на солнце: тако солнечному светилу удивляешься! Но поистине аки природное всем желание есть Царя видети <...> и аще кто видел, счастием своим зовет, в благополучие себе вменяет и тем вельми хвалится, яко Царя видел. Кое же было желание Киеву узрети Царя своего. <...>

Правда то, яко ты Пресветлый Монархо Наш и прежде пришествия твоего присутствовал еси zde, и всегда обитаеши. Обитаеши на судех правдою, обитаеши в Церквах поминанием Твоим, обитаеши в монастырех Твоими милостями, обитаеши во всем граде державною, обитаеши во всех мыслях славою, во всех сердцах любовью».

Дальше следовал долгий и подробный экскурс в историю — повествование о деяниях предшественников Петра, киевских князей и московских царей. И примеры из римской истории, и отсылки к Священному Писанию.

Это было еще до Полтавы, но Феофан точно уловил, что особенно понравится воюющему царю.

«Зрит весь мир избранныи твои полки: удивляются иноземнии кавалерии Российской. Кая равная похвала быти может рицарству сему?»

Через три года «Слово похвальное» в честь победы под Полтавой написано было на трех языках — на латыни, славянском и польском.

Феофан обращался не просто к миру и городу. Прежде всего он обращался к самому Петру, восторженно объясняя ему масштаб его свершений.

«Вся Твоя и дела и деяния, Пресветлейший Монархо, дивная воистину суть. Дивне презираеши светлость и велелепие Царское, дивне толикие

подъемлеши труды, дивне в различныя Себе ввергаеши беды, и дивне от них смотрением Божиим спасаешися, дивне и гражданския, и воинския законы, и суды уставил еси, дивне весь Российский род тако во всем изрядно обновил еси, обаче ныне достигл еси верха дивной славы, и отселе не вспомянет Тебе никто же без великого удивления. О нас, блаженных! О нас, благополучных! Что се с нами по неисчетным своим щедротам сотвори Бог? Забываются все мимошедшия скорби за нашедшая безмерная и безчисленная блага! Кия бо плоды от победы сей родишася нам? Превеликая слава народа нашего, здравие, безпечалие, мира возвращение, всякое изобилие, Церкви благостояние. Что же прочее? О, благословения на нас твоего, Боже наш! Мнит ми ся, яко светает уже день той, вон же проклятая унея, имевшая в отечество наше вторгнутися, и от своих гнездилищ извержена будет, святая же православно-кафолическая вера, юже от Малой России служители диавольския изгнати хотяху, и во инья страны благополучне прострется».

И Петр оценил возможности молодого монаха.

В 1711 году он взял Феофана с собой в роковой Прутский поход, и, очевидно, монах вел себя мужественно, поскольку сразу по возвращении он был назначен игуменом Киево-Братского монастыря, ректором Киево-Могилянской академии и профессором богословия.

А в 1715 году, когда долго и глубоко назревавший, неразрешимый конфликт между Петром и Алексеем стал явным, царь вызвал Феофана в Петербург.

Болезнь помешала Феофану выполнить приказ немедленно. Он оказался в Петербурге незадолго до отъезда царевича Алексея за границу.

Он пользовался благосклонностью Меншикова, которому тоже посвятил сильное «Слово похвальное», и вполне вероятно, что ситуация в августейшем семействе была ему известна.

Во всяком случае, в первом же своем публичном выступлении в столице, 28 октября 1716 года, он произнес «Слово похвальное в день рождества Благороднейшего Государя Царевича и Великого Князя Петра Петровича», в котором уже намечены были те идеи, которые было необходимо Петру внедрять в общественное сознание.

Что же являл собой этот умный, безмерно образованный и талантливый человек, ставший рупором ведущих идей Петра, мощно их воплотивший в ярких и убедительных текстах?

Он родился в Киеве, в семье состоятельного купца, и при рождении был наречен Элазаром.

Его дядя, Феофан Прокопович, был ректором Киево-Могилянской духовной академии, и юному Элазару естественно было при таком покровительстве выбрать духовную карьеру.

Но путь его по этой стезе оказался своеобразен и вполне соответствовал особенностям его личности.

Он блестяще окончил академию и как один из лучших учеников был отправлен для продолжения образования в Краковскую, а затем Львовскую католическую школу. Но, чтобы учиться в католической Польше, нужно было отказаться от православия. И юный Элазар стал униатом, то есть адептом

католической церкви греческого обряда. В Польше он принял монашеский обет и обратил на себя внимание монахов греко-униатского ордена Василия Великого, базилиан. Орденское начальство отправило его в Рим — учиться в коллегии Св. Афанасия, специально учрежденной Папским престолом для пропаганды католицизма среди славян и греков.

В монашестве он стал Елисеем.

Обладая неистовой жадой знаний, он проводил все свое внеучебное время в Ватиканской и других библиотеках, а в коллегии изучал правила красноречия, стихосложения, знакомился с творениями античных философов. Разумеется, особое внимание уделялось творениям отцов Западной и Восточной церкви.

Он прошел полный курс католического богословия.

И снова привлек внимание влиятельных персон. На этот раз это были иезуиты.

И тут произошло нечто не совсем понятное. Очевидно, ему было императивно предложено вступить в орден Иисуса. Но это не соответствовало его планам, а прямо отказаться было опасно. И он предпринял рискованный шаг — тайно бежал из Рима. В противном случае ему пришлось бы остаться в Италии.

Возможно, с этой ситуацией связано его будущее резкое неприятие папезства. Он явно ненавидел все, что было связано с Ватиканом.

Благодаря живому уму, сильной памяти и фанатическому усердию он стал за годы, проведенные в Польше и Риме, без преувеличения, одним из образованнейших людей своего времени. Тем более что он и дальше свое образование пополнял.

Он вернулся в Киев в 1702 году. Ему был тридцать один год, и он был исполнен честолюбивых планов.

Он тут же перешел из униатства в православие и сменил имя Елисей на Самуил, а в 1705 году снова сменил имя и стал Феофаном — в честь своего дяди и покровителя.

О его первой встрече с Петром и начале его карьеры нам известно.

Позднейшие исследователи оценивали его сурово. Авторитетный историк Церкви протоиерей Георгий Флоровский в монументальном труде «Пути русского богословия» так характеризует личность Феофана: «Феофан Прокопович <...> был человек жуткий. Даже в наружности его было что-то зловещее. Это был типический наемник и авантюрист, — таких ученых наемников тогда много бывало на Западе. Феофан кажется неискренним даже тогда, когда он поверяет свои заветные грезы, когда высказывает свои действительные взгляды. Он пишет всегда точно проданным пером. Во всем его душевном складе чувствуется нечестность. Вернее назвать его дельцом, не деятелем. Один из современных историков остроумно назвал его „агентом Петровской реформы“». Однако, Петру лично Феофан был верен и предан почти без лести и в Реформу вложил весь с увлечением. И он принадлежал к тем немногим в рядах ближайших сотрудников Петра, кто действительно дорожил преобразованиями. В его прославленном слове на погребение Петра сказалося подлинное горе, не только страх за себя. Кажется в этом

только и был Феофан искренним, — в этой верности Петру, как Преобразователю и герою...»¹

Характеристика жестокая. Можно было бы заподозрить Флоровского в пристрастности. Недаром Бердяев предложил в рецензии на «Пути русско-го богословия» назвать книгу «Беспутство русского богословия».

Но другой весьма уважаемый мыслитель, Николай Онуфриевич Лосский, в «Истории русской философии» писал: «Отец Георгий оказал большую услугу развитию русского богословия своей замечательной работой „Пути русского богословия“».²

Скорее всего, Флоровский не совсем справедлив, называя Феофана наемником и авантюристом. Он сам же опровергает это обвинение, говоря о подлинной преданности Феофана Петру и делу реформы.

Другой вопрос — какой аспект реформы, или «революции», Петра был ему по-настоящему близок и какими средствами содействовал он своему патрону.

Дмитрий Александрович Корсаков, многолетний профессор русской истории в Казанском университете, ученый, не любивший крайностей, тем не менее в основательной работе «Воцарение императрицы Анны Иоанновны», вышедшей в 1880 году, изучив роль Феофана в драматических событиях января — февраля 1730 года, тоже начертал не менее зловещий портрет этого ближайшего сотрудника первого императора: «...властолюбивый и заносчивый, он стремился к власти, хотел быть временщиком в Русской церкви, и если не мечтал о патриаршестве, то надеялся так организовать синодальную коллегия, чтобы первенствовать в ней фактически. При Петре Великом ему не удалось достичь этого: Стефан Яворский и Феодосий Яновский заграждали ему дорогу, да и император был не из таких людей, которые способны равнодушно сносить чье-либо первенство. Со смертью Петра открылась широкая арена для честолюбивых мечтаний временщиков. Стефан Яворский сошел уже в могилу, и Феофан направил всю свою злобу против Феодосия, который и был им низвергнут. Заточенный в отдаленный монастырь под именем „чернеца Федоса“, он явился первой жертвой ненасытимого честолюбия и жестокой мести, которыми преследовал Феофан своих врагов. Ряд архиерейских процессов, начатых Феофаном уже при Анне и окончившихся после его смерти, — ложится кровавым и тяжким укором на память Новгородского архиепископа. Эти процессы, которым Феофан постоянно придавал политический характер, далеко превосходят коварством и жестокостью параллельно шедшие с ними политические процессы государственных людей царствования Анны Иоанновны...»³

Историк Церкви и пастырь архиепископ Филарет (Гумилевский), старавшийся быть лояльным собрату-иерарху, тем не менее как честный и справедливый человек должен был признать, характеризуя Феофана: «Христианство хорошо было известно уму его, он знал его отчетливо и полно; но оно не было господствующим началом его жизни; хитрый и дальновидный, он умел находить себе счастье, не справляясь с совестью».

В своей «Истории русской церкви» архиепископ Филарет скупно, но выразительно и горько рассказывает о расправе Феофана над его идейным противником, архиепископом Феофилактом Лопатинским.

«Феофан Прокопович сильно унизил себя в этой борьбе. <...> Он не был столь добросердечен, чтобы забывать личные оскорбления, не был столь велик духом, чтобы не унижаться перед сильными времени для видов честолюбия. <...> И Феофан, не умевший побеждать в себе страстей, стал действовать против Стефана и Феофилакта. Он представил в Тайную канцелярию Бирона как „Камень веры“ (сочинение Стефана Яворского. — Я. Г.), так и апологию, писанную Феофилактом, называя их вредными для государства. Феофилакт тогда же исключен из членов Синода и удалился в Тверь. <...> Но Бирон и Феофан не оставляли неоконченными начатых дел».⁴

Старый архиепископ оказался в застенке. Его подымали на дыбу и били батогами, а затем он был лишен сана и монашества и заключен в Петропавловскую крепость, где его разбил паралич.

Таков был Феофан Прокопович, которому Петр поручил оформить свои главные политические идеи.

Это был очень точный выбор, поскольку неукротимая энергия Феофана в достижении своих целей была под стать петровской в делах государственных, равно как и отношение к роду человеческому.

Пушкин писал, что «Петр I <...> презирал человечество может быть более, чем Наполеон». Строители утопий любят только будущее человечество.

Если принять это за правду — а мы к этому еще вернемся, — то эта формула вполне относится и к Феофану, безжалостному и высокомерному.

Это явное презрение распространялось и на Церковь как институт.

В августе 1716 года, собираясь в Петербург, Феофан писал (на латыни) своему другу: «Может быть, ты слышал, что меня вызывают для епископства; эта почесть меня так же привлекает и прельщает, как если бы меня приговорили бросить на съедение диким зверям. Дело в том, что лучшими силами своей души я ненавижу митры, саккосы, жезлы, свещники, кадильницы и тому подобные утехи: прибавь к тому весьма жирных и огромных рыб. Если я люблю эти предметы, если я ищу их, пусть Бог меня покарает чем-нибудь еще худшим. Я люблю дело епископства и желал бы быть епископом, если бы вместо епископа мне не пришлось быть комедиантом. Ибо к тому влечет епископская и в высшей степени неблагоприятная обстановка, если не исправит ее божественная мудрость.

Поэтому я намерен употребить все усилия, чтобы отклонить от себя эту чрезвычайную почесть и лететь обратно к вам».

На самом деле Феофан и не думал отказываться от епископства, то есть от власти. Впоследствии он жестоко отомстил тем, кто возражал против его посвящения в этот сан.

Его не случайно обвиняли в пристрастии к протестантству. Ему и в самом деле претила ритуально-торжественная сторона как католической, так и православной церковной жизни. Ему нужна была власть в чистом виде.

И он готовил свое вступление во власть и помимо хвалебных слов Петру и Меншикову.

В 1712 году он написал некое сочинение — «Книжицу» — «Повесть о распре Павла и Варнавы с иудействующими и трудность слова Петра Апостола о неудобноносимом законном иге пространно предлагается».

Это обширное сочинение — 158 страниц! — посвящено было близкому к царю вельможе, возглавлявшему Монастырский приказ, то есть ведавшему церковными делами: «Сиятельному и превосходительнейшему сенатору, благороднейшему господину, графу Иоанну Алексеевичу Мусину-Пушкину. Моему господину и патрону».

Мусин-Пушкин, весьма влиятельная персона, с момента создания Сената в 1711 году — первый в списке сенаторов. Стало быть, еще будучи ректором академии в Киеве, Феофан наладил тесные связи с одной из «сильных персон» в окружении Петра.

На первый взгляд, «Книжица» посвящена сугубо теологическим проблемам, хотя в тот момент достаточно злободневным.

Сюжет «Книжицы» взят Феофаном из Деяний апостолов (15: 10). В этой главе рассказывается о спорах апостолов Павла и Варнавы в Иерусалиме с фарисеями о роли обрезания в деле спасения. Но Феофан расширил сюжет и фактически изменил проблематику.

Понятие «иго» в небытовом смысле в Новом Завете встречается только дважды. Один раз именно в Деяниях. Апостол Петр, на которого Феофан и ссылается, говорит агрессивным фарисеям: «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?»

Речь шла об обращении язычников и соблюдении Закона.

Архиепископ Феофилакт, полемизируя с Феофаном, воспользовался другим евангельским текстом — Евангелием от Матфея.

Иисус увещевает нераскаявшихся грешников: «Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от Меня; ибо я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (11: 29—30).

Если в трактате Феофана главной смысловой формулой было «неудобноносимое законное иго», то Феофилакт назвал свой полемический ответ «Иго Господне благо и бремя Его легко».

Неизвестно, прозревал ли Феофилакт политическую подоплеку выступления Феофана. Скорее всего, он исходил из теологического несогласия, подозревая того в «калвинской ереси».

Флоровский писал о спорах вокруг «Книжицы», которая не была опубликована (вышла только в 1774 году), но была широко известна в церковных кругах: «Именно учение Феофана об оправдании в этой книжице дало первый повод его противникам заговорить о его „церковных противностях“, что де заражен он „язвой калвинскою“, что вводит он де в мир российский мудрования реформатские. Для таких упреков и подозрений было достаточно оснований. Феофан исходит из самого строгого антропологического пессимизма, почему для него заранее обесценивается вся человеческая активность в процессе спасения. <...> Человек разбит и опорочен грехопадением, пленен и опутан грехом. Пленена и обессилена самая воля. <...> Феофан подчеркивает, что „совершается“ спасение верой, и дела человека не имеют никогда *совершительной* силы...»⁵

Но при внимательном чтении «Книжицы», с учетом общего мировоззрения и практической деятельности Феофана, в ней можно уже в 1712 году

обнаружить черты той политической доктрины, которую с такой страстью будет он оформлять и проповедовать уже через несколько лет.

Вступительный текст, обращенный к «господину и патрону», и начинается соответственно. «Се мое об иге законном мнение, сказующее тяжесть его не удобоносимую ни в чем ином быти, точию в оной закона истязательной силе, еже бы во всех писанных, в книзе законней, пребыти совершенным, и весьма безгрешным! а не достигну толикой святыни, полежати клятве оной: „Проклят всяк, иже не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко творити я“».

Еще выразительнее и определеннее «Извещение о книжице сей благочестивому читателю»: «Прием вину дела сего, с разговора о слове Петра Святаго, закон игом неудобоносимым нарекшаго, надеяся недолгим словом окончить сие.

Трудности бо сея, в чем есть неудобоносимая тяжесть законная, сие краткое мое решение есть: тое есть оная тяжесть, чего требует закон ко оправданию законному, а никто же от человек совершити может. Закон же требует безгрешнаго, и ниже мало скудного хранения всех заповедей своих, аще кто законом оправдится хошет: а такового законохранения никто же от человек исполнити может, кроме единого безгрешнаго Христа: понеже кто же безгрешен есть, аще бы единый день жития его был: убо тяжесть оная законная в сем лежит: еже быти безгрешным закона творцом тако, дабы на суде Божием возмог весьма невинен быти и оправдися».

Флоровский, опытный и образованный богослов, так расшифровывает смысл весьма хитросплетенных рассуждений Феофана: «„Оправдание“ Феофан понимает вполне юридически <...>. Это есть действие благодати Божией, которым кающийся и уверовавший во Христа грешник туне приемлется и объявляется правым, и не вменяются ему грехи его, но вменяется правда Христова...»⁶

Эта установка естественно переключалась в политическую плоскость. Ничтожный и сокрушенный изначальным грехом человек, неспособный снести «иго неудобоносимое» соблюдения заповедей, что бы он ни творил в этой жизни, спастись может только беспредельной верой, которая сама по себе искупает любые его поступки. Соответственно, человеку для физического спасения достаточно беспредельно и безоговорочно верить в наместника Бога на земле — Государя.

Недаром в своих рассуждениях Феофан время от времени переключается на светскую терминологию, чтобы доходчиво пояснить читателю свою мысль: «Подобно корона и скипетр Царский вельми быти тяжкое, а малодушному и малоумному человеку отнюдь неудобоносимое глаголется, не ради материи своей: кто невесть? но ради дела собою знаменуемого».

В последней части трактата, где речь преимущественно идет о той самой проблеме «оправдания», которую Флоровский выделил как основную и которая строится в значительной степени на истории жертвоприношения Авраама, готового к закланию своего сына, Феофан тоже для усиления смысла прибегает к «государственной» лексике.

Чтобы подкрепить утверждение о многосмысленности текстов Писания, он пишет: «Обычно, как в слове человеческом, тако и в Божием. В слове человеческом многие примеры суть, яко егда глаголем: скипетро царства

сего или оного крепко быти: сие есть самое царство. И Царскую жалованную грамоту, нарецаем милость Царскую».

История Авраама и Исаака наверняка постоянно жила в сознании Феофана. Тем более что его мысль совершала причудливые обороты. Если, как резонно утверждает Флоровский, с одной стороны, «дела человека не имеют никогда *совершительной* силы», а значение имеет только вера, то с другой — веру можно доказать именно делом.

«Егда Авраам, возложи на жертвенник связанного Исаака, и уже намеревался заклати его, запрещающий тое Ангел сице проглагола к нему: *Ныне познах яко боишися ты Бога, и не пощадел еси сына твоего возлюбленного мене ради.* А от сего слова яве есть, яко делом тем Авраам показал великую веру свою».

Собственно, вся деятельность Феофана с появления его в Петербурге есть напряженные поиски аргументов для оправдания того, что задумал Петр, и того, что он совершил, — сыноубийства.

Для этого необходимо было предложить предельно убедительную идею государственного устройства, сутью которого является абсолютная власть монарха, не подлежащего суду человеческому, а исключительно суду Божьему. А для этого монарх должен был стать подобен Богу во всех своих деяниях и обладать Его правами в решении человеческих судеб и судеб народов и государств.

Здесь нет ни надобности, ни возможности разбираться в перипетиях собственно богословского спора, в котором противники Феофана уличали его в проповеди протестантизма.

Как писал тот же Флоровский, «Феофан был изворотлив и ловок, и сумел отвести от себя богословский удар. Возражения несогласным под его пером как-то незаметно превращались в политический донос, и Феофан не стеснялся переносить богословские споры на суд Тайной Канцелярии. Самым сильным средством самозащиты, — но и самым надежным, — было напомнить, что в данном вопросе мнение Феофана одобрял или разделял сам Петр».⁷

Уделить такое внимание «Книжице» имело смысл, чтобы было ясно: идеи, которые он с такой страстью и, прямо скажем, талантом проповедовал и защищал в период «дела» царевича Алексея и сразу после него, оформляя и оправдывая страшные результаты, не были навязаны Феофану царем. Они были органичны для него, поскольку он был, по сути, не столько богословом, сколько политическим дельцом, для которого церковная жизнь была наиболее подходящей сферой для карьеры, а христианская доктрина органично трансформировалась в учение политическое. Привычные для русского православного человека термины и сюжеты приобретали политический смысл.

А христианская мораль — «иго неудобноносимое» — отступала перед политической целесообразностью, воспринимаемой как императив, и поскольку, как мы увидим, в доктрине Петра — Феофана желание монарха и есть воля Божия, то любое деяние можно было оправдать.

Речь шла о власти абсолютной в точном смысле слова. Власти, делегируемой Богом самодержцу для устройства дел человеческих на вверенной ему территории.

Демииург, каким мыслил себя Петр, строитель утопии, и должен был обладать именно такой властью.

В одном из своих историософских сочинений Александр Михайлович Панченко анализировал ситуацию, в которой мы стараемся разобраться: «Культура объявила себя соперницей веры и при Петре, казалось, выиграла это соперничество. Смысл Петровских реформ вовсе не европеизация, как принято думать, смысл ее — секуляризация, обмирщение. Петр упразднил патриаршество, учредил Синод и сам себя назначил главою Церкви, „крайним Судиею Духовной коллегии“. „Устами Петровыми“ в сфере религии (точнее, идеологии) был архиепископ Феофан Прокопович, человек умный и ученый, но авантюрного склада, умевший „находить себе счастье, не справляясь с совестью“ (Филарет Черниговский). Впрочем, у птенцов гнезда Петрова совесть была вообще не в чести. Эта „бессовестность“ — черта не столько индивидуальная, сколько эпохальная. Рушилась старосветская нравственность — поскольку рушилась духовная власть Церкви („папешский се дух“, — восклицал Феофан). Высшая инстанция — государь, который объявляется хранителем и толкователем истины, „власть высочайшая... надсмотритель совершенный, крайний, верховный и вседействительный, то есть имущий силу и повеления, и крайнего суда, и наказания над всеми себе подданными чинами и властями, как мирскими, так и духовными. И понеже и над духовным чином государское надсмотрительство от Бога установлено есть, того ради всяк законный государь в государстве своем есть воистину епископ епископов.“ „Епископ“ в буквальном значении — „надсмотритель“. Феофану Прокоповичу мало этой почти кощунственной игры словами, он называет царя и „Христом“ (в буквальном смысле — „Помазанником“).»⁸

Собственно говоря, Панченко здесь опирается на соображения Флоровского.

«Новизна Петровской реформы не в ее западничестве, но в секуляризации», — писал Флоровский.⁹ Он обратил внимание на то, что Панченко называет «почти кощунственной игрой словами»: «...предостерегает, как бы кто, под видом ревности церковной, не восстал на „Христа Господня“. Ему доставляет явное удовольствие эта соблазнительная игра словами: вместо „Помазанника“ называть Царя „Христом“». ¹⁰

Дело, конечно, не в удовольствии, а в стремлении решить главную задачу — внедрить в народное сознание ассоциацию между всевластием Господа Бога над миром и царя над своим народом.

Флоровский напоминает, что эта тенденция началась не с Феофана.

История сакрализации персоны государя подробно исследована в работе Виктора Марковича Живова и Бориса Андреевича Успенского «Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России».

Исследователи, естественно, расширяют и углубляют проблематику. И практика Феофана Прокоповича оказывается одним из аспектов длительного хронологически и значительно более событийно-многообразного сюжета. «Религиозно-политическая идеология, обусловленная восприятием Москвы как Третьего Рима, может быть определена как теократическая эсхатология: Москва остается последним православным царством, а задачи

русского царя приобретают мессианистический характер. Россия как последний оплот православия противопоставляется всему остальному миру, и это определяет отрицательное отношение к внешним культурным влияниям (в той мере, насколько они осознаются). Чистота православия связывается с границами нового православного царства, которому чужды задачи вселенского распространения; культурный изоляционизм выступает как условие сохранения чистоты веры. Русское царство предстает само по себе как изоморфное всей вселенной и поэтому ни в каком распространении или пропаганде своих идей не нуждается. <...> Эта идеология претерпевает коренное изменение в царствование Алексея Михайловича. <...> Алексей Михайлович стремится в принципе к возрождению Византийской империи с центром в Москве как вселенской монархии, объединяющей в единую державу всех православных. Русский царь должен теперь не только занимать место византийского императора, но и стать им. <...> Русские традиции рассматриваются как провинциальные и недостаточные <...>.

<...> ...со времени Алексея Михайловича момент помазанничества приобретает исключительно большое значение в восприятии монарха в России. И характерно, что, по крайней мере, с начала XVIII в. монарх может называться не только „помазанником“, но и „христом“. <...> В послании восточных патриархов к Алексею Михайловичу (1663 г.) преданность царю выставляется в качестве конфессионального требования именно в силу того обстоятельства, что царь называется именем Христа (т. е. помазанник), и, следовательно, невозможно быть христианином, не будучи верноподданным». ¹¹

Деятельность Феофана, как и вся церковная реформа Петра, представляется моментом окончательного концептуального перелома традиции и началом нового качества процесса.

Не только семантическое, но и конкретно бытовое отождествление царя с Христом возникает в Петровскую эпоху. Исследователи приводят целый ряд соответствующих примеров.

Так, фактический глава Сената, один из первых вельмож государства, князь Яков Федорович Долгорукий, явно замешанный в «деле» Алексея и опасющийся жестокой кары, писал в разгар следствия в феврале 1718 года: «Ныне принужден я недостойным моим воплем отягчить Вашего Величества дрожайшие ушеса: преклони, Господи, ухо твое и услыши глас раба твоего, в день зла моего вопиюща к тебе!»

Петр, разумеется, знал текст, к которому князь Яков Федорович хотел привлечь высочайшее внимание и разжалобить разъяренного владыку. Это молитва Давида «Об избавлении от врагов».

«Услышь, Господи, правду [мою], внемли воплю моему <...>. К Тебе зываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои» (Пс. 16: 1, 6).

Или другой текст из этой молитвы:

«На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня; приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердыню, домом прибежища, чтобы спасти меня» (Пс. 30: 2—3).

Долгорукий не без основания считал, что, обращаясь к царю как к Господу Богу, он имеет больше шансов на снисхождение. И не ошибся.

Помимо исследования «византийских мотивов» в идеологии Московского царства и трансформации этого наследия, авторы приходят к принципиальным выводам, имеющим непосредственное отношение к нашей проблематике. «...Наименование царя „христом“, — пишут они, — не ограничивается чисто этимологическими соображениями, но свидетельствует и о их реальном сближении в сознании того времени».¹²

И утверждение о политическом результате тенденции при Петре: «Апологеты государственной власти настаивают при этом на закономерности подобных атрибутов, и это делает внешние знаки сакрализации царя предметом государственной политики. Таким образом сакрализация царя превращается в государственный культ».¹³

Особенность рассматриваемой нами ситуации в том, что Феофан по желанию Петра перевел «сближение в сознании» в чисто прагматическую плоскость, сделав его орудием решения сиюминутных остроактуальных проблем, главной из которых было объяснение и оправдание расправы с царевичем Алексеем, законным наследником престола.

Эту важнейшую в тот момент задачу Феофан с присущей ему яростной энергией и ораторской одержимостью решал в сочинении воистину вдохновенном, датированном 6 апреля 1718 года.

В это время Алексей и другие лица, арестованные по его «делу», прибыли из Москвы в Петербург для продолжения розыска. Ждали приезда «девки Ефросиньи». Было ясно, что обещанное прощение, данное Петром царевичу, скорее всего, будет аннулировано.

Риторическая и смысловая почва для этого основополагающего сочинения была подготовлена. Еще 28 октября 1716 года Феофан, только успевший осмотреться в Петербурге, произнес проповедь, в которой обозначил главное направление своей будущей деятельности.

Это была годовщина рождения царевича Петра Петровича, и в восторженной проповеди, произнесенной в присутствии многих знатных особ (Петр был за границей), кроме панегирика малолетнему наследнику престола, он предлагает миру и городу свою любимую идею повиновения высшей воле, которая, следовало понимать, сосредоточилась в личности светского властелина.

Со свойственным ему размахом он подтверждает свое утверждение общемировым опытом: «Поиди в Африку, такового чина: Фец, Тунис, Алжир, Трипол, Барка и великая Ефиопия народ Абиссинский и прочая на полудни Государства. Поиди во Асию, такова Туркия, Персида, Индия, Хина с Китаем и Япония, все подобное слышим и об Америке новом имянуемом свете». В качестве примера отрицательного приводится Речь Посполитая, отвергнувшая эту благую форму правления и оттого пострадавшая.

Любопытно, что Никифор Вяземский счел нужным отправить вслед едущему по Европе в сторону Вены Алексею письмо с сообщением о прибытии в столицу Прокоповича.

Нет конкретных сведений о беседах в этот период (после 1716 года) Петра с Феофаном. То, что они работали сообща над тем, что можно назвать идеологической моделью, несомненно.

С некоторыми результатами мы уже знакомы. И дело было не только в необходимости воздействия на общественное, народное сознание в преддверии слома принципов наследования власти и демонстративного отрицания заповеди «Не убий» по отношению к царскому сыну.

Иван IV Грозный убил своего сына. Но это был эксцесс, несчастный случай, результат мгновенной безумной вспышки.

Здесь же речь шла о продуманной акции.

Это требовало подготовки и оправдания.

Это требовало психологической подготовки и оправдания для самого Петра. Нет оснований думать, что это решение далось ему легко и он не принимал общественной, народной, международной реакции.

Ему необходимо было убедить себя в своем праве поступить именно так, и это было главное. «Петр презирал человечество...»

Феофан выполнял обе функции. Он создавал обоснование для мира и индальгенцию для исполнителя.

4

Трактат «Слово о власти и чести царской», датированный 6 апреля 1718 года, имеет развернутый подзаголовок: «Яко от самого Бога в мире учинена есть, и како почитати Царей, и оным повиноватися людие должествуют, кто же суть, и коликий имеют грех противляющися им».

В самом названии уже содержится суть и смысл «Слова» — обличение людей, кои дерзнули отказать в подчинении царю.

В первой половине марта были жестоко пытаны и 17-го числа казнены епископ Ростовский Досифей и несколько близких к нему людей.

Это был круг бывшей царицы Евдокии.

В тот же день колесован был Александр Кикин, которого Петр некогда ласково называл «дедушкой», домашний человек в августейшей семье, и отправлен в ссылку в кандалах прославленный генерал, князь Василий Владимирович Долгорукий, еще недавно успешно соперничавший с Меншиковым, доверенное лицо царя.

Через месяц с небольшим будет вздернут на дыбу и бит кнутом Алексей, и начнется череда его жесточайших истязаний.

В этот промежуток и создается «Слово о власти и чести царской» — злободневный политический текст, пронизанный ощущением опасности и ясно намечавший ту самую кошунственную и необходимую Петру идею, которая возмущала и Флоровского, и Панченко, и многих современников Петра и Феофана.

Для обнародования «Слова» Феофан выбрал праздник Входа Иисуса в Иерусалим, где народ приветствовал его как царя Иудейского, и это можно было считать предвестием воцарения Иисуса в Иерусалиме Небесном. Уже тут началась тонкая словесная игра священными смыслами, и царь земной настойчиво ассоциировался с Царем Небесным.

При этом посрамляются враги Царя Небесного: «Негодуют о сем Архипее и книжницы, но не успевают, рвутся завистию святии фарисее и пресеци торжество тшатся, но не могут».

И Феофан уже прямо провозглашает: «Не видим ли зде, кое почитание Цареви? Не позывает ли нас сие да не умолчим, како долженствуют подданные оценяти верховную власть? и коликое долженствует сему противство в нынешнем у нас открыся времени?»

Феофан понимает, как далеко он намерен зайти и какую это неизбежно вызовет реакцию, и потому отрицает очевидное: «Ниже да помыслит кто, аки бы намерение наше есть, земнаго Царя сравнити небесному: не буди нам тако безумствовати...»

И далее, постоянно возвращаясь к обличению нынешних последователей «древних монархомахов или цареборцев», Феофан последовательно и настойчиво подводит слушателей и читателей к главной идее.

«Рекл бы еси, что от самага Царя послан был Павел на сию проповедь, так прилежно и домогательно увещевает, аки млатом толчет, тожде паки и паки повторяет: несть власть аще не от Бога, власти от Бога учинены, Божии слуга, служитель Божий суть!»

И после длительной подготовки — ссылки и толкования священных текстов, отсылки к историческим примерам — он переходит к главному.

«Приложим же еще учению сему, аки венец, имена или титулы властем высоким приличны: несуетныя же, ибо от самага Бога данныя, которыя лучше украшают царей, нежели порфиры и диадимы, нежели вся велелепная внешняя утварь и слава их, и купно показывают, яко власть толикая от самага Бога есть.

Кия же титулы? Кия имена? Бози и Христы нарицаются. Славное есть слово Псаломское: *аз рех: бози есте и сынове вышняго пси*; ибо ко властем речь оная есть. Тому согласен и Павел Апостол: *суть бози мнози, и господие мнози*. Но и прежде обоих сих Моисей такожде имянует власти: *Богом да не злословиши, и князю людей твоих да не речеши зла*. Но кая вина имени толь высокоаго? Сам Господь сказует у Иоанна Евангелиста своего, яко того ради бози нарицаются, понеже к ним бысть слово Божие. Кое же иное слово? Разве оное наставление от Бога им поданное, еще хранити правосудие, якоже в том же помянутом псалме чтем. За власть убо свою от Бога данную бози, сиесть наместницы Божии на земли наречены суть. И изрядно о сем Феодорит: „понеже есть истинно судия Бог, вручен же суд есть и человеком; того ради бози наречены суть, яко Богу в том подражающи“.

Другое же имя Христос, или помазанный, так частое в писании, что долго бы исчисляти. И комуж потребен толк, чего ради тако нарицаются Царие?»

То есть говоря «Христос», мы можем подразумевать — Петр.

Обличая «древних монархомахов и цареборцев», Феофан решает и проблему политической свободы.

«Но на чем назидали мнение свое древнии оныи лстецы? На свободе христианстей. Слышаще бо, яко свободу преобрете нам Христос, о нейже и сам Господь глаголет, и на многих местех в посланиях Апостольских чтем, помыслили, будто мы и от властей послушания свободны есмы, и от закона Господня. <...> Не ведали или паче не хотели ведати окаяннии, в чесом свобода наша Христианская, свободил есть нас Христос крестом своим от греха, смерти и диавола, сиесть, от вечнаго осуждения, аще во истинном покаянии

веруем в него <...>. А от послушания заповедей Божиих и от покорения властем предержавшим должного не подал нам Христос свободы...»

После обширного экскурса в самые разные эпохи, когда возникали противоречия между властью и народом, Феофан предрекает национальную катастрофу России в случае посягновения на власть государя.

Мы не до конца сознаем накал народного ропота, доходивший до слуха властных верхов. Феофану, равно как и Петру, он был слишком хорошо известен. И он с искренней яростью обрушивается на недовольных, обнаруживая, вряд ли сам того желая, масштаб этого недовольства и грозящей власти опасности.

«Увы окаянства! Увы злоключения времен наших! Да какое негодование равное возимем zde? Киими слезами не плачемся? Киим сердцем довольно возревнуем? Коль противное дело толь твердой истине показали нам нынешняя времена? Державной власти Царю богоданному, не честь умалити, еже и самое к вечному осуждению довольно, но и скипетра и жития позавидете схотелось: но кому похоть сия? Не довели мски и львы, туды и пружи (саранча. — Я. Г.), туды и гадкая гусеница.

До того пришло, что уже самые бездельнии в дело! Да в дело и мерзское и дерзкое! Уже и дрожие народа, души дешевыя, человеки ни к чему иному, точию к поядению чуждых трудов родившиися, и те на Государя своего, и те на Христа Господня!»

Снова Петр — «Христос Господень».

Феофан рисует картину хоть и несостоявшегося, но явно готовившегося страшного мятежа, сопровождаемого оскорблениями чести государя. И когда мы будем рассматривать само «дело» Алексея, следствие и его неограниченную жестокость, надо иметь в виду, что, судя по яростному возмущению Феофана, Петру и близким к нему мерещилась картина, напоминающая ужасы 1682 года, — неистовые толпы, посягающие на честь и жизнь «Христа Господня» — русского царя. «Кая се срамота? Кий студный порок? Страшен сый неприятелем, боятися подданных понуждается! Славен у чужих, безчестен у своих!»

И Феофан пророчествует и предупреждает: «Но не награждается единым студом грех сей, влечет за собою тучу и бурю, и облак страшный бесчисленных бед. Не легко со престола сходят царие, когда не по воле сходят. Тот час шум и трус в Государстве: больших кровавое междоусобие, меньших добросоветных вопль, плачь, бедствие, а злонравных человек, аки зверей лютых от уз разрешенных, вольное всюду нападение, грабительство, убийство. Где и когда нуждею перенеслся скипетр без многой крови, и лишения лутчих людей, и разорения домов великих?»

И рисуя эти апокалиптические картины, Феофан напоминает о Смутном времени как неизбежном следствии.

Этот панический текст подтверждает, что передаваемые иностранными дипломатами слухи о всеобщем недовольстве и грядущих мятежах и в самом деле пронизывали атмосферу государства.

Та тревога, которая стусилась вокруг «дела» Алексея, — бегства, возвращения, розыска, казней — требовала мощного идеологического ответа.

И Феофан призван был этот ответ дать и с грозной убедительностью обосновать безжалостную реакцию царя.

Из приведенного текста ясно, что перед Петром и его «птенцами» вставал призрак гражданской войны, новой Смуты.

Избежать потрясений, по убеждению Петра и Феофана, возможно было, прежде всего убедив общество, народ в абсолютном праве государя решать судьбы страны и каждого человека, не оглядываясь ни на чье мнение, в его неподсудности ничьей воле. Ибо для своих подданных царь был «Христос Господень».

Эту задачу со всей страстью и силой дарования пытался решить Феофан в «Слове о власти и чести царской».

В центре внимания создателей этой концепции ничем не ограниченной власти — монарха и монаха — стояла судьба законного наследника престола, человека царской крови, которого необходимо было уничтожить.

Латентное, а затем открытое противостояние Петра и Алексея при всей разности масштабов их личностей и реальных возможностей оказалось мощным катализатором разнообразных процессов — в том числе и церковной реформы.

5

Это сочинение в очередной раз демонстрирует безграничную эрудицию Феофана, его знание как Священного Писания, истории Церкви, включая борьбу с ересями и противостояние светских и духовных властей, так и вообще античной и средневековой истории. Но сквозь весь этот океан сведений и ассоциаций проходит любимая идея как Феофана, так и Петра: абсолютное верховенство государя и его божественное наместничество.

Он опирается на традицию, восходящую к временам римских царей, республики и империи, когда владыка соединял в себе власть — и светскую и духовную.

«Силна же власть сия была и великими привилегиями;

1. Что не должен был ПОНТИФЕКС ни пред сенатом, ниже пред народом давати ответы о своих делах и никакому наказанию не был подвержен.

2. Что един высочайший был ПОНТИФЕКС, не имея себе равного другаго.

3. Что до смерти был ПОНТИФЕКС, не отлагаемое имея владычество».

Но если в мире языческом и раннехристианском понтифексы, верховные владыки, были все же ограничены традиционными установлениями, что не шло на пользу народу, то постепенно — и Феофан тщательно проследживает этот процесс — эти ограничения исчезали и светские государи приобретали высшую духовную власть.

«...Есть бо нам вопрос, могут ли Государи христианстии в христианстем законе, то есть по елику христианстии Государи суть, нарещися Епископы. И на сие ответствуем, что могут не толко Епископами, но и Епископами Епископов нарещися. И молю читателя прилежно разсудити следующий довод сего.

Государь, власть высочайшая, есть надсмотритель совершенный, крайний, верховный и вседеиствителный, то есть имущий силу и повеления, и крайнего суда, и наказания, над всеми себе подданными чинами и властями, как мирскими, так и духовными. Что от ветхаго и от новаго завета довольно показал я в слове о чести Царской...» И после шквала имен, событий из разных областей исторического и теологического знания Феофан снова приходит к тезису, который он не один уже год повторяет, как заклинание: «Закон бо христианский в писаниях священных паче всех прочих законов человеческих подает силу высочайшим властем, весма их нерушимых, не прикасаемых, и никоему же, кроме Божия, суду не подлежащих показывает. И потому и именами православными и превосходительными украшает их, христами Божиими и богами их нарицая».

И когда через много лет Ломоносов восклицал, прославляя Петра: «Он Бог, он Бог твой был, Россия...», то это воспринималось отнюдь не как поэтическая метафора.

Провозглашение Петра «епископом епископов» и «Христом Божиим» делало радикальную реформу церковной жизни событием естественным и неизбежным. Верховный, крайний судия и надсмотрщик (что на греческом и означало слово «епископ») имел абсолютное право выстраивать эту жизнь по своему усмотрению.

И еще. Ссылаясь не на кого-нибудь, а на Цицерона, на его знаменитую речь против мятежника Катилины, Феофан возвращается к другому краеугольному тезису: «А изряднее власти великие нарицались Священносвятяты, того ради, что не удобовредимые были, и кто дерзнул бы на них, осужден был на смерть...»

Годы шли, а тень замученного Алексея не давала им покоя.

Разумеется, церковная реформа, продуманная и осуществленная Петром и Феофаном, отнюдь не покрывала пространство великого переворота, осуществленного «строителем чудотворным», а являлась его частью.

Но — какой частью? Для успеха титанического замысла Петра необходимо было принципиально изменить представление человека о своем месте в Божьем мире, представление человека верующего — а таких было абсолютное большинство — о его отношениях с Богом как высшим судьей.

Замыслы Петра, осознанные и полусознанные, — создание идеального «регулярного» государства тотального подчинения и порядка по всем правилам классической утопии — требовали фактической замены Бога как высшего авторитета другим авторитетом, «крайним судьей», «Христом Господним», земным воплощением Царя Небесного.

«Слово о власти и чести царской» и «Розыск исторический» были прологом и смысловым фундаментом для двух основополагающих документов, завершивших создание новой императивной доктрины, которая предоставляла Петру неограниченные возможности для любых действий.

Это были «Духовный регламент» и «Правда воли монаршей».

«Духовный регламент» появился в 1721 году, но мы нарушим хронологию и прежде обратимся к «Правде воли монаршей», поскольку главные идеи этого обширного трактата появились задолго до написания «Духовного

регламента». И если «Регламент» имел хотя и чрезвычайно важный, но ограниченный смысл, регламентируя церковную жизнь, то «Правда воли монаршей», хотя и была посвящена по преимуществу одному сюжету — праву государя самому избирать себе наследника и, стало быть, восходила к «делу» Алексея, являлась, по сути, развитием и расширением на все пространство народной жизни идеи «Слова о власти и чести царской» — о безграничности этой власти.

5 февраля 1722 года, через три с лишним года после гибели Алексея, был обнародован указ Петра об изменении порядка престолонаследия. Вряд ли, обнародуя этот роковой для российской государственности документ, Петр имел в виду кого-то определенного. Малолетний Петр Петрович, на которого возлагались такие надежды, умер в 1719 году. Но царь хотел иметь полную свободу рук в деле передачи власти.

Очевидно, мощное и угрожающее эхо расправы над Алексеем и всего слома миропредставлений, с этим связанного, неотступно тревожило Петра и всех участников этих событий.

Указ 5 февраля и обширный комментарий к нему, каковым, собственно, и являлась «Правда воли монаршей», должны были закрепить победу над современными «монархوماхами и цареборцами» и сделать результаты этой победы окончательными.

Как и в других текстах этого комплекса, Феофан, используя свою эрудицию, предпосылает изложению главной идеи подробное обоснование.

Мы помним, какую роль в логических построениях «Слова о власти и чести царской» играли рассуждения о смысле «титла Величества», который там хитроумно сопрягался с обозначениями Бога — «бози или христы».

Свою высокоумную игру Феофан и здесь начинает с рассуждений о значении и смысле наименований верховной власти, «которую прочии европейские народы с латинска нарицают: маестат или маестет. У всех народов, как славянских так и прочих, сие наречие маестет или Величество употребляется за самую крайне превосходную честь, и единым токмо верховным властям подается, и значит не токмо достоинство их превысокое, и которого, по Бозе больше нет в мире, но и власть *законодательную* крайне действительную, крайний *суд* износящую, *повеление* неотрицаемое издающую, а *самую никаковым же законам не подлежащую*: такмо изряднейшии законоучители описуют Величество, между которыми Гугон Гроций именно так глаголет: высочайшая власть (Величество нарицаемая) есть, которой деяния ни чьей же власти не подлежат, так дабы могли уничтоженными, быти изволение другого человека; когдаже глаголю, другого изъемлю самого его, кто такую власть высочайшую имеет: ему бо волю свою переменить мощно».

То есть никакой власти человеческой государь, маестат, Величество, не поддежит.

«Божией бо власти поддежит, и законам от Бога, яко на сердцах человеческих написанным, тако и в десятиловии подданным повиноватися долженствует; законам же от человека, аще и добрым, яко к обще пользе служащим не поддежит, и закону Божию так поддежит, *что за преступление того Божию токмо, а не человеческому суду повинна*».

Утверждая абсолютное всевластие государя, Феофан конкретизирует его власть и применительно к окружающим реалиям.

«Может Монарх Государь законно повелевати народу не только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему ни понравится; только бы народу не вредно и воли Божией не противно было». То есть, не стесненный никакими законами, государь сам определяет, что полезно народу и согласно Божиему замыслу.

А именно: «...и сюда надлежат всякие обряды гражданские и церковные, перемены обычаев, употребление платья, домов, строения, чины и церемонии в пиروваниях, свадьбах, погребениях и прочая, и прочая, и прочая».

Автор авторитетного исследования смысла и источников «Правды воли монаршей» делает ясный вывод: «Словом, монарх имеет право на мелочное вмешательство в частную жизнь подданных, как оно широко применялось в реформационной деятельности Петра Великого; очевидно признание за монархом такого права равносильно полному отрицанию за подданными прав гражданской свободы».¹⁴

По Феофану, власть государя «есть власть весьма неприкосновенная» и «власть безответственная», поскольку «судящий бо другого не повинующийся уже есть, но властительствующий, яко же вопреки повинующийся кому не может судить того, которому повинуется».

Попытка осуждать действия власти есть непризнание верховенства этой власти с ее «крайним судом», то есть бунт, преступление.

Казалось бы, есть некий ограничитель произвола монарха — Божия воля, божественные установления. Но так ли это?

Цитированный уже исследователь, Георгий Гурвич, автор монографии «„Правда воли монаршей“ Феофана Прокоповича и ее западноевропейские источники», пытается ответить на этот вопрос: «Остается неясным, признает ли Прокопович верховную власть *юридически* связанной естественным и Божественным законом, или только морально, выражаясь словами Гоббса „in foro interno“. Феофан, как не юрист, очевидно не делает различия между моральными и юридическими сдержками. Признание верховной власти, юридически ограниченной естественным законом, ведет к утверждению за подданными права на пассивное сопротивление, т. е. на неисполнение велений суверена, противоречащих естественному и Божественному закону. Прокопович совершенно обходит молчанием этот вопрос, что говорит в пользу предположения, что он считал верховную власть юридически абсолютно неограниченной, безграничной».¹⁵

Безусловно, так оно и было. Никакого другого толкования границ своей власти Петр бы не принял.

И если вспомнить, что, согласно доктрине Петра и Прокоповича, государь есть «Христос Господень», не просто наместник Бога на земле, но фактически его земное воплощение, то власть царя представляется безграничной и ничем не ограниченной.

Феофан постоянно ссылается на европейские авторитеты — Гроция и Пуфендорфа. И он действительно прекрасно знал их сочинения. Но использовал их идеи исключительно так, как ему было нужно. Их представления

о естественном праве и общественном договоре были ему принципиально чужды, как его господину и вдохновителю был чужд дух европейской гражданственности при внимательном интересе к государственному устройству, скажем, Швеции и Голландии.

В предисловии к исследованию Георгия Гурвича профессор Юрьевского и Петербургского университетов, видный историк права Федор Васильевич Тарановский писал: «Идейное расхождение в принципах и методе не всегда исключает возможность прямого заимствования частных положений. Такая возможность не исключена для лиц, не проникнутых строгой последовательностью единого философского направления, тем более для лиц, вообще не дисциплинированных в теоретическом отношении и склонных к поверхностному эклектизму. Начетчиком последнего типа как раз и является Феофан Прокопович в „Правде воли монаршей“. <...> Поставив себе определенное задание, Прокопович для его решения брал свое добро всюду, где его находил...»¹⁶

Прекрасная иллюстрация метода Феофана — его отсылка к авторитету «Гугона Гроция» в приведенном нами тексте.

Гурвич, тщательно сопоставлявший сочинения Гроция и «Правду воли монаршей» Прокоповича, формулирует представления Гроция: «Суверенная власть обладает <...> свойством безответственности; этот ее признак Гроций выдвигает в полемике с монархотами в защиту, следовательно, монархического суверенитета». Но при этом Гроций отнюдь не был сторонником бесконтрольного деспотизма. «Верховная власть, не будучи ограничена никакой другой властью, тем не менее, согласно Гроцию, юридически связана Божественными и естественными законами. <...> Поэтому для суверена обязательны заключенные им договоры; таким путем власть его может быть ограничена известными условиями — основными законами, не теряя между тем своего суверенного характера...»¹⁷ В своем труде «О праве войны и мира» классик правовой мысли XVII века Гуго Гроций писал: «Царю мы подчинены как верховному государю, то есть без малейшего изъятия, за исключением того что непосредственно повелевает сам Бог, который, например, одобряет, но не воспрещает перенесение обид».¹⁸ То есть власть государя неограничена, за исключением тех случаев, когда нужно выполнить непосредственные повеления Бога. Но Бог одобряет терпеливость по отношению к наносимым властью обидам.

Но вскоре Гроций пишет: «Барклай¹⁹, решительный сторонник царской власти, однако же снисходит до того, что предоставляет народу и его знатнейшей части право самозащиты против бесчеловечной жестокости, хотя и признает, что весь народ подчинен царю <...>. Я отлично понимаю, что чем выше охраняемое благо, тем выше должна быть справедливость, допускающая изъятие из буквального смысла закона; тем не менее я едва ли возьму на себя смелость осудить огульно как отдельных *граждан, так и меньшинство народа*, прибегавших когда-либо к самозащите в состоянии крайней необходимости, не упуская из виду уважения к общему благу».²⁰ Эта глава у Гроция и называется «О сопротивлении власти».

По Феофану же, «должен народ терпели коего либо монарх своего нестроения и злонравия». Ни малейшего права на сопротивление «нестроению и злонравию» государя у народа не остается.

Все, что говорилось, — подготовка к решению главной задачи трактата: обоснование права монарха назначать себе наследника по своему разумению, то есть произволу, не сообразуясь с существующими законами. Но при этом Феофан старается обосновать беззаконие экскурсами в глубокое прошлое, в историю семейных обычаев и прав. Он привлекает тексты Священного Писания и Кодекс Юстиниана. Он опять-таки обращается к авторитету Гроция: «Гугон Гроций, славный законоучитель, в премудром рассуждении о праве войны и мира в книге второй под числом 5 и 7 с древних авторов показывает», что в древности родители обладали абсолютной властью над свободой и жизнью своих детей. Конечно, Феофан сознает, что в нынешние просвещенные времена это одобрить невозможно, но тем не менее этот опыт «рассуждение нам подает о великой власти родительской над детьми своими». А уж если частные люди обладают правом изгонять своих «злонравных и непослушных» детей из дома и лишать наследства, то как можно ставить под сомнение подобное право у самодержцев? Обладающий абсолютной и бесконтрольной властью самодержец, в отличие от родителей-подданных, волен распоряжаться не только статусом, но и жизнью своих детей. «Сугубая власть сия у родителя Самодержца, без всякого прекословия». И какой бы грех ни совершал самодержец, он всегда прав, поскольку сам может определять, что есть грех, а что добро. И распорядиться жизнью своего сына и как отец и как государь он имеет право «того ради, что не имеет вышнего суда, которому бы предъявить винного сына».

Он сам — «вышний», «крайний суд».

«И Монаршей в том воле должны суть повиноваться подданные не токмо без явного прекословия, но и без тайного роптания, еще же и без суждения в помыслах».

Подданный не может даже помыслить о неодобрении высшей власти.

Поскольку «Правда воли монаршей» сочинялась уже после убийства Алексея, то, естественно, одним из главных аспектов общей задачи было оправдание сыноубийства.

Феофан ссылается на Священное Писание, по которому за непокорность и оскорбление родителей полагается смертная казнь, и на опыт всех народов — покушение на жизнь родителей считается тягчайшим преступлением. А, как мы увидим, Алексея обвиняли в желании смерти Петру, и он этого не отрицал.

Не называя имени Алексея, Феофан ясно намекает на конкретную ситуацию: родитель-самодержец должен стараться, чтобы сын был ему подобен, «в мудрости, в добронравии, и во всех добродетелях, а не в самой верховной власти и чести, иначе подобало бы сыну от рождения своего или поне от совершенного смысла и возраста действительно соцарствовать отцу своему Государю, не дожидаясь смерти его, что нигде не деется». А государю вовсе не обязательно приближать сына, если тот «негоден и непотребен».

Феофан буквально цитирует «Объявление» октября 1715 года. «Правдой воли монаршей» он по безусловному поручению Петра подвел черту

под «делом» Алексея идеологически. Но ни одной из фундаментальных проблем — ни проблемы передачи власти, ни проблемы взаимодействия с народом и ближним окружением, ни проблемы сохранения выбранного темпа и курса реформ после ухода государя — это безусловно талантливое и по-своему убедительное сочинение не решило.

«Весь узел русской жизни сидит тут», — сказал Лев Николаевич Толстой, вникнув в события Петровской эпохи. И был абсолютно прав.

Не только принципы государственного устройства, принципы взаимоотношений власти и общества, принцип формирования государственного бюджета, но и генеральные идеи, родившиеся в напряженно тревожной атмосфере вокруг «дела» Алексея, которые легли в основу дальнейшего строительства вавилонской башни, возводимой гениальным демиургом, отнюдь не исчерпали себя в этом непосильном для страны труде.

Идеи «Правды воли монаршей» и «Слова о власти и чести царской» пережили не только петровское царствование, но причудливо проросли, например, в общественной мысли либерального царствования Александра I.

Михаил Леонтьевич Магницкий, верный сотрудник либерального реформатора Сперанского, трансформировавшийся в неудержимого обскуранта и обличителя заговоров против России, направляемых из Европы, через сто лет после написания «Правды воли монаршей» — в 1823 году — в «Кратком опыте о народном воспитании» так сформулировал желаемый результат воспитания подданного российской короны: «Верный сын церкви православной, единой, истинной невесты Христовой, знает, что всякая власть от Бога, и посему почитает он всех владык земных, Нерона и Калигулу, но истинным помазанником Христом Божиим не может признать никого, кроме помазанника на царство церковью православною».

То, что Нерон и Калигула были полубезумными убийцами и садистами, Магницкого не смущает. Он доводит до конца идею Петра и Феофана о безграничной и безответственной власти монарха. Равно как и повторяет его игру священными терминами: царь-помазанник есть Христос Божий...

6

Одним из последствий «дела» Алексея было «окончательное решение» судьбы Русской церкви.

Уже цитированный нами Виктор Маркович Живов, подводя итог своему исследованию «Церковные преобразования в царствование Петра Великого», предлагает следующую периодизацию: «Таким образом, история церкви и церковной политики в царствование Петра распадается на три периода. В первый период, с начала самостоятельного правления Петра и смерти патриарха Иоакима и до возвращения Петра из Великого посольства и смерти патриарха Адриана, формируются основные идеологические константы отношения Петра к православной церкви и патриаршему церковному управлению. Во второй период, простирающийся до дела царевича Алексея и утверждения Прокоповича в качестве основного агента Петра в церковно-государственной политике, политика в этой области ориентирована

на настоящее, носит деструктивный характер и, не основываясь на какой-либо определенной концепции церковно-государственного устройства, преследует цель дискредитации церковного авторитета, разрушения системы церковного управления, бесконтрольного распоряжения церковным имуществом и устрашения духовенства и лишения его возможностей сопротивления. Последний период начинается после дела царевича Алексея и продолжается вплоть до смерти императора; политика в этот период ориентирована на будущее...»²¹

По мнению исследователя, «дело» царевича Алексея оказывается концептуальной вехой, после которой и начинается системная реформа Церкви.

Дело не только и не столько в хронологии. Политический и духовно-психологический кризис, который резко обозначен, был конфликтом отца и сына, требовал сильных и новых средств для его разрешения.

«Дело» Алексея началось не с его побега, возвращения и следствия. Его началом можно считать неясные нам события 1715 года, о механизме которых можно только догадываться.

Очевидно, что Петр и целиком зависящие от него деятели, такие как Меншиков, испытывали острое беспокойство, догадываясь, какие силы стоят за Алексеем: народная любовь, симпатии многих активных деятелей реформ, преимущественно из влиятельной родовой аристократии. Но не только из нее.

В период после 1714 года — после обнаружения циничной коррупции в ближнем круге царя, после возвращения в Европу Карла XII и осложнения международной ситуации — Петр, в чьем сознании парадоксально сочетался трезвый прагматизм с неискоренимыми элементами утопического мышления, искал то объяснение кризиса, которое отвечало картине мира, соответствующей утопической стороне его сознания.

Юрий Федорович Самарин, мыслитель-славянофил, богослов и политический реформатор, в своей ранней работе «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», в частности, писал: «Вслед за поставлением Феофана началось дело царевича Алексея, и мало-помалу стал открываться этот огромный заговор против Петра и дел Петровых, в котором главную роль играло монашество, избравшее несчастного и слабого царевича своим покорным орудием».²²

Изучив опубликованные Устряловым материалы следствия, Самарин выписал оттуда только то, что касалось связей Алексея с церковными иерархами, и совершенно игнорировал куда более значимые обстоятельства — отношения царевича с высокими государственными и военными деятелями.

Он, как и многие другие, находился под гипнотическим влиянием ложной реальности, выстроенной Петром и Феофаном.

В записках близкого к Петру в последние годы его жизни механика Нартова есть такое свидетельство: «О царевиче Алексее Петровиче, когда он был привезен обратно из чужих краев, государь Толстому говорил так: „Когда б не монахиня, и не монах и не Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло. <...> Ой, бородачи! Многому злу корень — старцы и попы; отец мой имел дело с одним бородачом, а я — с тысячами. Бог — сердцевидец и судия вероломцам!“».

Монахиня — царица Евдокия, монах — епископ Досифей, „бородач“, с которым имел дело царь Алексей Михайлович, — патриарх Никон.

Петр видел ситуацию такой, какой хотел ее видеть.

Наверняка тень Никона, претендующего на верховенство над властью царской, постоянно возникала в эти годы перед Петром.

И церковная реформа, мощный импульс получившая в «деле» Алексея и принципы которой разрабатывались параллельно с развитием «дела», призвана была не сокрушить сопротивление духовенства — оно уже было сломлено, а превратить Церковь в орудие реализации грандиозных замыслов демиурга.

В нашу задачу не входит подробное описание самой церковной реформы, превратившей Русскую церковь в один из департаментов государственного механизма и существенно изменившей ее миссию. Нам важна суть произошедшего, а главное — его последствия.

С 1715 года, одновременно с развитием активной фазы конфликта между отцом и сыном, началась разработка принципов коллегиального управления. В частности, оформился замысел Духовной коллегии, которая должна была стать «коллективным патриархом», существующим по общим бюрократическим законам.

В первой части «Духовного регламента», в котором прописаны были все стороны церковной жизни, Феофан отвечает на вопрос: «Что есть духовное Коллегиум, и каковыя суть важныя вины такового правления».

И ясно формулирует: «Коллегиум правительское не что иное есть, токмо правительское собрание». То есть Духовная коллегия являет собой один из органов государственного управления — «правительское собрание».

Для того чтобы понять будущий характер деятельности этого органа, достаточно познакомиться с текстом присяги, которую приносили члены Духовной коллегии. «Аз, нижеименованный, обещаюся и клянуся всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, что должен есмь, и по долженству хошу, и всячески тщатися буду в советах и судах и всех делах сего Духовнаго Правительствующаго Собраниа искать всегда самая сущия истины и самая сущия правды, и действовать вся по написанным в Духовном Регламенте уставам...»

Затем следует небольшой текст относительно «спасения душ человеческих и всей Церкви созидание», а далее начинается перечисление того, чем должны прежде всего озаботиться святые отцы: «...в всяком деле сего Правительствующаго Собраниа, яко в деле Божию, ходити буду безленостно, со всяким прилежанием, по крайней моей силе, пренебрегая всякия угодия и упокоения моя. И не буду притворять мне невежества; но аще в чем и недоумение мое будет, всячески потщуся искать уразумения и ведения от священных писаний, и правил соборных, и согласия древних великих учителей».

То есть высшие церковные иерархи, входившие в состав Духовной коллегии, обязуются без лени посещать заседания, трудиться добросовестно и заниматься самообразованием.

Но основная часть присяги посвящена другому.

«Клянуся паки Всемогущим Богом, что хошу, и должен есмь моему природному и истинному Царю и Государю, Всепресветлейшему и Державнейшему Петру Первому, всероссийскому самодержцу, и прочая, и по нем

Его Царскаго Величества Высоким законным Наследникам, которые, по изволению и Самодержавной Его Царскаго Величества власти, определены, и впредь определяемы, и к восприятию Престола удостоены будут. И Ея Величества Государыне Царице Екатерине Алексеевне верным, добрым и послушным рабом и подданным быть, и все к высокому Его Царскаго Величества самодержавству, силе и власти принадлежащая права, и прерогативы (или преимущества), узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и в том живота своего в потребном случае не щадить, и при том по крайней мере стараться споспешествовать все, что к Его Царскаго Величества верной службе и пользе во всяких случаях касаться может. О ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведая, нетокмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать тщатися буду. Когда же к службе и пользе Его Величества, или церковной, какое тайное дело, или какое бы оное ни было, которое приказано мне будет тайно содержать, и то содержать в совершенной тайне, и никому не объявлять, кому о том ведати не надлежит, и не будет повелено объявлять».

Это сильно напоминает клятву даже не чиновника, но агента секретной службы.

Таковой в значительно части Церковь теперь мыслилась Петру и Феофану.

Оттого что учрежденная 25 февраля 1721 года Духовная коллегия была через три недели переименована в Святейший Правительствующий Синод, суть дела не изменилась.

Православный публицист, богослов и философ Никита Петрович Гиляров-Платонов писал в 1862 году в статье «О первоначальном народном обучении»: «Когда Петр I издал указ, запрещающий монаху держать у себя в келии перо и чернила; когда тот же государь указом повелел, чтобы духовный отец открывал уголовному следователю грехи, сказанные на исповеди: духовенство должно было почувствовать, что отселе государственная власть становится между ним и народом, что она берет на себя исключительное руководство народной *мыслию* и старается разрушить ту связь духовных отношений, то взаимное доверие, которое было между паствою и пастырями».²³

Думается, что Никита Петрович несколько идеализирует отношения «между паствою и пастырями» в допетровские времена. Они далеко не всегда были благополучны. Но в одном он совершенно прав: петровский аппарат брал на себя — по воле своего создателя — функцию полного контроля над действиями и мыслями всех граждан вне зависимости от социального статуса. Отдавать Церкви хотя бы толику влияния Петр не собирался. Недаром текст присяги членов Духовной коллегии был составлен так, что иерархи присягали лично государю и служением ему фактически исчерпывались их обязанности.

Гиляров-Платонов имеет в виду одно из положений приложения к «Духовному регламенту»: «Монахам никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток советных, без собственного ведения настоятеля, под жестоким на теле наказанием никому не писать и грамоток, кроме позволения настоятеля не принимать, и по духовным, и гражданским регулам

чернил и бумаги не держать, кроме тех, которым собственно от настоятеля для общедуховной пользы позволяется. И того над монахами прилежно надзирать, понеже ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетная их и тщетная письма».

Вообще Петр с большой подозрительностью относился к созданию письменных текстов теми, кто не был специально уполномочен для этого властью.

Один из таких примеров потряс Пушкина, который в конспекте своей «Истории Петра I» записал: «18-го августа Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать запершись. Недоносителю объявлена равная казнь. Голиков полагает причиною тому подметные письма».

Это был август 1718 года. 7 июля этого года был убит Алексей.

Понятно, что Петр не читал пушкинского «Бориса Годунова» и не знал сцены в келье Чудова монастыря, где летописец Пимен, свободный духом, обличитель преступных властителей, бесконтрольно пользуется пером, бумагой и чернилами.

Вполне вероятно, что Пушкин, обнаружив этот «тиранский указ», вспоминал Пимена. Именно в Михайловском, в то время, когда создавался «Борис Годунов», Пушкин читал тома Голикова, летопись жизни Петра, откуда он этот указ и выписал.

Скорее всего, Голиков прав. «Подметные письма» — антивластная агитация — беспокоили Петра. Не имея возможности тотально контролировать грамотную часть населения, он рассчитывал, что при «высокой культуре доноительства» факт писания непонятно чего при законодательно распахнутых дверях может быть выявлен слугами, соседями, домашними.

Церковная реформа органично вписывалась в общий замысел Петра — создание «регулярного» государства, в котором по законам классической утопии (см. главу «Утопия как политический проект» в: Звезда. 2020. № 8) каждый занимает свое определенное место в идеальной системе и подлежит полному контролю.

Флоровский писал о смысле церковной реформы: «Изменяется самочувствие и самоопределение власти. Государственная власть самоутверждается в своем самодовлении, утверждает свою суверенную самодостаточность. И во имя этого своего первенства и суверенитета не только требует от Церкви повиновения и подчинения, но и стремится как-то вобрать и включить Церковь внутрь себя, ввести и включить ее в состав и в связь государственного строя и порядка. <...> У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел, — ибо государство все дела считает своими. И всего менее у Церкви остается власть, ибо государство чувствует и считает себя абсолютным. Именно в этом вбирании всего в себя государственной властью и состоит замысел того „полицейского государства“, которое заводит и учреждает в России Петр... „Полицейское государство“ есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. „Полицейзм“ есть *замысел* построить и „регулярно сочинить“ всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и „общей пользы“ или „общего блага“».²⁴

Главное в этом глубоком тексте — центральная по смыслу фраза: «Не только политическая теория, но и религиозная установка».

Включением церкви в государственный аппарат не исчерпывался смысл церковной реформы как одного из ключевых аспектов «революции Петра» в ее фундаментальном смысле. Это была еще и агрессивная попытка создания новой религии, религии регулярности, жесткой упорядоченности мира, правда, с необходимыми в этом случае атрибутами христианской доктрины, опорой на Священное Писание и комплекс теологических текстов.

К сожалению, при всей изученности отношений Петра и Лейбница, мы не знаем содержания их личных бесед. Не знаем, излагал ли философ царю свои представления о мироустройстве — о идее Бога как «великого часовщика».

Маловероятно, что энергичные и талантливые усилия Феофана по обожествлению царя происходили без его согласия. И это вполне естественно. Петр чувствовал себя не просто абсолютным монархом, приводящим в порядок свое государство, но строителем совершенно нового мира, мира великой целесообразности.

Сам Петр упорно выдвигал в качестве своего неприятия, например, монашества экономические и нравственные основания: «тунеядство» монахов, бегство тяглецов в монастыри и, соответственно, сокращение налогоплательщиков, равнодушие монахов к страданиям обездоленных.

«Наличные монастыри он полагал обратить в рабочие дома, в дома призрения для подкидышей или для военных инвалидов, монахов превратить в лазаретную прислугу, а монахинь в прядильщицы и кружевницы, выписав для того мастериц из Брабанта...»²⁵

Флоровский прав. Все это имеется в проектах будущих указов.

Прагматический смысл в подобных проектах Петра, безусловно, был. Так, Сенат по его настоянию в июле 1721 года при введении подушной подати указал «детей протопоповских, и поповских, и диаконских, и прочих церковных служителей положить в сбор с протчими душами».

После настойчивых просьб Синода, предрекавших обезлюдение церкви, указ был смягчен, но масса недавних церковников оказалась в тяглецах, то есть в крепостном состоянии.

Монастыри в представлении Петра были не только прибежищем «тунеядцев», но и возможными очагами смуты, поскольку являли собой некое пространство малой зависимости от высшей власти.

Евгений Викторович Анисимов пришел к определенному и точному выводу: «Может быть, <...> причина такой концентрированной ненависти Петра к монашеству состояла не столько в осужденном им образе жизни сибаритствующих монахов, сколько в неприятии царем самой идеи монашества, в отрицании идеала, к которому стремились пустынноики и благодаря которому они независимы от той власти, которую олицетворял собой могущественный, но земной владыка Петр. Нетерпимый ко всякому инакомыслию, даже пассивному сопротивлению, царь не мог допустить, что в его государстве где-то могут жить люди, проповедующие иные ценности, иной образ жизни, чем тот, который проповедовал сам Петр и который он считал лучшим для России».²⁶

Свои убедительные соображения относительно смысла церковной реформы высказал Александр Сергеевич Лавров, автор труда «Колдовство и религия в России. 1700—1740 гг.».

«Целям дисциплины служила и милитаризация всей жизни общества. Ценность армии в процессе дисциплинирования состояла в том, что она впервые учила представителей основной массы населения действовать предписанным способом, представляя собой тем самым как бы прообраз идеального абсолютистского государства. <...> Однако в процессе „социального дисциплинирования“ в петровской России были и свои важные отличия. Главное из них состояло в том, что, если Людовик XIV или „великий курфюрст“ реально управляли большинством своих подданных, то Петр, если воспользоваться образом из советской историографии, был скорее царем своих помещиков. Для значительной части его номинальных „подданных“ власть кончалась на вотчинной администрации или на монастырском приказчике. Для того, чтобы „дисциплинировать“ подобных подданных, следовало или достроить государство донизу, или искать более гибкие стратегии.

Решению Петра нельзя было отказать в определенном изяществе. Поскольку Церковь „доставала“ до гораздо большего числа подданных, нежели само государство, исключительная роль выпала ей. С этой точки зрения, не менее важно было, чтобы подданные регулярно исповедовались, чем то, чтобы они регулярно платили свою подушную подать (показательно, что последняя была введена после обязательной ежегодной исповеди) — за тем и другим стояла одна и та же сверхзадача, научить их делать хотя бы что-то „регулярно“ (исходя из указа о непременной ежегодной исповеди для всех граждан России, Лавров ставит под сомнение секуляризацию как главный принцип церковной реформы. — Я. Г.).

Таким образом, вместо того, чтобы создать узкий круг „просвещенного“ чиновничества, который должен был шаг за шагом отвоевывать у Церкви ее юрисдикцию, Петр решил как бы превратить церковь из сдерживающего фактора в орудие своей политики. С церковного амвона должны были проповедоваться идеи „общего блага“ — для этого вместо святоотеческих творений в церквях начали читать сочинения Феофана Прокоповича». ²⁷

Концепция секуляризации как основного содержания церковной реформы у Лаврова вызывает сомнение. «Секуляризация в широком смысле слова также очень проблематична. Впервые законодательно потребовав от своих подданных ежегодной исповеди и причащения, Петр тем самым заявил о своем идеале, довольно далеком от секулярного». Но исследователь вместе с тем сам указал нам смысл этой акции, имевшей цель довольно далекую от собственно религиозной. Не говоря уже о том, что исповедь теперь служила источником информации для политической полиции, то бишь Тайной канцелярии, а указ был выпущен в разгар следствия по „делу“ Алексея».

И дальше он предлагает принципиально важное соображение: «Старые институциональные и ментальные структуры разрушались, новые оставались недостроенными или были неубедительны, в результате оставался определенный вакуум. Если это можно назвать секуляризацией, то я ничего не имею против, но таким образом нельзя удовлетворительно охарактеризовать отношение целей реформы к ее результатам». ²⁸

Одной из опасных особенностей петровской модели, его вавилонской башни, была именно ее принципиальная «недостроенность», незавершенность, без которой никакой «регулярности» не получалось. Если любая утопия способна хотя бы временно осуществлять свои благотворительные функции, то лишь в случае полной завершенности, прилаженности всех необходимых элементов. Если говорить о создании Петра, то из элементов классической утопии он сумел создать в полном виде только один: то, что можно назвать силовой составляющей, гвардия и армия, которые при всех недостатках армии являли собой мощный механизм контроля и подавления.

Все остальное осталось недостроенным. И не потому, что у Петра не хватало энергии и таланта, а потому, что задача была невыполнима в принципе.

Наблюдение Лаврова относительно «определенного вакуума» и недостроенных структур, которые должны были заменить разрушенные, абсолютно точны.

Недостроенная утопия оказывается большим организмом, незавершенность ее за себя мстит...

Мощный идеологический комплекс, который лег в основу отнюдь не только церковной реформы, но претендовал на то, чтобы быть объяснением и оправданием всей «революции Петра» — «Слово о власти и чести царской», «Розыск исторический» о понтифике, «Правда воли монаршей» наряду с Воинским артикулом 1716 года, — сгруппированный вокруг «дела» и убийства царевича Алексея Петровича, обозначил перелом истории, новый характер власти, у которой не было никаких законных ограничений.

Как справедливо пишет Лавров, сломанными оказались не только институциональные структуры (некоторые из них уцелели), но прежде всего структуры ментальные, а возникший вакуум касался нравственных структур, которые, разумеется, определялись не только влиянием Церкви как института, но в большей степени существовавшего вне Церкви авторитета христианской доктрины.

Настойчивые попытки, подкрепленные грозным присутствием Преображенского приказа, заменить староотеческие предания текстами Феофана Прокоповича, а Иисуса Христа, страдальца за род человеческий, победительным «Христом Господним» в лице царя с его бесконтрольной властью и правом на безжалостность не могли этот вакуум заполнить.

Но общественное сознание не терпит пустоты. Образовавшийся вакуум в сознании простонародья, наблюдавшего крушение вчерашних авторитетов и бессилие вчера еще влиятельной церковной иерархии, генерирующей жизненные смыслы, заполнялся горьким ощущением свершавшейся несправедливости и верой в пришествие Антихриста, тем более что тотальное закрепощение и грабительские налоги это ощущение усугубляли.

Что же до значительной части служилого люда, новой аристократии да и «элиты», этот вакуум Петр пытался заполнить достаточно абстрактной идеей «общего блага», «государственной пользы», «государственного интереса» как высших ценностей. Но в этих ценностях не было человеческого тепла. Они существовали отдельно от конкретного живого человека. Тут можно вспомнить горькую констатацию Александра Михайловича Панченко: «...у птенцов гнезда Петрова совесть была вообще не в чести. Эта „бессовестность“ — черта

не столько индивидуальная, сколько эпохальная. Рушилась старосветская нравственность...»

Представления о «старосветской нравственности» сохранялись у части «коренной знати», которая находилась в латентной оппозиции к радикальности реформ, а не к самим реформам и которую наиболее выразительно представлял князь Дмитрий Михайлович Голицын, находившийся в приязненных отношениях и переписке с царевичем Алексеем, а в 1730 году возглавивший аристократов-конституционалистов.

Нет надобности идеализировать Православную церковь перед реформой — с ее корыстолюбием, рабовладением, уступками деспотизму. Но каковы бы ни были пороки самой церковной организации, народное представление о Церкви как о хранительнице высших по сравнению с мирскими государственными ценностей, как о возможной заступнице, как о власти не от мира сего, дающей надежду на высшую справедливость, — эти представления сами по себе были чрезвычайно важны для народного мироощущения. Лишая народ этих иллюзий, Петр наносил тяжкий урон народному духу, ориентированному в конечном счете на идею неистребимой справедливости и свободы как естественного человеческого состояния.

Отныне стараниями Феофана Божий суд официально лишался своих полномочий. «Крайним судом» становилась неограниченная воля царя, «Христа Господня».

После фактической, а затем законодательной отмены тайны исповеди православный христианин оставался беззащитен и оказывался лицом к лицу с государством и его авангардом — Преображенским приказом.

Но дело было не только в устрашении. Бытие предельно упрощалась и примитивизировалось до грубого государственного быта.

В этой новой системе ценностей истязания и убийство законного наследника престола, государева сына становились естественными и объяснимыми.

ЦАРСТВА, КОТОРЫЕ К НАШИМ УСЛУГАМ: АЗИАТСКАЯ УТОПИЯ

Европа — кротовая нора; все великие империи и великие перевороты были возможны лишь на Востоке.

Наполеон

В Европе нам не дадут ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам.

Ермолов

1

Печатный экземпляр «Правды воли монаршей» Петр получил в сентябре 1722 года на берегу Каспийского моря.

Феофан писал ему: «По указу В<ашего> В<еличества>, который сказан нам от преосвященного новгородского и Петра Андреевича Толстого,

книжица, мною сочиненная, „О правде воли монаршей в определении своих по себе наследников“, с печати вышла, и через сию почту посылаются В<ашему> В<еличеству> 10 экземпляров. Всенижайше прошу, да благоизволит В<еличество> В<аше> известить нам волю свою: опубликовать ли оную книжицу или удержать до дальней апробации. <...> Из Москвы, августа 24 д. 1722».

Петр выразил свою волю, и тираж книжицы появился до конца 1722 года.

Пребывание Петра в сентябре 1722 года на раскаленном берегу Каспия было завершением крайне показательного процесса, который продолжался не менее восьми лет, а замысел, лежавший в его основе, возник еще в 1695 году — одновременно с первым Азовским походом.

Ключевым понятием этого важного для нас сюжета было понятие «Индия», сказочное царство, средоточие немыслимых богатств.

Подробный обзор попыток московских властей допетровского периода наладить торговые связи с Индией, отыскать оптимальные пути туда и получить ясное представление об индийской реальности дан в монографии Игоря Владимировича Курукина «Персидский поход Петра Великого».

«Уже в XVII веке московских дипломатов привлекала далекая и богатая Индия, куда издавна стремились европейские мореплаватели и авантюристы. Тем более что с индийскими купцами в России были знакомы: в 1625 году в Астрахани был построен индийский гостиный двор и появилась небольшая индийская колония, а в 1645-м один из индийских купцов впервые прибыл в Москву. <...>

Посланникам в Иран и Среднюю Азию (посадскому человеку Анисиму Грибову и купцу Никите Сыроежкину в 1646 году, дворянину Богдану Пазухину в 1669-м) поручили разведать пути в Индию и выяснить, какие там нужны товары и „сколь сильна Индейская земля ратными людьми и казной“.²⁹

Как мы увидим, Петр вполне предметно интересовался Индией еще в первый период своего царствования, когда его вооруженное внимание было обращено на юг — в сторону Турции.

Зная особенности мышления Петра, своеобразие его восприятия реальности, можно с уверенностью предположить, что интерес к Индии носил не только сугубо прагматический характер. Разумеется, торгово-экономический аспект играл значительную роль, но, помимо этого, Индия была пространством вдохновенных мечтаний — иным миром, категорически отличным от того, что окружало Петра и отнюдь его не устраивало.

Индия не была понятием географическим.

«Еще в средневековой Европе слухи о богатстве Индии порождали не только экспедиции, которые снаряжались государственными деятелями или купцами, но и социально-утопические легенды типа легенды о пресвитере Иоанне, обошедшей весь европейский горизонт. Индия была источником слухов и надежд, предметом поисков, ложных писем и даже самозванцев — выходцев из царства пресвитера».³⁰

Михаил Несторович Сперанский, крупный специалист по древнерусской культуре, писал о судьбе «индийской легенды» на Руси: «Сведения об Индии, по крайней мере, название ее (Индия, Инды, Индийская, или Индейская,

страна, земля, царство) в старинной русской письменности мы встречаем уже с первых веков ее существования. <...> В этом отношении старая русская книжность в значительной степени разделяет общую судьбу остального европейского средневековья: там эти представления тоже большей определенностью и ясностью не отличаются, а самое представление до известной степени будет то же, что и на русском европейском востоке: и здесь и там Индия рисуется страной отдаленной, мало или совсем не похожей на европейские, страной полной чудес, необыкновенного богатства и изобилия».³¹

Фантастические сведения об Индии были знакомы средневековому и более позднему русскому читателю по целому ряду сочинений. Это «Хроника Георгия Амартола», сочинение XI века, в XIV веке переведенное на церковнославянский и имевшее широкое хождение на Руси; это «Деяния Фомы в Индии», повествующие о подвигах апостола Фомы в тех краях; это пришедшее на Русь, скорее всего, в XIII веке «Сказание об Индийском царстве».

С того же XIII века русскому читателю была известна в переводе «Христианская топография» Козьмы Индикоплова, в которой повествовалось и о природе Индии, и об экзотических животных, ее населяющих, и об изобилии там драгоценных камней.

Петр мог знать что-то из этих сочинений или «Александрию», повествующую о походе Александра Македонского в Индию и ходившую по Руси одновременно со «Сказанием».

По его приказу была переведена история Александра Македонского, сочиненная Валерием Максимом. Недаром он сравнил себя с великим Македонцем во время Персидского похода.

Первый в нашей истории «кремлевский мечтатель» и первый же великий утопист, он не мог остаться равнодушным к «индийскому соблазну».

Для нас комплекс событий, который, пользуясь современной терминологией, можно назвать «каспийским проектом», важен по нескольким своим аспектам.

Хронологически его активная фаза покрывает период, когда развивалась трагедия царевича Алексея и происходил исторический перелом, этой трагедией обозначенный.

Стиль реализации проекта идеально иллюстрирует методы, которыми реализовалась петровская утопия: размах замысла, решительность в исполнении, игнорирование реальных возможностей, использование человеческого материала как материала расходного.

В центре сюжета, разыгранного по воле Петра, оказались три персонажа: офицер лейб-гвардии Преображенского полка, кабардинский аристократ, с малолетства воспитывавшийся в России, урожденный Девлет-Гирей-мурза, князь Александр Бекович-Черкасский, трухменец (туркмен) Ходжа Нефес и морского флота поручик Кожин.

Начало, развитие и трагический конец всего комплекса событий можно проследить по материалам Военно-ученого архива Главного штаба, где помимо иных драгоценных документов хранятся разнообразные данные военной разведки, с петровских времен начиная, и сведения о замыслах и способах расширения пространства империи.

Хотя движущей силой событий была воля Петра, вдохновленного давней мечтой, но в данном случае инициатива исходила не от него.

1714-й, как мы хорошо знаем, был тяжелым годом для России. Скорее всего, отягощенный заботами внутренними (открывшаяся ему бездна коррупции среди ближнего круга и тревожные слухи о возможных заговорах и мятежах), а также внешними заботами (возвращение в Европу Карла XII и усложнявшиеся отношения с европейскими государствами), Петр не вспомнил бы о своей давней мечте, если бы ему не напомнили.

В это время, несмотря на безусловные успехи в военных действиях, перспектива которых стала более неопределенной после возвращения Карла XII, отношения с европейскими союзниками приобретали всё более кризисный характер. Европейских владетелей пугала решительность Петра, с которой он вмешивался в судьбы германских княжеств и городов. Опасным фактором раздора стала судьба герцогства Мекленбургского, которое Англия, и не только она, хотела видеть нейтральным. Между тем Петр взял герцога Мекленбургского под свое покровительство, оказал ему сильную военную поддержку в его противостоянии с недовольными им подданными и одобрил его женитьбу на племяннице своей Екатерине Ивановне. В случае реализации намерений царя Мекленбург фактически превращался в русский протекторат.

Антоний Васильевич Флоровский, пристально изучавший европейскую политику Петра в этот период, уделявший особое внимание мекленбургской проблеме, точно определил суть конфликта: «Царь брал на себя значительную долю ответственности за эту внутреннюю борьбу в Мекленбурге и в силу этого одного оказывался во враждебных отношениях с Ганновером, Данией, с самим императорским двором, всячески домогавшимся ухода русских из Мекленбурга. Нужно вспомнить, что царь был с разных сторон предупрежден, что слишком тесное сближение с герцогом Мекленбургским в той конкретной обстановке, которая господствовала в его стране, приведет царя к конфликту и с Империей, и с иными дворами. <...> Это не остановило Петра Великого, и он пошел навстречу герцогу. Только ради породнения с ним и ради использования мекленбургской территории для подготовки боевых операций против Швеции? Думается, что Петр Великий смотрел много далее и не ограничивал своих планов и отношений лишь этими совершенно временными и преходящими целями. <...>

<...> Очевидно, в Мекленбурге царь Петр нуждался в твердой власти герцога, по договору с которым он мог использовать в полной мере и военно-стратегические, и общеполитические, и экономические возможности и выгоды страны. Если это рассуждение правильно, то можно сделать заключение, что Петр Великий рассматривал расположение русских войск и свой политический союз с герцогом не как преходящий и кратковременный этап своей политики, но как известную основу для дальнейших видов и действий.

Сущность этих видов можно было бы формулировать в том смысле, что Петр Великий имел в виду обеспечить для России на территории Мекленбурга, т. е. на юго-западном берегу Балтийского моря, более или менее прочную и долговременную политическую (едва ли лишь военную!) и, конечно, экономическую (в обход Зунда!) базу, для выхода и далее в океан». ³²

Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться в рациональности выбора плацдарма — выход к морю при максимальной близости к берегам Швеции, соседство с Померанией, где успешно оперировали русские войска, относительная близость к союзной Польше, дающая возможность сохранения постоянных коммуникаций с российской территорией.

Закрепить за собой Мекленбург означало «ногою твердою встать» в центре Северной Германии.

(Когда мы будем рассматривать «Завещание Петра Великого» — явную, но отнюдь не бессмысленную фальшивку, — то надо помнить о ситуации вокруг Мекленбурга.)

Европейские дипломаты открыто заговорили о возрастающей военноморской мощи царя как вполне реальной угрозе.

Но существует и еще одна, на наш взгляд, резонная версия, объясняющая действия Петра относительно Мекленбурга.

Исследовавший эту проблему Владимир Сергеевич Бобылев писал: «Не трудно заметить, что международная матримониальная политика Петра фокусировалась исключительно на имперских землях, что отражало его стремление получить статус члена Империи. Об этом свидетельствует и обращение царя, направленное Иосифу I в 1710 г. с просьбой положительно решить вопрос о включении Лифляндии в состав Империи. В европейских кругах считали вполне нормальным вариант обмена Мекленбурга на Лифляндию, что автоматически делало бы царя имперским князем. И вряд ли это было пристрастием к коллекционированию титулов или легковесной игрой в германскую политику. Петр Великий не страдал подобными комплексами. Вращение в Империю, по мысли царя, придало бы международному положению России стратегическую устойчивость и обеспечило бы ей постоянную поддержку и помощь со стороны Австрии и других германских государств на случай шведского реванша или турецкого нападения».³³

Да, в случае включения России в имперскую систему Вена становилась *de facto* и *de jure* союзником России.

Идея была, на первый взгляд, плодотворна, но нереализуема.

Появление внутри имперской системы такого мощного субъекта, как русский царь, категорически разрушало существовавшее равновесие, тем более что амбиции Петра не шли ни в какое сравнение с амбициями германских владетелей.

Включение в состав империи подвластной Петру Лифляндии отнюдь не компенсировало фактический уход из-под реального влияния Вены герцогства Мекленбург, несмотря на мнение некоторых «европейских кругов».

Это мнение отнюдь не разделяли ни Вена, ни Лондон.

Петр не предвидел решительной реакции этих держав. Ему стало понятно, что дальнейшее пребывание русских войск в Мекленбурге и вообще стремление закрепиться на территории Империи ставят под сомнение заключение благоприятного для России мира со Швецией.

Император отнюдь не собирался отказываться от своего суверенного права быть единственным посредником между герцогом Мекленбургским и его подданными.

Русские войска из Мекленбурга ушли. Конфликт, казалось, был исчерпан. Но прежние отношения между бывшими союзниками уже не вернулись никогда.

Англия, в которой воцарилась Ганноверская династия, создала в 1718 году «Четверной союз» — Англия, Франция, Австрия и Голландия — для противодействия возможной агрессии России, которую поддерживала Пруссия.

Это были напрасные опасения. Начиная с 1714 года Петр, как мы знаем, увлеченно прорабатывал свой Каспийский, или, если угодно, Индийский, проект, выход на просторы Азии, поскольку в «кротовой норе» Европы ему оставалось только добиться выгодного мира с Швецией. Решение этой задачи требовало теперь всего лишь настойчивости.

Юго-восточное направление давало выход неукротимой энергии Петра и обещало реализацию его юношеских мечтаний. У него были обширные планы относительно строительства не просто крепостей, но и городов по Каспию. Подчиненная русскому влиянию Персия, помимо прочего, могла стать полезной союзницей в противостоянии с Османской империей.

Забегая вперед, познакомим читателя с документом, который дает представление о масштабах петровского замысла. Будем называть его Каспийский проект. Этот документ, созданный несколькими годами позже тех событий, о которых пойдет речь, стал эпилогом этих трагических событий и в известном смысле прологом того деяния, которое можно было бы назвать Каспийский проект-2.

Поразительный сам по себе, этот документ отбрасывает смысловую тень назад и вперед, считая от того момента, когда он был написан.

2

В начале 1721 года, когда было ясно, что Северная война подошла к своему завершению и выгодный для России мир будет вскоре заключен, а Петр обдумывал поход во владения персидского шаха, он создал удивительный документ, дающий нам возможность представить себе его дальнейшие планы вне «кротовой норы».

Он решил пригласить на русскую службу человека, чье имя было прекрасно знакомо всей Европе.

Шотландец Джон Ло, талантливый финансист и безусловный авантюрист, прокутивший в молодости оставленное ему отцом весьма значительное состояние, оказавшийся в английской тюрьме из-за поединка, на котором он убил человека, бежавший из страны, в конце концов стал министром финансов во Франции Людовика XV. Его оценил и поддержал регент при малолетнем короле, герцог Орлеанский Филипп. Созданная им финансовая система, основанная на массовом выпуске необеспеченных бумажных денег, привела к временному оживлению экономики, спекуляциям акций основанных Ло банка и Миссисипской компании, которая должна была осваивать французские колонии в Новом Свете. Но к 1720 году стало понятно разрушительное действие «системы Ло», ему пришлось бежать из Франции и поселиться в Венеции.

Горячим поклонником «системы Ло» оказался русский аристократ, дипломат и мыслитель Иван Андреевич Щербатов. В марте 1720 года Щербатов отправил из Лондона в Петербург перевод главного труда Ло и свое «Мнение» о важности идей французского министра для экономики России.

Мы не будем заниматься анализом идей Ло, ибо Петр, ознакомившись с ними, сделал весьма своеобразные выводы из прочитанного и решил использовать таланты Ло в той сфере, которая остро волновала его в это время.

Что это был за замысел, станет ясно из предложения, которое русский царь сделал шотландскому финансисту.

1721 г. январь

Наказ Петра I ассессору Берг-коллегии Габриелю Багарету де Пресси
о приглашении Д. Ло на русскую службу.

Наказ Берг- и Мануфактур-коллегии, по которому он в своей комиссии поступать имеет, буде господин Ляус склонен явитца в государстве его ц. в-ва поселиться.

1. Его ц. в-во намерен господина Ляуса княжескою честию с принадлежащими к тому преимуществы всемилостивейше пожаловать, также у его ц. в-ва римского высокие свои средства употреблять, чтоб он и князем римского государства учинен был, по которому достоинству он светлейшим князем наречен быть имеет.

2. В наилучших его ц. в-ва землях к наименьшему, з 2000 дворов вместо княжества наследственно пожалован будет, однако ж с такими кондициями, чтоб крестьяне в государственную казну подати платили, как и другие российские князя с своих вотчин платят, или оной будет за них платить, что довелось брать.

3. В таком его наследственном княжестве позволено будет ему город себе построить и оной иностранными мастеровыми и ремесленными людьми населить, також славную и крепкую крепость к своей резиденции построить и всегда к своей гвардии роту 100 человек держать.

Никогда и никому из иностранцев, включая фельдмаршалов, ничего подобного Петр не предлагал. Но следующий раздел открывает истинный замысел царя, ничего общего с перестройкой финансовой системы России не имеющий. Петр надеялся сделать из этого многообещающего деятеля орудие для осуществления куда более экзотической мечты.

4. Буде господин Ляус пожелает в плодovitой восточной России около Каспийского моря города и села заложить и оные иностранными населить ради заводов и мануфактур или для земледелия оных преизрядных пустошей, то его ц. в-во под известными кондициями все оное ему уступить хочет, однако ж с таким определением, чтоб у его величества, как у государя верховная власть осталась.

То есть княжество нового владетеля предполагалось расположить в «плодовитой восточной России около Каспийского моря».

Где же можно было найти эти «плодовитые земли»?

Разумеется, не на восточном мертвом берегу Каспия, где в прибрежном песке похоронены были сотни и сотни русских солдат и где выживать могли с начала времен кочевавшие и знавшие, как выжить в этом краю, туркменские улусы.

Мысль о «плодовитых» землях на берегу Каспия появилась у Петра явно после донесений Волынского о богатых землях Шемахи и близлежащих персидских провинциях.

Но, для того чтобы подарить эти земли новому князю и его иностранным поселенцам, их надо было завоевать.

Крайне маловероятно, что имелись в виду и пустоши Астраханской губернии — полупустынные почвы, солончаковые обширные пятна и т. п. Вряд ли резкий сухой континентальный климат этих мест, с летней жарой и малоснежной зимой, с перепадами температур до сильных морозов, способствовал бы процветанию нового княжества.

Конечно же, имелось в виду нечто совершенно иное.

Вспомним, что грандиозные предложения «господину Ляусу» делались на фоне похода, в результате которого «плодовитые земли» у Каспия и должны были попасть под власть Российского государства.

Правда, не совсем понятно, почему эти земли названы «пустошами». Очевидно, Петр был убежден в чудотворных возможностях «господина Ляуса», потому что в последующих пунктах ему обещаны были «чин обер-гофмаршала, действительного тайного советника и президента», не говоря уже о высшем ордене государства Российского — «достоинства кавалерского святого Апостола Андрея».

«Господину Ляусу» рекомендовалось учредить Персидскую торговую компанию и заняться «рудокопными делами».

Эти невиданные блага в значительной степени должны были распространяться также на «сыновей или зятьев ево, ежели которой из них сюды приедет».³⁴

Приезд Джона Ло и возникновение на берегу Каспия некоего государства в государстве не состоялись. Но ситуация эта дает представления о накале страсти, с которой Петр желал освоить берег Каспия и превратить персидские земли в плацдарм для прорыва в Азию.

Летом 1715 года подполковник Артемий Волынский был отправлен послом в Иран. Миссия продолжалась до сентября 1717 года, то есть хронологически совпадала с мекленбургским кризисом и с развитием «Каспийского проекта». Гибель отряда Бековича фактически совпала с завершением миссии Волынского.

И все эти события почти целиком покрывали «дело» царевича Алексея — от выхода на поверхность неразрешимого конфликта отца и сына до возвращения царевича в Россию.

И попытка получить постоянный и прочный плацдарм в пространстве империи, поставив тем самым под вопрос ее вековую структуру, и не менее энергичные старания освоить берега Каспия, ясно обозначив свое военное присутствие, что было подготовкой для движения в глубь Азии к границам Индии, где пока что мирно уживались англичане и французы, внутри России сопровождалась планомерной подготовкой уничтожения наследника и выработкой стройной и суровой идеологической доктрины, которая развывала руки царю для любых действий.

Волынский, выполнявший помимо дипломатических задач функцию военного разведчика, оценив военные возможности Персии, стал решительным

сторонником вооруженного вмешательства в жизнь распадающегося государства и убедительно обосновал свою позицию.

Для Петра земли Персии были прежде всего пространством, открывающим дорогу к Индии.

«Дело» Алексея, открывшиеся во время следствия связи наследника с многими «сильными персонами», неудавшаяся попытка внедриться в структуру империи и жесткий конфликт с ведущими европейскими державами — вот тот тревожный фон, на котором произошла резкая активизация петровской политики на азиатском направлении.

В мае 1714 года, находясь на борту «Святой Екатерины» возле Березовых островов на севере Финского залива, недалеко от берегов Финляндии, где шла подготовка к десантной операции, Петр направил указ Сенату.

«Господа Сенат! О котором деле говорено с вами, будучи у Кроншлота на шнаве, а имянно о посылке для прииску устья Дарьи реки, и для того ныне посылаем туды Преображенского полку капитана-поручика господина князя Черкасского, и что ему чинить, о том даны от нас пункты; однако же ежели еще он будет о чем предлагать в пополнку к тому, то вы с совету исправте. Также с доношения его, которое он нам подал (о Горных народах, каким образом их к нашей стороне склонить), при сем посылаю к вам копию, против котораго его доношения учините с совету, дабы их каким образом лутче на нашей стороне удержать».³⁵

«Господа Сенат» получили этот указ 2 июня 1714 года.

Понятно, что донесение князя Бековича-Черкасского предшествовало этому указу и стало для Петра импульсом к действию. Но, как увидим, в донесении Бековича нет ни слова об Аму-Дарье.

Смысл этого донесения очень существен, но — другой.

«Писали ко мне из Черкасской земли братья мои нарочно с присланным, котория их писма вручил и канцлеру графу Головкину. В тех писмах пишут: по указу от Порты Атаманской, посланы от хана Крымского посланцы к волным князьям, имеющим владения близ гор, между Черным морем и Каспийским, дабы оные князья со владениями своими склонились под власть салтана Турского и послушны были б хану Крымскому, за что могут многую милость получать и повсягодным жалованьем определены будут».

Посланцы султана и хана вошли в отношения с разными горскими народами. И в беспокойстве Бековича был вполне определенный смысл.

«И ежели оное Турецкое намерение исполнится и оной народ будет при Порте утвержден, то, когда война случится, могут немалую силу показать, понеже оной народ лутчей в войне, кроме регулярного войска; а паче рассудить к людству и в силе его от Черного моря, где есть Тамань по сю сторону Керчи, до самой границы Персидския комоникация будет в близости ваших границ. Ежели ваше величество соизволите, чтоб оной народ не допустить под руку Турецкую, но паче привесть под область свою, то надлежит, не пропуская времени, о том стараться».

Бекович явно чувствовал себя весьма независимым, судя по тону его обращения к царю. Он дает ему советы с интонацией поучительной.

Эта независимость характера и самоуверенность сыграли впоследствии роковую роль в судьбе князя и его отряда, равно как и в судьбе всего проекта.

Возможно, Петра подкупало это совпадение некоторых черт их характеров — пренебрежение к обстоятельствам и уверенность в том, что любые препятствия преодолимы.

Во второй половине донесения Бекович предлагал использовать горские народы для давления на персидского шаха, который их боится.

Правда, не совсем понятно, какими средствами надеется князь привести горские народы под высокую руку русского царя, ибо он пишет Петру: «Ежели ваше величество соизволите вышереченные народы под свою область привращать, то надобно годную особу в тот край послать с частию войска регулярного и нерегулярного, казаков Яицких и Гребенских, понеже оные казаки в близости тех краев, и надеюся посланному войску болшаго изнурения не быть...»

То есть дипломатические переговоры князь считает нужным подкрепить наличием солидной воинской силы.

И далее следует текст, с которым далеко не каждый посмел бы обратиться к царю: «Чаю ваше величество пространно о тамошнем крае не известны, а коли б вы изволили знать пространно тамошней край, надеялся бы что не в малыя б дела произвели чрез ваш ум и действия».

И далее следует предложение для Бековича, возможно второстепенное, но для Петра ставшее исходной позицией грандиозного плана.

«Ежели б сие дела, с помощью Божиею, утвердить, можно при Каспийском море во удобном месте учинить крепость для всяких руд; вашему величеству известно, что много обретається разных руд в тамошнем краю, от чего мог бы прибыток немалой быть государству Российскому».

А заканчивает князь свое доношение и вообще почти игриво: «Есть пророческая пословица: „попытка не шутка, спрос не беда“. Ежели вашему величеству не угодно мое доношение, прошу в моем дерзновении милосердаго прощения».

Петру доношение оказалось угодно. Но если для Бековича главный смысл возможных действий заключался в минимизировании турецкой опасности привлечением на свою сторону горских народов, то Петр уловил в предлагаемых князем действиях совершенно иную и близкую ему, Петру, возможность. И на первое место он выдвигает поиски устья Аму-Дарьи с ее золотыми россыпями. Но, судя по «пунктам», в свое время полученным Бековичем, — а написаны они были еще в 1714 году — проект сразу приобрел те очертания, те масштабы, в которых он и выполнялся в течение последующих трех лет.

Поскольку «Господа Сенат» знали о высокой заинтересованности царя в возникшем внезапно плане, то они оставили обычную свою медлительность, и подготовка к походу Бековича на Каспий пошла в стремительном темпе. Шла эта подготовка преимущественно в Казани как ближайшем городе к исходному пункту будущего похода — Астрахани, обладавшей соответствующими ресурсами.

Отвечал за подготовку казанский губернатор Петр Самуилович Салтыков, человек энергичный и опытный.

Петр отдался новому проекту с увлечением, а в этих случаях он не терпел проволочек. И служебная переписка это подтверждает.

В том же 1714 году Бекович снова на Каспии, где впервые он побывал еще в 1713 году, и в Казани. Именно тогда среди главных действующих лиц нашего сюжета появился один из ключевых персонажей.

В октябре 1717 года в Казани, после гибели отряда Бековича, допрашивали нескольких уцелевших спутников несчастного князя.

«Первой сказался Ходжа Нефес: родом де он Садыр Трухменец, владения Сайдами салтана, который под владением Калмыцкого хана Аюки, а кочевье де они свое имеют улусами, в кибитках, близ Тюк-Карагани, в степях <...>. И в прошлом де 1714 году, как, по указу царского величества, от лейб-гвардии капитан господин князь Черкасской из Астрахани ходил в Каспийское море, и был в Тюк-Карагани и виделся с вышепомянутым салтаном их, и по прошению его, господина князя Черкаского, у салтана их он, Нефес, отдан ему, господину князю Черкаскому, для указания пути в Хивинскую землю Дарьи реки».

Существует версия, что Нефес был в Петербурге и от него Петр узнал всю фантастическую историю относительно плотины, перегородившей Аму-Дарью и поворотившей ее в Аральское море, а также о золотых россыпях в ее русле.

Источником этой версии является необыкновенно ценное издание — «Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории Государя Императора Петра Великого, трудами тайного советника, губернатора Сибири и ордена святого Александра кавалера, Федора Ивановича Соймонова, выбранное из журнала его превосходительства, в бытность его службы морским офицером, и с внесенными, где потребно было, дополнениями Академии Наук конференц-секретаря, профессора истории и историографа Г. Ф. Миллера».

Книга была издана в 1763 году, через полвека после похода Бековича. Текстам собственно Соймонова была предпослана сочиненная Миллером история первого периода освоения Петром Каспия.

Там и предложена традиционная версия появления Ходжи Нефеса.

«Такой Астраханской компании, бывшей там в 1713 году, явился знатной муж Ходжа Нефес, Трухменского колена Садыр, и просил, чтоб его взяли с собою в Астрахань, потому, что он имеет Российскому Императору учинить предложения, касающиеся до великой пользы Российского государства. В Астрахани жил тогда Персидской князь из Гилялии, крещенной в Христианскую веру, коего по-русски называли Князем Самановым. Он познакомился с Нефесом, и вскоре так подружился, что Нефес открыл ему свои предложения, состоявшие в том, чтоб Государь Петр Великий взял под свое владение страну при реке Аму-Дарье, где находится песошное золото <...>. А хотя устье Аму-Дарьи, которым сия река прежде впадала в Каспийское море, Узбеками и запружено, и река отведена в Аральское море...» И так далее, о чем мы уже знаем.

«Саманов, радуясь такому предложению, и надеясь от того и себе получить прибыль, проводил Трухменца в Москву в Санктпетербург. <...> По случаю

Саманов познакомился с Черкасским Князем Александром Бекеничем, который будучи Капитаном-Порутчиком гвардии, находился в великой у Государя милости».

Источники, которыми пользовался Миллер, не совсем ясны, но материалы Военно-ученого архива эту версию опровергают, не меняя сути сюжета.

Рассказав о первом совместном с Бековичем путешествии по восточному берегу Каспия, Нефес сообщил: «И прибыв де в Красные Воды ему, господину князю Черкасскому, он, Нефес, явился и о вышеописанном о всем ему донес, и с ним де господином князем Черкасским из тех Красных Вод возвратились до Тюк-Караганской пристани, и от той де пристани его, Нефеса, отпустил он, господин князь Черкасской, в Трухменские улусы, а сам де он господин князь Черкасской пошел в Астрахань. И в прошлом де 716-м году, как оной господин князь Черкасской прибыл морем в Тюк же Карагань, и он де, Нефес, ему господину князю Черкасскому явился же, и он де господин князь Черкасской приказал ему, Нефесу, быть при себе...»

Ясно, что дальше Казани на север Нефес не доезжал. А сведения о реке Дарье и прочем Петр получил от хивинского посольства, которое побывало в Москве в 1701 и 1703 годах. Тогда, в самый первый период Северной войны, Петру было не до Востока. Но память у него была прекрасная.

Петра явно не устраивала затянувшаяся, по его мнению, подготовка к решающему этапу осуществления проекта и его главной задачи.

Стали появляться такие вот документы: «1716-го января в 31 день, по указу великого государя, Правительствующий Сенат приказали: от лейб-гвардии капитану- порутчику господину князю Александру Бекову сыну Черкасскому, ежели он прибыл к Москве, объявить, дабы он ехал в Санктпитебурх немедленно и в пути поспешал как наискоряя возможно; а приехав в Санктпитебурх, явился в Канцелярии Сената. И о том к стольнику Юрью Шишкину послать указ. *Граф Иван Мусин-Пушкин*».

В тот же день последовала пересылка письмами между «Господами Сенат» и сенатской канцелярией в лице стольника Шишкина и с курьером вахмистром Враским было отправлено предписание князю Черкасскому.

Но выяснилось, что «Господа Сенат» опоздали.

14 февраля начальник Московской канцелярии Сенатского правления стольник Шишкин донес в Петербург в канцелярию Правительствующего сената: «Сего же февраля 8-го дня, в Канцелярии Сенацкого Правления его, капитана-порутчика князь Александра Черкасского, человек, которой за дела ходит, Петр Зайцов сказал: как-де господин его прибыл из Астрахани и уведомился, что царское величество изволил итти в поход в Ригу, и он де капитан-порутчик поехал до его царского величества в Ригу ж, прошедшаго генваря 31-го дня».

Решение Петра после доклада князя Черкасского было более чем определенным. Последовал «Высочайший указ Правительствующему Сенату об отправлении капитана князя Черкаскаго туда, откуда он приехал»:

«Господа Сенат! Понеже капитана князя Черкаскаго отправили мы паки туды, откуда он приехал, и что ему там велено делать, о том дали ему пункты,

и чего он против тех пунктов будет от вас требовать, также и сверх того, и в том чинить ему отправление без задержания.

Петр

Из Либоу, в 14 день февраля 1716».

То есть Бекович фактически получил карт-бланш. Сенат должен был удовлетворить любое его требование.

Это означало одно: князь доложил Петру, что он отыскал настоящее устье Аму-Дарьи, уверился в возможности повернуть реку в Каспийское море и тем самым обеспечить наиболее благоприятный путь в Индию. Это было роковой ошибкой.

В тот же день в Либаве, крупнейшем городе герцогства Курляндского, сильно разоренного постоянными военными действиями, Петр вручил наконец Бековичу те самые пункты, о которых он писал Сенату еще в мае 1714 года.

Это поразительный документ, как нельзя выразительно характеризующий его автора — по масштабу замысла и уверенности в исполнении.

Указ капитану от гвардии князю Черкасскому.

1) Надлежит над гаваном, где бывало устье Амму-Дарьи реки, построить крепость человек на тысячу, о чем просил и посол Хивинской.

2) Ехать к хану Хивинскому послом, а путь иметь подле той реки, и осмотреть прилежно течение оной реки, также и плотины, ежели возможно оную воду паки обратить в старый ток, к тому же прочие устья запереть, которые идут в Оральское море, и сколько к той работе потребно людей.

3) Осмотреть место близ плотины, или где удобно, на настоящей Амму-Дарьи реки, для строения же крепости, тайным образом; а буде возможно будет, то и тут другой город зделать.

4) Хана Хивинского склонять к верности и подданству, обещая наследственное владение оному, для чего представлять ему гвардию к его службе и чтоб он на то радел в наших интересах.

5) Бude он то охотно примет, а станет желать той гвардии и без нее ничего не станет делать, опасаясь своих людей, то оному ее дать сколько пристойно, но чтоб были на его плате; а буде станет говорить, что перво нечем деражать, то на год и на своем жалованье оставить, а впредь чтоб он платил.

6) Ежели сим или иным образом склонится Хивинской хан, то просить его, дабы послал своих людей (при которых и наших два бы человека было) водою по Сыр-Дарье реке вверх, до Иркети городка, для осмотра золота.

7) Также просить у него судов и на них отпустить купчину по Амму-Дарье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее пока суды могут итти, и оттоль бы ехал в Индию, примечая реки и озера и описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной в Индию тою же или другими реками, и возвратиться из Индии тем же путем, или ежели услышит в Индии еще лутчей путь к Каспийскому морю, то оным возвратиться и описать.

8) Будучи у Хивинского хана, проведать и о Бухарском, не мочно ль его, хотя не в подданство (ежели того нельзя зделать), но в дружбу привести таким же маниром, ибо и там также ханы бедствуют от подданных.

9) Для всего сего надлежит дать регулярных четыре тысячи человек, судов сколько потребно, грамоты к обоим ханам, также купчине к ханом же и к маголу.

10) Из морских офицеров порутчика Кожина и навигаторов человек пять или более послать, которых употребить в обе посылки, первая под образом купчины, другая в Эркети.

11) Инженеров из учеников Куломовых дать двух человек.

12) Нарядить казаков Яицких полторы тысячи, Гребенских пять сот да сто человек драгун и доброго камандира, которым иттить под образом провожания каравана из Астрахани и для строения города, и когда оные придут к плотине, тут велеть им стать и по той реке, где плотина, прислать к морю для провожания его, сколько человек пристойно; вышеписанному камандиру накрепко смотреть, чтоб с обыватели земли ласково и безтягостно обходилися, и для делания там города отпустить с помянутыми конными несколько лапатов и кирок.

13) Поручику Кожину приказать, чтоб он там разведал о пряных зельях, и о других товарах, и, как для сего дела, так и для отпуску товаров, придать ему Кожину двух человек добрых людей из купечества, и чтоб оные были не стары.

По сим пунктам господам Сенату с лутчаю ревностию сие дело, как наискоряя, отправить, понеже зело нужно.

Петр.

Пункты были написаны царем собственноручно.

4

В это же время отыскался человек, который, будучи пятнадцатилетним юношей, сопровождал с 1695 по 1701 год купца Семена Маленького, добравшегося до Индии через Иран, побывавшего на приеме у персидского шаха и у Великого Могола и умершего на обратном пути в Шемахе. Официальные документы об отправке купца в это путешествие сторели, но появление «человека Рижского обер-инспектора Исаева Андрея Семенова» с подробнейшим рассказом о путешествии должно было еще более вдохновить Петра.

Андрей Семенов из Шемахи добрался до Астрахани, а уж как он в 1716 году оказался в подчинении у рижского обер-инспектора, неизвестно. Но это было большой удачей. Исаев явно знал о давних приключениях своего человека, очевидно, услышал о приезде к царю князя Черкасского, ибо царь находился в это время именно в тех местах, узнал о готовящейся экспедиции и сообразил, как важна имеющаяся у его человека информация.

Обширный рассказ был записан 22 февраля 1716 года, в канцелярии Сената, куда Семенова, очевидно, прислал Исаев.

Мало того что путешественник оказался сметливым и наблюдательным, у него была еще и прекрасная память. Был он человеком грамотным, судя по тому, что заверил свой рассказ своеручной подписью.

Скорее всего, ему не раз приходилось повествовать о своих удивительных приключениях, и рассказ его изобилует выразительными реалиями, выдумать которые он не мог.

«В прошлом де <6>203-м году (летоисчисление от Сотворения мира. — *Я. Г.*) ездил он из Москвы гостиной сотни Семеном Маленким, его рабом, в Персиду, а из Персиды в Индею; а он, Семен, посылан был купчиною из Приказу Большие Казны с товары: с юфтью красною, с сукны Галанскими и Аглинскими тонкими, с костью рыбью (то есть моржовыми клыками. — *Я. Г.*), и даны ему были в Персиду и в Индею из Посолского Приказу грамоты...»

Путешествие Семена Маленького было миссией государственного уровня. Кроме собственных товаров он вез товары, выданные ему приказом

Большой казны — так сказать, министерством государственных имуществ, а государевы грамоты придавали ему дипломатический статус — и в Персии, и в Индии ему давали вооруженное сопровождение для защиты от разбойников. И только в Персидском проливе, на обратном пути, «Арапы Мешкецкие», промышлявшие пиратством, отбили у него один из двух нанятых кораблей.

Немалый интерес представлял рассказ Андрея Семенова о свидании с Великим Моголом, которому русского купца с государственными полномочиями представил «казначей царской»: «...ставил пред царя, да при нем одного толмача, которого они наняли в Астрахани <...>. И Царь Индейской в дар царскому величеству послал с ними слона маленького».

Оказалось, что получить аудиенцию у Великого Могола вполне возможно.

Миссия Семена Маленького — государевы грамоты к главам государств, казенные дорогие товары — могла быть организована, таким образом, только с соизволения Петра. А это время Азовского похода.

И теперь — через одиннадцать лет — запросил документы 1695 года. Но оказалось, что они сгорели в очередном пожаре.

Тем большей удачей было появление Андрея Семенова.

4 марта князь Черкасский был в Петербурге и обратился к Сенату с требованиями, предъявленными решительным тоном.

Высокоправительствующий Сенат.

По указу его царского величества, по пунктам, данным мне, которые вам объявлены, по тем пунктам ваша высокоправительство известны для определенного мне дела что надлежит мне у вас требовать, о том вам доношу:

1.

4000 человек войска регулярного, 1500 драгун, 2500 солдат, с полными штап и обор-офицеры, казаков 2000; оному войску денежное жалованье, амунициы, провианту, мундиру надобно на 3 годы.

2.

Когда надлежит послать войска на показанное место сухим путем, как повелевает указ, 2000 человек, оному войску надлежит иметь при себе провианту, амунициы не на малое время, по конечной мере на год; и под оной провиант надобно подвод таких, на чем можно вести в те места, куды они поедут; а путь их от границы нашей езды на пол-третьи недели.

3.

Войско, которое надлежит послать морем, для строения крепости на взморье, надобно им судов довольно...

И далее Бекович во всех подробностях и вполне императивным тоном предписывает Сенату, что необходимо предоставить в его распоряжение и помимо того, что определено указом.

«Пушкарей 24 человека от артиллерии, понеже в них есть нужда. <...> 3-х человек лекарей из Москвы, с доволным лекарством по числу людей, которым надлежит быть в службе».

В отдельных пунктах речь идет о подготовке визита в Индию.

«Оному же купчине, которой пошлется в Индию, надлежит при себе иметь товаров, которые там угодны, нескудно, чтоб подозрения ему в том не было, понеже будет послан от монаршеского лица, с чем ему возможно явиться к ним».

Этот «купчина» — на самом деле флотский поручик Кожин, которому предстояло добиваться аудиенции у Великого Могола, — должен был получить должное количество ценных товаров, чтобы его миссия выглядела убедительной.

Поручик Кожин становился в известном смысле центральной фигурой проекта.

Князь предупреждает господ сенаторов, что может столкнуться с нерадивостью чиновников-исполнителей в Астрахани, и заранее просит, чтобы Казанскому губернатору наказано было осуществлять постоянный надзор, чтоб все делалось «без всякого задержания».

Он заботится о добротных кадрах: «В Московскую губернию, в Казанскую указы послать: офицеров из царедворцов и других чинов к сей службе, по требованию моему отпускали со мною по возможности».

Князь готовился к многолетней и фундаментальной деятельности на Каспии, а возможно, и далее на восток.

В 1715 и 1716 годах он побывал в местах будущей своей деятельности. В 1716 году заложил три крепости.

Судьба одной из них представляется некой моделью не только «Каспийского проекта», и всей «революции Петра». И мы подробно о ней расскажем.

За десять дней после обращения Бековича «Господа Сенат» подготовили подробнейшее постановление «относительно снаряжения и снабжения всем нужным войска, которое долженствует сопровождать гвардии капитана князя Черкасского, отправляемого послом к Хивинскому хану».

В указе Сената казанскому губернатору велено было, помимо прочего, послать при отряде Бековича «полковых камисаров, у которых быть роздачем тому жалованью, а над ними быть брегад-камисару <...> а для усмотрения послать при тех полках и фискалов».

Экспедиция готовилась основательно.

5

В середине XIX века походом Бековича заинтересовался знаменитый естествоиспытатель Карл Эрнст фон Бэр — в русском варианте Карл Максимович, крупнейший в то время ученый биолог и путешественник. Бывал он и на Каспии.

Острый ум Бэра точно уловил суть петровского замысла. Он тщательно ознакомился со всей доступной документацией и свои соображения изложил в специальной работе.

Кроме достаточно точного обзора событийного ряда в сочинении Бэра есть ряд существенных замечаний.

Оценивая общий замысел предприятия 1714—1717 годов, Бэр, в частности, заметил: «Половинные меры не были делом Петра». Он одной фразой определил неизбежную манию гигантизма, присущую царю.

Он понял и представил читателю причины уверенности Петра в реальности баснословной ситуации — бухарцы повернули Аму-Дарью из своих соображений, воздвигнув грандиозную плотину. А некогда Аму-Дарья являла собой оптимальный путь от Каспийского моря, куда она впадала, до границ Индии.

Бэр приводит соответствующую историческую справку — сведения, которые были Петру известны: «Так утверждает Плиний, говоря, что Окс (Аму-Дарья. — *Я. Г.*) изливается в Каспийское море; ошибается ли Плиний, или в самом деле впадала Аму в Каспийское море, во всяком случае нет причин сомневаться в том, что индийские товары шли на Запад через Афганистан и Валх по реке Аму».

Анализируя весь комплекс наставлений, данных Петром князю Черкасскому, академик Бэр делает вывод: «Мы видим, что здесь уже не упоминается о приискании золота на реке Аму, а только о незначительной посторонней экспедиции для отыскания пути в Яркент; главная мысль — проложить себе безопасный торговый путь в Индию. <...> ...поход в Индию не был следствием случайной мысли, а, напротив, главной целью всей экспедиции».³⁶

Бэр знал, что Петр безоговорочно поверил князю Черкасскому, потому что он хотел верить в реальность любезной ему легенды, поскольку в его памяти жил рассказ хивинского посла в 1701 году.

А страстный, увлекающийся Бекович верил в существование плотины и возможности повернуть Аму-Дарью в Каспий, потому что этот подвиг мог стать началом стремительной карьеры и возможностью масштабных самостоятельных действий в Азии.

Ровно через сто лет подобный соблазн определит судьбу генерала Ермолова.

Но, вспоминая заманчивые предложения хивинских послов 1681 и 1701 годов, Петр и Бекович не учли, что ситуация в Хиве категорически изменилась.

Возможно, хивинские послы во время предыдущих переговоров создали у Петра представление о положении своих владык как не очень надежном по причине внутренних смут, что и вынуждало их просить помощи у сильного соседа. Недаром в наказе Бекович советовал ему соблазнять хана Бухарского, как и Хивинского, предложением предоставить русских солдат в качестве личной гвардии «ибо и там также ханы бедствуют от подданных».

Тут играл роль и собственный опыт Петра. Приблизительно в это время Феофан неистово обличал неблагодарных подданных русского государя.

Уверенность в передаче власти по наследству была, безусловно, серьезнейшим обстоятельством.

На протяжении 229 лет Хивой правила династия Шабанидов, но крайне редко трон переходил от отца к сыну. Хивинский трон был отнюдь не безопасным местом. Со времени посольства 1691 года, когда в Хиве правил Эренг-хан, сменилось семь правителей.

Князю Черкасскому предстояло иметь дело с восьмым — Шергази-ханом.

Было одно обстоятельство, принципиально отличавшее предшествующие попытки наладить связи с ханствами и проложить надежную дорогу в Индию. Вместо индивидуальных путешествий или отправки небольших групп,

как это было в случае Семена Маленького, к Хиве шло достаточно мощное по среднеазиатским масштабам воинское соединение — пехота, кавалерия, артиллерия и иррегулярные части.

Это был почерк зрелого Петра. Система крепостей на берегах Каспия и на Аму-Дарье (секретная крепость возле пресловутой плотины) должна была обеспечить тылы и коммуникации войск, оперировавших в направлении Хивы и Бухары и прикрывавших путь в Индию, а отряд Бековича своим присутствием способен был удержать ханов от враждебных действий.

План был, на первый взгляд, реалистичен. При первом же боевом столкновении Бекович одержал безусловную победу над многократно его превосходящими силами Хивы. Его погубили самоуверенность и порожденная ею доверчивость.

Таким же образом и по тем же причинам через семьдесят девять лет на Каспийском берегу погибнет грузинский аристократ и русский генерал Павел Дмитриевич Цицианов, положившийся на свою грозную славу беспощадного завоевателя.

Особенность взаимоотношения Петра с миром заключалась в том, что его подробно проработанные планы (как в случае с «Каспийским проектом») принципиально не учитывали возможное сопротивление низкой реальности. Он презирал не только человечество, если соглашаться с Пушкиным, но и природу. Отсюда его бесстрашие во время морских походов.

В конечном счете отряд Бековича явил собой внушительную силу — 4000 солдат, 1560 яицких казаков, 500 гребенских казаков и 100 драгун. Причем этот эскадрон драгун укомплектован был пленными шведами, которые после Полтавы содержались в Казани.

Соотношение регулярных пехоты и кавалерии было не совсем таким, какое запрашивал Бекович, но 1500 драгун собрать не удалось.

С пехотой тоже было непросто. Пришлось собирать солдат из разных городов. «И сего марта в 14-й день, по его великого государя указу, Правительствующий Сенат приговорили: войска регулярного отправить два полка солдатских, один из Казани, другой из Астрахани, в которых бы было по тысяче по двести человек в полку, да с Самары пятьдесят, с Саратова сто, из Дмитровского сто, с Царицына сто, с Красного Яру да с Черного Яру по дватцати по пяти, и того четыреста человек, да из Азовской губернии полк, а в нем бы было тысяча двести человек, всего четыре тысячи человек...»

4 июня 1716 года Правительствующий сенат направил указ: «...в Приказ Артиллерии генерал-фельдцейхмейстеру Якову Вилимовичу Брюсу с товарищами о немедленном отправлении в Казань из Приказа Артиллерии для отряда князя Черкасского пушек, ядер, пороху и свинца».

Эти 6100 штыков и сабель с артиллерией — маленькая армия — должны были, по замыслу Петра, показать ханам, что с ними шутить не собираются, и поставить их *de facto* в положение если не подданных, то послушных союзников.

Но Бекович не ограничился официальной численностью своего отряда. За время пребывания на Каспии, с 1714 года начиная, он установил многочисленные связи с местными народами.

Кожин сообщил Сенату: «И потом он, князь Черкасской, взяв из Астрахани драгун шесть сот человек, казаков Яицких и Гребенских против указу, юртовских мурз и табунных голов, Терских Черкес, Хивинцов, Астраханских дворян, Бухарцов и других народов, например с три тысячи человек и болши, пошел в Хиву сухим путем...»

Это не совсем точно. Драгун в отряде Бековича в результате осталась сотня, и пошел он не сразу в Хиву, а на Гурьев, где соединился с пехотой и артиллерией. Но для нас важно сообщение, подтвержденное и другими свидетельствами, что Бекович вел с собой еще и несколько сотен иррегулярных всадников. То есть отряд его достигал до 7000 штыков и сабель при шести орудиях.

Если учесть, что только драгунскому эскадрону было придано пятьдесят выючных лошадей, а было их во много раз больше, что для перевозки всяческого имущества (было закуплено для регулярных войск 4100 шуб, а сколько было запасной амуниции!), для ядер, свинца и пороха понадобилось немало телег и арб, равно как и конских упряжек для транспортировки орудий, и если прибавить к этому двести выючных верблюдов, приобретенных в Астрахани, то можно себе представить, какое устрашающее впечатление производил растянувшийся на несколько километров на марше отряд Бековича.

И запас продовольствия на три года, который был определен в решениях Сената, и закупленные шубы — все это свидетельствовало, что князь Черкасский со своим многочисленным воинством отнюдь не намерен в обозримом будущем возвращаться в российские пределы.

Мы знаем, что содержалось в письменных наставлениях, данных Петром князю. Но не знаем, какие наставления даны были устно во время бесед и какие тайные планы были у царя и князя.

Эту грозную фундаментальность вооруженного посольства прекрасно сознавали и в Хиве и в Бухаре.

Сознавал ее и хан Аюка.

6

Роль хана Аюки в судьбе отряда Бековича и всего предприятия фактически не рассматривалась исследователями.

Между тем роль эта была значительна и зловеща.

Сведения о настроениях и намерении хивинского хана по отношению к движущей в его владения воинской силе, именуемой посольством, противоречивы. Это объясняется тем, что свидетели владели только частью информации каждый.

Мы же можем представить себе цельную картину.

30 марта 1717 года в Астрахань из Хивы было послано письмо, которое, по свидетельству поручика Кожина, было им передано Бековичу.

Это было письмо от дворян Ивана Воронина и Алексея Святова, которых Беркович заранее послал к хану Хивы, чтобы предупредить о своем намерении явиться в его земли в качестве мирного посла русского царя.

Алексей Святлов писал: «...а которые письма от вашего сиятельства со мною посланы к хану, и те письма хан принял месяца марта 10 числа, и отповеди никакой не дает и нас не отпускает, не знаю ради какого умыслу медлеют».

Относительно умысла сам же Алексей Святлов и объяснил далее:

«А которые послы Хивинские были в Астрахани, Ашир да Артык, и они в Хиву приехали и сказывали, что в Астрахани силы многа конницы, также и на верблюдах, хотят де итти в Хиву, и в Хиве опасаются и помышляют, что де эта не посол, хотят де обманом нам взять Хиву...»

Хан был крайне недоволен тем, что русские «строят города на чужой земле».

Хан не поверил миролюбивым декларациям, которые сопровождались комплектованием внушительного воинского кулака. По сведениям Святлова и Воронина, он призвал бухарцев и каракалпаков объединиться с Хивой для отпора грядущему нападению русских войск.

То, что поход на Хиву может кончиться гибелью отряда, было понятно тем, кто сумел трезво оценить имеющуюся информацию.

5 марта союзный русским хан калмыков Аюка отправил послание флота поручику Кожину, который должен был сопровождать Бековича и затем, как мы знаем, под видом купца следовать в Индию к Великому Моголу.

«Аюки хана приказ Кожину. Послали писма ваши, служилые люди едут в Хиву; нам де слышна: тамошни Бухарцы, Касак, Каракалпак, Хивинцы збираются вместе и хотят на служилых людей итьти боем; а я скать про то слышал, тама воды нет и сена нет, государевым служилым людям как бы худо не было, для того что я знал, а вам не сказал, а опосле де на меня станут пенять; изволте послать до царского величества нарошного посыльщика, а я с оным посыльщиком пошлю своего Калмычнина; посыльщику моему словесной приказ. Посыльщик мой Цухлы Зденжинин с товарищи, семь человек».

16 мая Аюка прислал в Астрахань второе письмо.

«Приказ от Аюки хана.

Из Хивы приехал его посыльщик до Аюки хана Етцышхен Наша, а сказывал что Бухарцы, Хивинцы, Каракалпаки, Касаки, Балаки соединились 2000 человек, и заставы стоят по местам, колодези засыпали, которым была ведомость чрез Трухменцов о походе войска, и хотят итти <к> Красным Водам; а наш де посыльщик в Хиве не в чести, а об оном объявлял ханской дарага Черкес. Перевотчик Алексей Лоскутов».

Письма, направленные ханом Аюкой в Астрахань, имели очевидную цель — представить русским всю опасность затеваемого ими предприятия и тем самым не допустить похода. С этим же он намеревался отправить свою делегацию к Петру.

Но он не понимал, с кем имеет дело. Кабардинский аристократ более, чем многие аристократы русские, усвоил стиль Петра в достижении своих целей. Приняв решение, царь шел до конца. Так же повел себя и князь Черкасский. Постоянно бывая с 1714 по 1717 год на Каспии, построив несколько крепостей, он оценил открывающиеся в этом краю возможности. Как мы увидим, он, вопреки приказу Петра, не собирался отправлять в Индию

поручика Кожина. Очевидно, у него были на этот счет свои планы. Он воспринимал этот край как арену своей будущей карьеры.

Было и еще одно печальное обстоятельство, которое объясняет безоглядное поведение Бековича.

Перед самым выступлением в поход его постигло тяжелейшее несчастье — погибли, утонули, его молодая жена, урожденная княжна Голицына, и маленькая дочь. Наверняка это ужасное событие значительно обесценило для князя его собственную жизнь.

Так или иначе, ни письма Воронина и Святова, ни грозное предостережение Аюки не поколебали решимости Бековича выполнить поручение Петра, а возможно, и выйти за его пределы.

Когда Аюка понял, что письма его должного воздействия не оказали, он предпринял более радикальные действия.

Из показаний уцелевших и возвратившихся в Астрахань нескольких участников похода Бековича выяснились любопытные вещи.

Оказалось, что небольшую группу казаков во главе с дворянином Керейтовым, которых Бекович отправил в качестве послов в Хиву предупредить о своем дружелюбии, хан принял вполне приветливо. «...От него де Хивинского хана были ему Керейтову подарки, и корм ему и казаком повседневно от него хана шол неделю».

Но затем ситуация круто изменилась.

«Да от него же де господина князя Черкасского бежали с дороги от колодезя Чилдана Аюки хана Калмыки и Трухменцы, которые ехали при нем, десять человек, в том числе и вож Мангла-Кашка, и из них шесть человек возвратились с ведомостью в Калмыцкие улусы, а четыре человека, двое Калмык, Бакша, да двое Трухменцов, Девлет с товарищи, обошед кругом обоз их, тайно пришли наперед в Хиву и явились Хивинскому хану Ширгазею. И потом его Керейтова и казаков он, Хивинский хан, велел побрать под караул, и учал собирать войско свое и, собрав, пошел против его, господина князя Черкасского, войною; а до прибытия де их Калмыцкого, Хивинского войска в собрании ничего не было».

То есть люди Аюки сообщили Шергази о враждебных намерениях князя Черкасского, провоцируя конфликт. Они могли сделать это только по приказу своего хана.

Мотивы хана Аюки понятны. Он был не заинтересован, чтобы в месте, где кочевали подвластные ему туркмены и часть калмыцких улусов, строились крепости и оперировали постоянно значительные силы русских. Он явно хотел устранить эту опасность саблями и луками хивинцев.

И ему это удалось. Без малого восьмидесятилетний Аюка, превративший калмыцкую орду в грозную боевую силу, был полезным союзником Московского государства, а затем и России, но главным для него были собственные интересы.

Позже Кожин утверждал, что передал Бековичу послание хана Аюки. Стало быть, можно сделать вывод, что хан Шергази насторожили сведения, дошедшие из Астрахани о формировании многочисленного воинского соединения, но им еще не было принято решение о наступательных действиях.

Он только призвал своих воинов и возможных союзников приготовиться — «кормить лошадей».

Но затем он получил более определенные известия о враждебных намерениях русского отряда от посланцев хана Аюки, бежавших от Бековича. И судьба вооруженного посольства была решена.

Однако всей сложности ситуации мы себе не представляем.

Помимо всего сказанного, как выясняется, был и еще один немаловажный фактор, влиявший на поведение хана Шергази, — фактор персидский.

Хива в это время находилась в состоянии постоянных боевых столкновений с Персией, с территорией которой граничила. Это была давняя и прочная вражда. Через столетие эту вражду рассчитывал использовать Ермолов в своих планах разрушения персидского государства.

В своем подробном отчете о происшедшей трагедии знакомый нам туркмен Нефес утверждал: «Трухменец Яганомет сказывал ему, Нефесу, что собрались было в Астрабате ийти с ним господином князем Черкасским на них, Хивинцов, Казылбашского войска шестьдесят тысяч человек <...> как он, Нефес, ехал из Хивы, встретились ему в караване купеческие люди и сказывали в собрании и о походе Казылбашского войска вышенаписанное же».

То есть слух о военном союзе против Хивы русских и персов был распространен широко и, разумеется, известен Шергази.

Вполне понятно, что в этой ситуации хан Шергази, выученик бухарских богословов, тонких и фанатичных знатоков ислама, опытный и удачливый воитель, презиравший неверных, принял единственно возможное для него решение.

Возможно, что его коварство и жесткость по отношению к Бековичу объяснялись и тем, что тот был урожденным Девлет-Гиреем-мурзой и, стало быть, предателем ислама, принявшим крещение, и обмануть и убить его не было грехом.

7

Судьба отряда князя Александра Бековича-Черкасского хорошо известна. После долгого тяжелого марша по безводным пространствам под яростным солнцем, эпизодических схваток с кочевниками, трехдневного боя с хивинской конницей отряд приблизился к Хиве.

Хан Шергази предложил мир и дружбу, попросил Бековича разделить отряд на пять частей, чтобы хивинцам было легче поселить и прокормить гостей. Внезапное нападение на разрозненные части отряда закончилось его разгромом. Сотни солдат и казаков были убиты, а остальные оказались в плену и стали невольниками.

Относительно гибели самого Бековича существует романтическая версия, рассказывающая об убийстве его прямо на пиру у Шергази.

На самом деле все было проще и страшнее.

Осталось несколько свидетельств уцелевших и бежавших из плена спутников Бековича.

Тот же Ходжа Нефес, спасенный знакомым туркменом Яганаметом, наблюдал смерть Бековича из палатки своего спасителя.

«И как де, разобрав, служилых людей отвели далее, и пред шатром Хивинского хана, выветчи, наперед казнили князь Михайлу Заманова (тот самый «персидский князь» Саманов, который, по версии Миллера, стоял у истоков всей авантюры. — *Я. Г.*) да Астраханца же дворянина Кирьяка Экономова, а потом вывели узбеки из палатки же господина князя Черкасского, и платье все с него сняли, оставили в одной рубашке, и стоячего рубили саблею; и отсекли у них троих головы».

Любопытно, что после расспросов в Казани все свидетели были отправлены в Петербург, где их допросили и показания их о судьбе отряда Бековича записали снова.

«...9 декабря 1717 года Правительствующий Сенат постановил об отпуске из С.-Петербурга в Казанскую губернию выходцев из Хивинского плена, бывших с князем Черкасским, и о даче им по подводе на человека <...> и на те подводы прогонные денги выдать от камисарства Казанской губернии». Петр был в ярости. В 1720 году Шергази, опасавшийся мести за содеянное, прислал в Петербург делегацию с объяснениями, вполне лживыми, подарками царю — скакуном и обезьяной — и предложением отпустить две тысячи пленников (условия должны были сообщить его посланцы). Но Петр и не попытался воспользоваться этой возможностью для освобождения своих подданных.

Хивинцы были без всяких переговоров отправлены в Петропавловскую крепость, где главный посол вскоре умер.

Один из хивинцев отправлен был обратно с резким письмом от канцлера Головкина с требованием немедленно освободить пленных.

Но хан умел гневаться не хуже царя. На глазах своих придворных он растоптал ногами петербургское послание.

Последовавшая затем попытка войти в союз с ханом Бухары была не столь трагичной, но вполне бесплодной.

Восточный берег Каспия на полторы сотни лет выпал из поля зрения Петербурга...

Три крепости, поставленные Бековичем на Каспии, теряли свое значение. Их надо было эвакуировать. Что и было сделано.

Но судьба одной из них — крепости у Красных Вод — оказалась столь характерна для всего проекта, что выглядела некой моделью, смысл которой оказывается шире, чем просто отдельный элемент несостоявшейся каспийской утопии.

О судьбе гарнизона крепости у Красных Вод имеет смысл поговорить отдельно и подробно.

Чтобы представить себе общую картину, стоит привести сведения, собранные Миллером.

«Все число состояло почти из 100 судов, которые в сентябре 1716 года под команду князя Александра Бекенича (? — *Я. Г.*) вышли из Астрахани в море.

Сперва пристали к мысу Тук-Карагану, где Бекенич, для поспешествования сообщения с Астраханью, заложил первую крепость, которая от того

места получила себе имя Тук-Караганская. <...> Впрочем, место было от природы довольно крепко и удобно, токмо недоставало пресной и текущей воды. А хотя и думали себя содержать копанием колодезей, и нашли в пещаной земле везде свежую воду без великого труда: но чрез сутки делалась вода горькою и противною. Потому были принуждены беспрестанно копать новые колодези, которая неусыпная работа народ утомила и причинила болезни. Здесь поставил Бекенич Пензенский полк гарнизоном. <...>

От Тук-Карагана к Югу, расстоянием на 120 верст, под высоту полюса 43° находится залив, который узким каналом соединяется с Каспийским морем, и по имени Александра Бекенича прозван Александр-Бай. <...> Место казалось по своему положению быть безопасным от всех неприятельских нападений. Для того определил там Бекенич токмо три роты гарнизону под командою одного майора. Она поименована Александрова, или Александробайева».

Исходя из того, что Бекович начал называть местности и крепости своим именем, можно понять, какие незаурядные планы связывал гвардии капитан и черкесский аристократ с этим обширным и грозным краем, который Петр поручил ему, Бековичу, сделать частью Российского государства и превратить в ворота Азии.

«Потом воспоследовало строение третьей и знатнейшей крепости при начале залива Красноводского, в котором думали, что нашли следы прежнего течения Аму-Дарьи. Сия заложена под высоту полюса 39° 50', на мысе в Каспийское море простирающемся, и полуострову подобие имеющем. <...> В сей крепости остались два полка, Крутоярский и Риддеров, кроме тех трех рот, которые оставлены гарнизоном в Александр-Байевой крепости. <...>

Бекенич обретши сие место шел по следам несколько верст внутрь земли. За пять верст от залива нашел он еще раковины. Но далее пропали все признаки, чтоб река прежде имела там свое течение. А поручик Кожин утверждал, что мнимые следы состояли в одном токмо воображении и ничего такого, что им доказать надлежало, не доказали».

Флота поручик (лейтенант) Александр Кожин, похоже, был единственным трезвым и профессиональным человеком среди тех, кому Петр поручил реализацию своего «Каспийского проекта». Рискуюя головой, он пытался убедить астраханское и петербургское начальство в неоправданной рискованности намеченного плана. Он не верил, что узбеки при тех средствах, которыми они располагали, могли повернуть течение большой реки. Обладая той же информацией о настроении Шергази, что и Бекович, он был уверен, что честолюбивый князь ведет свой отряд на верную гибель. Реальность подтвердила его правоту по всем направлениям.

Столь же трезво оценивал он и положение Красноводской крепости. 18 ноября 1717 года флота поручик Кожин давал показания Сенату.

«...Получа он, Кожин, добрый ветер, пошел к Красным Водам и пришел на Красные Воды 10-го дня; а князь де Черкасской уже с командою своею прежде его, ноября в 3-м числе, и вышел на берег, при котором мыс от гор пещаной, знатно намыло водою невдавне, и на том мысу ни лесу, ни воды свежей, ни травы нет же, кроме той травы, которою верблюдов кормят, и то место непотребное и знато, что временем поемною морскою водою смывает,

при том же пришел глухой залив, где вода морская стоячая и вонючая. И на том песку князь Черкасской приказал полковнику фондер Бидину, по своему отъезде, строить город. А близ того места никакой реки в Каспийское море нет от самых от Эмбы реки до Астрабата за тридцать верст. <...> И будучи де у Красных Вод, ему князю Черкасскому он, Кожин и штап (и обер) офицеры говорили, что велит строить города и людей оставляет в неудобных местах. <...> А по отъезде де его, Кожина, в том месте осталось болных солдат и матрозов человек с двести, померло с дватцать».

Очевидно, Кожина приводила в ярость некомпетентность Бековича, соединенная с самоуверенностью и властью. Любимец царя, много наобещавший, князь чувствовал себя уверенно.

Но и Кожин, имевший немалые полномочия и ответственнейшее задание — визит к Великому Моголу, — вел себя вызывающе.

Сохранилась записка князя Черкасского генеральному ревизору Сената Василию Никитичу Зотову, демонстрирующая и характер отношений его с Кожиным, и накал его темперамента: «Порутчик Кожин взбесился, не яко человек, но яко бестие, и скрылся в Астрахане или вне Астрахани, не вем, при моем отъезде; и как я поехал, не явился мне».

Эта жалоба, судя по всему, была отправлена в Петербург перед отбытием Бековича в Гурьев. Он утверждает, что Кожин отказался принимать от него указ Петра и все, что надлежало ему иметь, чтобы направиться в Индию.

Кожин сообщает сенаторам нечто противоположное: «...по данному, ему, Кожину, от тайного советника генерала-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина просил он, Кожин, у него князя Черкасского указа о справлении его дел, которой послан к нему с ним, Черкасским, за собственною его царского величества рукою, и он де князь Черкасской того указу и что принадлежало пути его товаров и денег не отдал и ответственвал, что того указа не отдаст, и велел ему ехать до царского величества».

Восстановить точную картину происшедшего между ними невозможно. Но можно предположить, что, чувствовавший себя хозяином положения и полновластным представителем царя, Бекович хотел отрешить ненавистного ему Кожина, которого считал соперником в будущих подвигах, от путешествия в Индию и осуществить мечту Петра собственными силами.

С другой стороны, Кожин, получивший сообщение о настроениях Хивинского хана от задержанных в Хиве русских посланцев и предупрежденный ханом Аюкой, считал вооруженное посольство во враждебный край гибельной авантюрой и пытался предотвратить трагедию.

Ему категорически не нравилось то, что делал Бекович, поскольку он видел немедленные результаты этой спешки.

«И генваря де 18-го числа нынешняго 717-го году прибыли они с ним, Черкасским, в Тюк-Кара<га>нь, где оставлен был полковник Хрущов; в том месте города сделано было одной стены сажен на сорок или чем малым болши, вышиною два аршина, кладен камень не смазывая; в то число в том месте было болных солдат и матрозов с семь сот человек, умерло со сто с дватцать человек...»

Бековича эти «санитарные потери» явно не смущали. Недаром он был любимцем Петра.

Дальнейшая судьба флота поручика Кожина и типична и своеобразна.

Известно, что он учился в навигацкой школе в классе астрономии. Как одаренный ученик послан был для совершенствования в Англию, где выучил английский язык. В 1714 году он был уже в России с сертификатом от английского капитана, удостоверяющим его профессиональное достоинство.

В комплексе документов Военно-ученого архива, посвященных «Каспийскому проекту», к нему относится еще один, последний документ — «Письмо С.-Петербургских сенаторов к сенаторам, пребывающим в Москве».

«15 января 1718. <...>

Высочайшие господа Правительствующаго Сената.

По его царского величества имянному указу повелено, для осмотра новопостроенной крепости, которая при море Каспийском, и в ней людей, послать нарочного из офицеров доброго и с ним Александра Кожина. А сего генваря 8-го дня писали мы до вашей милости, дабы вы изволили доложить царскому величеству, что для осмотра помянутой новопостроенной крепости оных, офицера и Кожина, посылать ли, и буде посылать, кого из офицеров? А ныне мы оного Кожина отправили в Москву, и когда оной Кожин явится, изволте о посылке его доложить его величеству; и когда послать будет повелено, изволте указы отправить от себя. А замедление во отправлении его, Кожина, учинилось того ради: доносил он нам, что по имянному царского его величества указу повелено было ему перевести книгу на Аглинском языке, а когда оную перевел, мы его и отправили».

То есть Петр не только освободил Кожина от наказания за явное и демонстративное нарушение дисциплины и субординации, но поручил ему перевод какой-то книги по его специальности. И Кожин перевел ее не более как за полтора месяца.

Не совсем понятно, о какой «новопостроенной крепости» идет речь. Вероятно, не очень осведомленные сенаторы имели в виду все, что было воздвигнуто погибшим Бековичем. Теперь нужно было решить, имеет ли смысл сохранять эти укрепления и содержать там гарнизоны.

Делалось это по прямому указанию Петра, решавшего судьбу своего «Каспийского проекта».

Кожину предстояло определить целесообразность удержания восточного берега Каспия. Как мы увидим, его вмешательство не понадобилось. Но за время пребывания на Каспии в 1718—1719 годах он проделал внушительную работу. Его описания и карты берегов Каспия вошли как важная часть в «генеральную» карту этого малоизвестного европейцам моря, которая была отправлена русской Академией наук в парижскую Академию наук.

Но высота самооценки и резкость характера Кожина явно не уступали таковым его соперника Бековича, который тоже учился в Европе «морскому делу». Но «буйство» петровских «птенцов» не даром было и осталось притчей во языцех. Будучи в Астрахани, он попал под следствие за «сожителство с женой лекаря Шилинга». А вскоре обер-комендант Астрахани Михаил Чириков подал жалобу на нашего героя за «самовольные и незаконные поступки»,

а затем на него пожаловался и его сотоварищ по исследованию каспийских берегов, князь Урусов. Тут уже дело было весьма серьезное. Кожин обвинялся не просто в неподчинении приказам, но в возбуждении людей к неповиновению. Степень серьезности дела была такова, что в Астрахань послали для проведения следствия гвардии капитана Богдана Скорнякова-Писарева, брата обер-прокурора Сената Григория Скорнякова-Писарева, уже в то время специализировавшегося на следственном деле.

Кожин был уволен с флота, разжалован и отправлен в Сибирь на усмотрение сибирского губернатора.

И след этого незаурядного человека теряется.

Возможно, как и в случае с Бековичем, Кожина возмутили нерациональные действия его начальства и коллег, и он пытался их действиям противостоять.

Лирическое отступление. В 1982 году я был в Красноводске. Разумеется, берега залива выглядели не так, как в 1716 году. У причалов толклись небольшие суда, берег был застроен портовыми сооружениями, за ними виднелись многоэтажные здания города... Но все это можно было небольшим усилием исключить из своего восприятия. Природная основа была столь выразительна, что легко было представить себе вид бухты до этого нагромождения чужеродных объектов.

Подплывавшим с моря Бековичу и Кожину со товарищи открывалась мрачная и по-своему величественная картина. Бухта было отделена от пустыни полукругом высокого, голого черно-коричневого хребта. С этой мрачной стеной контрастировали ярко-желтый прибрежный песок и зеленая вода. У берега вода была густая и мутная.

Яркость красок и четкость очертаний усиливались беспощадным солнцем. Из пустыни накатывались волны жара.

Коса, на которой Бекович велел ставить «город», тянулась в море много километров от правого окончания бухты, если смотреть с берега. Крепость строили на дальней оконечности косы. В 1982 году это был остров. Изначально море промыло середину косы, а затем, уже в советское время, был прорыт широкий канал, чтобы судам, идущим в Красноводск из Баку, не приходилось делать многокилометровый крюк.

На образовавшемся острове, где некогда стояла крепость, вырос небольшой поселок в несколько сотен жителей. Единственная связь с материком в мое время — пассажирский катер «Алмаз», ходивший раз в сутки. Расстояние около сорока километров, время в пути порядка двух часов. Воды на острове не было. Ее возили в корпусе старого катера, переделанного под цистерну. Тащил этот импровизированный танкер маленький буксир.

Представить себе изначальную картину, ту, которая отрылась перед русскими солдатами и матросами в 1716 году, во всей ее зловещей величественности, можно, только побывав там, испытав этот солнечный жар и вдохнув этот воздух.

Бекович оставил у Красных Вод два полка, поскольку крепость мыслилась основным опорным пунктом для дальнейшего продвижения в глубь

материка. Сличая штатную численность полка в 1200 штыков и вычтя три роты, оставленные в Александровой крепости, получаем гарнизон Красноводской крепости — около двух тысяч.

Как мы уже знаем, тяжелые испытания начались для гарнизонов крепостей немедленно.

25 июня 1717 года (отряд Бековича в пути к Хиве) астраханский оберкомандант Чириков доносил начальству: «Июня 25 числа, объявлял мне словесно и казал имянную роспись подполковник Девизик, что он посылан был в Тюк-Караган от князя Черкасского и видел, что померло офицеров, и солдат по маяя последния числа болши пяти сот человек».

А вскоре, 13 июля 1717 года, тот же Чириков писал Кожину, который уже находился на пути в Петербург: «Государь мой Александр Иванович, многолетно и благополучно здравствуй на веки.

Доношу вашему благородию, после отъезду вашего из Астрахани на третей день или на четвертой Рентель прибыл в Астрахань и сказывал мне, что у них на Красных Водах людей померло гораздо много, а числом не сказал сколько померло и что живых осталось; токмо писал письмо полковник фон дер Виден, что у них осталось людей здоровых двести человек в обоих полках да болных семь сот человек, а те все померли. <...>

При сем верный ваш, моего государя, слуга *Михайла Чириков*

Последняя сказывал мне капитан Нейман, что к осени не будет никого».

Чириков понимал, что Кожину эти страшные сведения понадобятся в Петербурге для оправдания.

Это тот самый Чириков, который через три года отдаст Кожина под суд...

Стало быть, если верить этим сведениям, то у полковника фон дер Вейдена из двух тысяч человек осталось девятьсот, из которых семьсот больных.

Но крепости у Красных Вод грозили не только болезни. О ее судьбе беспокоился и хан Шергази.

30 декабря 1717 года казанский губернатор Салтыков доносил Сенату о положении Красноводского гарнизона: «...Хивинской же де хан посылал посланника к Текеюмутовцом с тем, буде де вы с нами служить хотите, и вы де подите на Красные Воды на Руских людей войною и возьмите город <...> и они де Трухменцы с ними не пошли, и Текеюмутовцы, разделясь надвое, били боем на Красные Воды одни на утренней заре и въезжали де в город Текеюмутовцов тритцеть человек, и из них побии Руские двенатцать человек до смерти, а они де Руских убили два человека...»

Миллер в «Описании Каспийского моря...», пользуясь неким другим источником, предложил более конкретную картину. «...В Красноводской крепости претерпел полковник фон дер Вейден еще нападение от Трухменцов. Сей неукротимый народ, который прежде весьма ласкал Россиянам и обещал служить и помогать во всех их предприятиях, думал толь же легко, как Хивинцы с Бекеничем, управиться с сим остатком Российского войска. Добыча съестных припасов, которую они получают, и пленники, коих они могут продавать невольниками в Хиву и Бухарию, придавали им смелость. Но шанцы из мучных кулей, которые полковник фон дер Вейден велел набросать на перешейке, коим Красноводский полуостров соединяется с твердою землею,

были в состоянии удержать неприятелей. Как часто они покушались переступить мучные шанцы, то были они назад отбиваны с великим их уроном. Напоследок фон дер Вейден не хотел больше вдаваться в сию опасность. По отходе его служили шанцы голодным неприятелям на пищу. Но 400 человек солдат его команды разбило на двух судах о камень на западном берегу Каспийского моря, из коих токмо немногие спаслись».

Реальная ситуация оказалась не менее драматична, но более сложна.

В 1716 году господа сенаторы занимались не только организацией похода Бековича, но выполнением другого указания Петра — отправкой в Персию посольства подполковника Артемия Волынского.

Имеется постановление Правительствующего сената от 16 мая 1716 года «о перевозке подполковника Волынского в Персию» на торговых судах. Этим же постановлением определялся характер финансирования починки и постройки судов для князя Черкасского.

Это был долгий процесс. Волынский отправился в путь только в августе того же года. До столицы Ирана Исфахана посольство добралось весной 1717 года, а в обратный путь двинулись 1 сентября.

То, что Петр решил одновременно действовать и на западном и на восточном берегу Каспия, свидетельствует о его неукротимом желании осваивать Азию.

Дорогу в Индию можно было прокладывать и через иранские земли.

История посольства Волынского не имеет непосредственного отношения к нашему сюжету — судьбе Красноводского гарнизона, хотя известно, что экспедиция Бековича и строительство крепости у Красных Вод беспокоили шахское правительство, поскольку на этих землях кочевали туркмены, считавшиеся подданными шаха. И это обстоятельство предопределило недоверие и враждебность персов к посольству и существенно помешало его переговорам.

Но для нас в данном случае важно не это.

История посольства Волынского подробно документирована, поскольку существует журнал-дневник Волынского с ежедневными записями и многочисленные донесения посланника на всех этапах самому Петру и канцлеру Головкину.

Но в материалах Военно-ученого архива Главного штаба имеется документ, который, с одной стороны, существенно обогащает наши знания о судьбе Красноводского гарнизона, а с другой — задает неразрешимую загадку.

20 марта 1718 года обер-комендант Астрахани Михаил Чириков отправил казанскому губернатору Салтыкову «отписку» «с сообщением полученных им известий о посланнике Волынском и распоряжений, учиненных им для оказания помощи Красноводскому гарнизону, потерпевшему от кораблекрушения».

Чириков сообщал, что в декабре 1717 года он послал в Шемаху, где находился возвращающийся из Персии Волынский, «Юртовских Татар Илметета да Тартара для известия про оного посланника Волынского и полковника Фандер-Видена, где обретаются и что тамо чинится».

Курьеры Чирикова возвратились 4 марта 1718 года и привезли письма от Волынского, которые он по требованию посла немедленно отправил в Москву государю.

Но Волынский прислал Чирикову и личное письмо, содержание которого обер-комендант подробно пересказывает. И то, что в пересказе Чирикова сообщает Волынский, не соответствует устоявшейся версии событий.

«Да писал ко мне особо, что де он посланник в Шемаху прибыл, но за настоящею зимою тамо до марта месяца пробывать намерен, и ежели не в начале, то по крайней мере в половине месяца в Низовую (поселение-гавань, которой активно пользовались русские и персидские купцы. — Я. Г.) поедет и там будет судов морских ожидать, понеже тамо он апреля дожидаться боится, что в прошлой весны и лето великое поветрие (холера? чума? — Я. Г.) в Шемахе служило, того ради может быть и в предбудущую весну отпрыгнет...»

И посланник требовал скорой присылки морских судов.

Но далее в пересказе Чирикова произошел сюжетный сбой. По его рассказу получается, что Волынский побывал у Красных Вод и руководил эвакуацией гарнизона, что вполне невероятно.

Сообщив угрозу Волынского — «...а ежели де умедлю прислать, то причастны к их смерти будем», — Чириков продолжает явно от лица Волынского: «Красновоцкую пристань пусту оставил и, совсем забрався, оттуды октября 3-го числа с тринадцатю судами вышел в море, а намерен был возвратиться к Астрахани; но понеже штурм (шторм. — Я. Г.) им такое препятствие учинил, что суды их все врознь рознесло и многия погibli, толко люди спаслися, кроме одной бусы, которая совсем потонула, протчия три бусы зимуют в Низовой, при которых и маеор Бобынин; в урочище Бармаке с разбитых двух бус зимуют несколько офицеров и солдат; в устье Куры реки с Фондер-Виденым пять судов, да и в Гиляне на устье Янгуры реки розбило одну шняву и одну бусу, с которых там капитан Макшеев и человек со сто солдат зимуют и помирают с голоду, того ради чтоб и для их особливья нарочно прислать суды и забрать всех, также и правианта прислать на них, понеже де у них весь потонул, и того ради на море им есть нечего будет. И был де у него маеор Бобынин, и по ведомости его с ними человек с четыреста, а правианту у них на март не будет, того ради, чтоб и к ним на месяц правианта к походу их прислали...»

Из дальнейшего рассказа получается, что именно посланник, то бишь Волынский, просит «не так о себе, как об них, чтоб по них суды скорее прислать, чтоб им не весновать тамо, ибо великия беды из того будут, понеже тамо от них зело подозрительны, в чем де и ему не имут веры; впротчем оным прежде присылки иттить невозможно, и чтоб протчия писма, которыя он посланник прислал в Астрахань, послать на нарочной почте, с добрым офицером, в Москву».

Судов за посольством Чириков не послал. Волынский еще долго был в Шемахе в ситуации весьма опасной, но провиант, смолу и железные скобы для ремонта разбитых судов терпящим бедствие отправил.

Можно предположить, что приказ оставить Красноводскую крепость пришел фон дер Вейдену через Волынского. Сам он там, безусловно, не был. Но неясность остается.

Зато проясняется ситуация с численностью выживших в конечном счете офицеров и солдат Красноводской крепости.

Четыреста человек майора Бобынина — это, очевидно, основная часть спасшегося красноводского гарнизона. Если прибавить сто человек капитана Макшеева и «несколько офицеров и солдат» в урочище Барнаке, то получается более пятисот человек. О каком-либо личном составе при полковнике фон дер Вейдене не упоминается.

Если вспомнить, в каком темпе умирали солдаты при Красных Водах, то число выживших из двух тысяч представляется вполне правдоподобным. Надо учесть и неизвестное нам число солдат, погибших при крушении судов.

Можно представить себе, какой силы был шторм, если он занес этот флот на противоположный, западный берег Каспия. Например, устье Куры расположено значительно южнее Баку, напротив которого на восточном берегу стояла крепость.

9

На этом можно было бы и закончить эти скорбные подсчеты, если бы мы не располагали еще одним и, казалось бы, непрерываемым источником.

В Российском государственном военно-морском архиве в фонде генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина хранится «реестр» потерь Красноводского гарнизона.

В реестре сказано, что Бекович оставил в крепости 1293 человека.

Но как это сочетается с утверждением в документах Военно-ученого архива, что гарнизон состоял из двух полков — Крутоярского и Риддерова? Штатный состав полка в это время состоял из 1350 офицеров и солдат. Стало быть, даже при некотором некомплекте гарнизон не мог быть меньше 2060 штыков.

В том же «реестре» зафиксировано, что от болезней во время пребывания у Красных Вод в полках умерло 763 человека, а при эвакуации во время крушения погиб 191 человек.

Стало быть, от гарнизона осталось 339 человек.

Но данные, которыми мы располагаем, — свидетельство обер-коменданта Астрахани, получившего эти свои цифры по горячим следам событий, — говорят о почти вдвое большем числе выживших.

Причем речь, судя по всему, у Чирикова идет именно о гарнизоне у Красных Вод — без учета сведений о гарнизонах двух других крепостей, очевидно, эвакуировавшихся ранее.

Какому бы источнику ни доверять, ясно, что гарнизон неуклонно и мучительно вымирал, теряя основную часть своего состава. Причем отнюдь не в боях.

В каждом полку по штату было девять рот. Стало быть, если вычесть три роты, оставленные в Александробаевой крепости, то в крепости Красноводской стояло пятнадцать рот. В каждой роте полагались три офицера — капитан, поручик и прапорщик. То есть даже при некотором некомплекте, а это маловероятно при настойчивости Бековича, в гарнизоне должно было быть порядка сорока офицеров.

В донесении Чирикова названы только трое — полковник фон дер Вейден, майор Бобынин, командир батальона, и один только ротный — капитан Макшеев. Судьба остальных понятна.

Бекович, выученик своего государя, прекрасно знавший условия существования в этом зловещем пространстве, оставил гарнизоны крепостей, и особенно Красноводский, гарнизон на верное вымирание.

Когда он со своим корпусом шел на Хиву, ему уже были известны потери в крепостях.

10

При всем при том нам останется невнятной страшная судьба красноводского гарнизона, если мы не постараемся представить себе те условия, в которых эти русские люди провели полтора года.

В июле 1764 года Красноводский залив посетила экспедиция инженер-майора Ладыжинского. Ее задачей было уточнить очертание восточного берега Каспия, но главное, секретное задание — выбор места для постройки крепости.

Ладыжинский, естественно, вел подробный дневник, записи в котором многое объясняют в трагедии Красноводского гарнизона.

«23-го числа, поутру, в 5-м часу ездил я с конвоем на двух лодках и на яле на берег, взяв с собою оставшегося у нас Трухменца, который обещал мне показать Бековичеву крепость».

Прошло без малого полвека, а память о попытке русских освоить и закрепить за собой эти места была достаточно свежа у кочующих здесь туркмен.

«Доехавши до Красной воды, увидели мы, что косу всю промыло водою, а крепости никаких признаков не видно, ибо все то место размыло водою и поросло мелким камышом, а займище во многих местах так мелко, что ял наш на мель становился; однако, по показанию Трухменца, пробрались мы камышом до самого того острова, где, по объявлению его, был крепостной вал, песком насыпанный и досками намощенный, которые доски при оставлении крепости были сожжены. Взошед на островок, который подлинно вышел в камыше наподобие бастиона и песок улегся гораздо тверже, нежели в других местах, велели в двух местах рыть ямы. На 3-х футах показалась вода соленая, а между тем вырыто несколько угольев и найдено в разных местах камней до 10-ти, каковых на всей косе природных нет и, как видно, привозимы были с гор. Трухменец объявил еще, что с нагорной и восточной стороны вал был снаружи огорожен деревянным забором, а на одном углу была сделана каменная башня, которая 4 года назад еще была видна сверх воды, и указывал нам место, где она стояла».

В этом месте под водой действительно обнаружили россыпи камней.

Их постоянно мучила тяжелая жара, истощались на судах запасы пресной воды.

Выходы на берег сопровождалась немалыми испытаниями. «Солнцем и песком снизу и сверху жгло немилосердно; к тому же и комары привели нас всех в слабость».

Они крейсеровали вдоль этих берегов полтора месяца и могли полностью оценить, что происходило с гарнизоном Красноводской крепости.

«18-го числа (августа. — Я. Г.) в 5 часов поутру снявшись с якоря, продолжали путь в параллель с восточным берегом острова Идака; больных на судне стало отчасу больше умножаться. Из моего конвоя 4 гренадера и 4 канонира лежали неподвижно, а таких, у коих распухли от цинги ноги, более 10-ти чел<овек> на одном нашем судне, а морских служителей во всю кампанию больных гораздо больше было».

Они упорно старались отыскать источник пресной воды.

Ладыжинский записывал в свой журнал: «Идучи обратно к берегу в двух от оного верстах, нашел два горячие колодези, из которых также ручейки протекали в долину. Вода в них так горяча, что рука терпеть не может, хотя по виду она и не кипучая. Вкусом она так солонна, что, обмоча в ней руку, чувствовал трое суток на руке соль...»

Инженер-майор пытался все же понять, как можно выживать в этих местах. Обнаружив кострище, возможную стоянку туркменов, он «велел рыть вокруг онаго места ямы и, не нашед пресной воды, велел разгребать самый пепел и, вырыв яму глубиною до 5-ти фут, оказалась вода почти пресная, только несколько солодковатая; но как ее посмаковавши проглотил, то такую горечь почувствовал, что и чрез великую мочь до судна доехал, да и до самого вечера оную горечь чувствовал. Итак, надежда наша скоро в ничто обратилась».

За полтора месяца крейсирования вдоль восточного берега в районе Красных Вод экипажи экспедиционных судов пришли в катастрофическое состояние.

«Подлекарь Аршинов по команде морскому командиру³⁷ представлял письменно, что как морские, так и сухопутные служители, одержимые цинготною болезнью, сказываются больными уже тогда, как им ходить не можно будет, отчего и в пользовании их успеха быть не может. Кап<итан> Морской, дав мне о сем знать, согласился со мною всю команду пересмотреть и по осмотре нашем с подлекарем явилось из моего конвоя на *С.-Павле* с толмачом 12 чел<овек>, у коих уже и ноги распухли, сверх прочих больных, которые уже и с места не трогались, а на галиоте *С.-Петре* 9 человек морских на обоих судах гораздо больше было, так что всех больных морских и сухопутных было 60 чел<овек>, кроме кап<итана> Морского и меня, ибо я и сам уже более недели в ногах лом чувствовал и в деснах боль. На судне нашем было всех чинов до 80-ти чел<овек>, а больных бóльшая из того половина <...>».

20-го числа стояли на якорю на прежнем месте. Капитан над портом призывал меня в совет и представил со всеми своими обер- и унтер-офицерами, которые на галиоте *С.-Павле* все до одного были одержимы цинготною болезнью, а офицеры насилу и ходить могли, что за умножившимися болезнями, а к тому же и за недостатком пресной воды он далее опись продолжать не может и, по мнению его, надлежит заехать в ближайший от нашего пути в Астрахань Персидский порт, где, по знанию его тамошних мест, воздух здоровее прочих Персидских городов и, взяв потребное число бочек пресной воды, следовать в Астрахань».

Результатом экспедиции было подробное исследование значительного участка восточного берега, констатация враждебности воинственных туркменских кочевий и полная невозможность возобновить на берегу Красноводского залива укрепленное поселение.

Если за полтора месяца болезни уложили бóльшую часть экипажей судов, притом что в море жара переносится легче и воздух чище, то легко себе представить каково было офицерам и солдатам Красноводского гарнизона.

Перед тем как окончательно отплыть от Красных Вод, Ладыжинский и «морской капитан» распорядились соорудить монумент неизвестного нам вида — скорее всего, из оставшихся от крепости камней — и на одном из них выбили надпись: «В пустыне дикой вас, братья, мы нашли и тихой молитвою ваш прах почли».

Они-то прекрасно поняли, что пришлось перенести их братьям, покоящимся под тяжестью сырого от близости воды песка.

Практический вывод Ладыжинского был категоричен: «Что же касается до удобства к поселению людей или к заложению крепости, то за неимением по берегам оногo залива пресной воды, а паче за весьма нездоровым воздухом за наихудшее на всем восточном берегу Каспийского моря место почитать должно, ибо в оном заливе почти целый месяц ни одной птицы по берегам не видно было, а только люди день ото дня в слабость приходили, так что за великою одышкой напоследок и на берег съехать было не с кем».

Любимца Петра, гвардии капитана князя Александра Бековича-Черкасского, подобные соображения не остановили. Он выполнял предписания своего государя. Любой ценой.

Это был, быть может, самый жестокий и характерный эксперимент их тех, которые производили Петр и его сподвижники над своими солдатами.

А через полторы сотни лет, в 1869 году, на берег Красноводского залива высадился отряд полковника Столетова. Начиналось системное завоевание Средней Азии.

Была поставлена сильная крепость — уже не на косе, а на берегу — и основан город Красноводск. Вскоре были сооружены опреснители.

На месте исчезнувшей крепости, над братской могилой петровских солдат и офицеров, был поставлен монумент (к сожалению, неизвестного нам облика) с надписью «Красноводский отряд сподвижникам Петра I».³⁸

Лирическое отступление. Когда я плыл на катере «Алмаз» на остров Кизыл-Су, я уже представлял себе, что меня там ждет.

О том, что на острове есть могила петровских солдат, мне рассказал ответственный секретарь красноводской газеты «Знамя труда» Анатолий Васильевич Ленский.

Приветливые и милые молодые женщины в Красноводском краеведческом музее рассказали историю сохранения и реставрации памятника на могиле. Правда, тот памятник, который мне предстояло увидеть, наверняка сильно отличался от своего предка XVIII века. Он вообще обречен был на разрушение, если бы в середине тридцатых годов XX века рыбаки моторной

станции, стоявшей на косе Кизыл-Су, не обратили внимания на руины монумента и не восстановили его как умели.

Катер «Алмаз» ходит на остров раз в сутки — туда и обратно.

Жители поселка плавают в Красноводск по делам, на работу, в магазины. Своя жизнь...

В этот раз плыли из города в поселок глазным образом женщины и девушки-туркменки в ярких платьях и платках, которые казались еще ярче от солнца.

Было и несколько русских мужчин. Тридцатилетний Женя живет на острове. Служил в армии, в Сибири, вернулся на Кизыл-Су, на родину.

«Алмаз» подошел к деревянному причалу. Как и у берегов материка, вода была молочно-зеленая. В заливе и тем более в открытом море она поражает своей холодной зеленоватой прозрачностью.

Катер встречала целая толпа — веселые, смуглые, перемазанные ребятишки, пестрые женщины. Мужчины сидели на краю какого-то деревянного помоста — русские и туркмены. Все курили, спокойные, безмятежные.

Женя повел меня к могиле. Ноги утопали по щиколотку в песке с изрядной примесью битого стекла. Мы старались идти по остаткам деревянных тротуаров.

Прошли около километра. Миновали поселок. Вышли на пустырь.

Кругом песок, перемежающийся крупными песчаными же кочками, на каждой из которых сидел, распластавшись, жесткий блеклый куст. Неуютная картина.

Несколько крестов в изголовьях низких песчаных холмиков — русское кладбище.

Невдалеке кроны деревьев, которых во времена Бековича и Ладыжинского здесь не росло. Там — мусульманское кладбище.

За крестами — выкрашенный серебряной краской обелиск-пирамида, как на условных солдатских могилах в Центральной России.

На усеченной вершине пирамиды — металлический шар. На шаре стоит крест. Таким монумент стал в 1934 году.

Спасибо рыбакам.

Было тихо. Только песок слабо шуршал сам собой...

Помню, что я испытал странное и гнетущее чувство от сознания, что здесь, под ногами, под этой песчаной толщей лежат кости сотен русских солдат.

Каково им здесь было — поверстанным в рекруты на Псковщине, Рязанщине, Тамбовщине и заброшенным неумолимой волей в этот страшный край. Каково им было день за днем, больше года наблюдать восход яростного солнца: с одной стороны бескрайнее чужое зеленое море, с другой — горизонт закрывает угрожающий черно-желтый хребет Куба-дач. (Впрочем, они не знали его названия.)

Жара, знойный ветер из пустыни летом, холодный, сырой, хлещущий ветер с моря зимой. И хоронить, хоронить, хоронить своих товарищей в этом песке, по которому то и дело ползают длинные, смертельно ядовитые змеи.

Вот он — ад.

Удивительное дело, прошло сорок лет, но я часто вижу эти картины — ярко-желтый, ощутимо горячий песок уходящей в море косы, бухту с молочно-зеленой водой у берега, отгороженную от мира угрюмым черно-коричневым хребтом, за которым угадывается такая же бескрайняя, как и море, пустыня.

Тогда, стоя у могилы петровских солдат, я сказал себе, что должен написать роман о судьбе гарнизона Красноводской крепости, оживить этих людей. Не получилось и вряд ли получится. Хотя время от времени вспоминаю этот замысел — роман «Гарнизон». Ну, так хоть эта глава...

11

Неизвестно, насколько тщательно Петр изучил причины тяжелой неудачи Каспийского проекта 1714—1717 годов.

На последнем этапе, в 1716 и 1717 годах, его мысли помимо войны и сложных отношений с европейскими государствами занимало «дело» Алексея, которое в 1717 и первой половине 1718 года держало его в особом напряжении. Быть может, поэтому он не вмешивался сам в ход событий и легко, на первый взгляд, закрыл проект.

Но только на первый взгляд. Исключив для себя правый берег, он сосредоточился на левом — западном. Тем более что «проблемы Алексея», по видимости, уже не существовало. А последствия невозможно было оценить сразу.

Миссия Волынского и все, что было с ней связано, безусловно, мыслилось Петром как подготовка к попытке прорыва в Азию по западному берегу — через Персию.

Прямым следствием, началом нового «Каспийского проекта» стал Персидский поход.

10 сентября 1721 года в шведском городе Ништадте, на территории Финляндии, был подписан мирный договор, положивший конец более чем двадцатилетней Северной войне.

Страна была разорена тяжкими налогами и рекрутскими наборами. Казна была пуста.

В июне 1722 года, через восемь месяцев после окончания Северной войны, началась «юго-восточная» — двухлетняя война, отягощенная растянутыми коммуникациями, непривычными климатическими условиями и столкновением с принципиально новым противником.

Имеются в виду не ополчения персидских ханств, не представляющих собой сколько-нибудь грозной боевой силы, а горские народы, с которыми русские соединения столкнулись, следуя через Дагестан.

В нашу задачу не входит подробное описание Персидского похода, хронологически выходящего за рамки нашего главного сюжета, но сам факт этого события важен для понимания сути идеологии Петра.

Равно как нужно понимать, что именно тогда и было положено начало Кавказской войны, которая закончилась формально в 1864 году. То есть продолжалась 142 года, став самой продолжительной войной в мировой истории.

Для того чтобы представить читателю точку отсчета, стоит привести свидетельство офицера-иностранца, принимавшего участие в походе. Этот

документ определен в исторической науке как «Дневник поручика Ингерманландского полка, принимавшего участие в Персидской войне. 1721—1724».

Хронология войны расширена по отношению к собственно походу вполне закономерно — она захватывает подготовку и непосредственные последствия вторжения русской армии на побережье Каспия и в Дагестан.

В этом дневнике есть принципиально важные утверждения, связывающие общий замысел Персидской войны с операциями против дагестанских горцев.

В частности, он записывает в «Дневнике» за 1722 год: «11 апреля была объявлена война татарам, иначе называемым Эндиреевские владетели...» То есть изначально в армии поход представлялся некой карательной экспедицией против кумыков, населявших селение Эндери и окружающее его пространство — Кумыкскую плоскость. Владетели Эндери неоднократно совершали набеги на российские земли, населенные казаками. Артемий Волинский, будучи в это время астраханским губернатором, уже делал не слишком удачные попытки «наказать» эндиреевцев. А полки драгун, шедших к Каспию через Дагестан, подверглись нападению горцев и понесли немалые потери.

Но, не вдаваясь в подробности, приведем характерную и многообъясняющую запись.

«19-го (августа. — Я. Г.) раздалось два пушечных выстрела, в 2 часа пополудни, из нашего лагеря. На возвышенных холмах показался отряд татар (кумыки. — Я. Г.) Казаки, которые первыми заметили врага, не стали действовать без команды до тех пор, пока не прибыл Е. В., который сам командовал своей дивизией (и бригадир Ветерани с бригадой, которая прикрывала два фланга пехотной дивизии), и тогда казаки получили приказ (поскольку татары уже начали спускаться с гор) атаковать врага, что и произошло, и стычки продолжались до вечера. Кавалерия также преследовала врага до близлежащих селений. Генерал-майор Кропотов атаковал эти деревни, сжег их и приказал убивать всех, кто там был. Селение, где находился Султан Махмут, постигла та же участь, что и другие селения. В тот же день взяли пленными 22 человека, среди которых оказался один священнослужитель, и, как кто-то подсчитал, татары потеряли 700 или 800 человек, а мы — не более 20 или 30 драгун убитыми и ранеными, 20 казаков убитыми и ранеными. Инфантерия в тот день оставалась на месте до вечера, пока мы не прибыли на место, в пикете.

20 августа рано утром бригадир Барятинский получил приказ выступить, с 4 батальонами пехоты, к селеньям, для поддержки кавалерии. Вся пехота отступила к прежнему лагерю, и ждала там тех, которые были командированы; они вернулись в тот же день с новостью, что повсюду, где прошла кавалерия, она все пожгла и всех убила.

В тот же день пленные татары были допрошены с большим пристрастием, однако они так упорствовали, что не пожелали ни в чем сознаться, поэтому Е. В. приказал, чтобы одни из них были посажены на кол, а другие колесованы и повешены, что и было исполнено также

21-го утром при нашем снятии с этого лагеря; Е. В. повелел обрубить одному из них нос и уши и послать с манифестом, и он тут же отправился с таким

смешным посланием, что ему никогда уже не придется сражаться с этой державой, но однако он будет носить ей хлеб и воду». ³⁹

Таково было начало взаимоотношений с горскими народами.

И, судя по тону дневника, его автор, молодой офицер-европеец, перешедший в русскую службу из прусской армии, считал происходящее вполне нормальным.

Масштаб приготовлений к походу, количество войск и решительность, с которой вел себя Петр, свидетельствовали о далеко идущих планах.

Это был гипноз азиатских возможностей, необъятность этих возможностей, призрак «золотых стран Востока», близость границ Индии. Великий мираж, гипнотизирующий людей этого типа, сознающих свое предназначение.

Через семьдесят четыре года молодой Ермолов, пришедший на берег Каспия под знаменами молодого Валериана Зубова, ощутил это дуновение небывалой славы и еще через два десятка лет стал весьма предметно разрабатывать планы разрушения Персидского государства, чтобы открыть дорогу в глубины Азии, к границам Индии. В 1819 году он отправил капитана Генерального штаба Николая Николаевича Муравьева в Хиву, где тот едва не погиб, как Бекович, причем одной из задач было отыскание оптимального пути в Индию.

А через два года, в 1821 году, полковник Муравьев отправился на правый берег Каспия для переговоров с туркменскими племенами относительно союзничества в возможной войне с Персией.

Можно сказать, что индийские замыслы Петра оказались тем электрическим разрядом, который наэлектризовал атмосферу XVIII—XIX веков на сотню лет вперед.

Наполеон наверняка интересовался российской историей и не мог не знать военную биографию Петра.

Осенью 1799 года Павел I решил на союз с Бонапартом, и первой совместной акцией мыслился поход на Индию.

12 января 1800 года Павел приказал донскому атаману Василию Орлову поднимать Войско Донское и отправляться в поход.

Через некоторое время из ссылки был освобожден Матвей Платов, который и должен был возглавить казаков.

Историк, комментировавший этот удивительный эпизод, пишет: «Маршрут их похода прокладывался скорее исходя из известных названий, чем из политических и государственных реалий Средней Азии. Добравшись до Оренбурга и переправившись через Яик, казаки должны были затем отправиться в Хиву и Бухару, откуда, как предполагали, до Инда достаточно близко». ⁴⁰

Легко представить себе печальную судьбу донских сотен, если бы не мартовское царевубийство. Особенно если учесть, что это был зимний поход и донцов ждали за Оренбургом свирепые метели, а лошадей бескормица.

Разумеется, не Бонапарту принадлежал этот план. Павел, ориентированный на Петра по стилю управления, но без его талантов — вспомним надпись на монументе у Михайловского замка: «Прадеду Правнук», — в наименьшей степени склонен был игнорировать презренную реальность.

Бонапарт тщательнейшим образом разработал план совместного похода французской и русской армий в Индию.

«Павел I даст повеление о сборе в Астрахани армии в тридцать пять тысяч человек, из которых двадцать пять тысяч регулярных войск всех родов оружия и десять тысяч казаков.

Этот корпус сразу же сядет на суда и отправится в Астрабад, чтобы дожидаться там прибытия французской армии.

Астрабад станет главной квартирой союзников. В нем будут все магазины, военные и продовольственные; он станет центром сообщений между Индостаном, Францией и Россией.

От Рейнской (французской) армии будет откомандирован корпус в тридцать пять тысяч человек все родов оружия. Эти войска будут посажены на суда на Дунае и спустятся по этой реке к ее устью».⁴¹

Судя по точности хронологических подсчетов движения армий и знания множества географических и прочих деталей, Бонапарт имел достаточно подробное представление и о походе Петра, и о походе Валериана Зубова в 1796 году перед Египетским походом. Поскольку прорыв в Индию был одним из вариантов продолжения Египетского похода, для Бонапарта, с его профессиональной тщательностью интересоваться прецедентами и существующим опытом, это было естественно.

Знакомый нам Астрабад возник не случайно.

Бонапарт высчитал до дня весь график продвижения обеих армий, продумал систему снабжения и характер коммуникаций. Стратегию и тактику похода.

Ничего общего с импровизацией нетерпеливого Павла, рвавшегося насолить ненавистным англичанам.

Павел был убит. Совместный поход не состоялся, но Индия осталась некоей *idée fixe* Наполеона и после того, как он стал хозяином Европы, этой «кротовой норы».

В воспоминаниях Талейран приводит проект договора, который должны были подписать в Эрфурте — в сентябре — октябре 1808 года — Наполеон и Александр I. Договор был составлен под диктовку Наполеона. Там в Статье V было сказано: «...условие *sine qua non*, от которого высокие договаривающиеся стороны обязываются никогда не отступать, будет заключаться в том, чтобы Англия признала, с одной стороны, присоединение Валахии, Молдавии и Финляндии к Российской империи, и с другой — Жозефа-Наполеона Бонапарта королем Испании и Индии».⁴²

Он, стало быть, мечтал создать Индийское королевство, включив его в орбиту своей империи.

Наполеон всегда подходил к делу с профессиональной тщательностью.

Во времена Египетского похода молодой Бонапарт мечтал: «Армия в 60 000 человек, посаженная на 50 000 верблюдов и 10 000 лошадей, имея с собой запас продовольствия на 50 дней и запас воды на 6 дней, достигла бы за 40 дней Евфрата и через 4 месяца оказалась на берегу Инда».

Через девять лет, 2 февраля 1808 года, Наполеон писал Александру, предлагая ему фактический раздел мира, что он намерен движением на Балканы

и морским десантом разгромить Турцию и в Константинополе соединиться с русской армией, наступающей с материка.

А затем: «Армия в 50 000 человек, наполовину русская, наполовину французская, частью, может быть, австрийская, направившись через Константинополь в Азию, еще не дойдя до Евфрата, заставит дрожать Англию и поставит ее на колени перед континентом. Я могу начать действовать в Далмации, Ваше Величество — на Дунае. Спустя месяц после нашего соглашения армия может быть на Босфоре. Этот удар отзовется в Индии, и Англия подчинится. Я согласен на всякий предварительный уговор, необходимый для этой великой цели».

Удивительный военно-психологический парадокс! Эти два титана — Пушкин не случайно поставил их рядом, говоря об их «презрении к человечеству», — на вершине своего могущества контролировали огромные пространства. Особенно Петр, разумеется. Но им было тесно в «кротовой норе» Европы, а Петру — и в Евразии.

И это не было банальное тщеславие. Достигнув реальных целей, они неуклонно влеклись к нереальным, теряя чувство возможного.

Наполеон, понимая, что его предложения напоминают некую героическую утопию, попытался объяснить Александру вынужденность и неизбежность подобных действий: «Ваше Величество и я предпочли бы блага мира, мы предпочли бы проводить нашу жизнь среди наших обширных империй, посвящая себя заботам о их возрождении и счастье наших подданных, покровительствуя наукам и искусствам и сея повсюду благодетельные учреждения. Этого не хотят всесветные враги. Поневоле приходится стать выше этого. Мудрости и политике присуще следовать велениям судьбы и идти туда, куда ведет нас непреодолимый ход событий».

Петр объяснил бы свои действия иначе — проще и конкретнее, толкуя об экономических выгодах, безопасности торговли, золотых приисках и т. п. Но над всеми этими меркантильными интересами, вполне реальными, витала мечта о таинственном и притягательном своей непохожестью на знакомую реальность мире — «Индийском царстве».

Девиз, рожденный им в восторге от неожиданной, хоть и малой, первой победы на море, — «Небываемое бывает» — абсолютно точно выражал его жизненную стратегию. При всем своем суровом прагматизме он в глубине души не верил, что существует нечто недоступное для его ума, воли и власти.

Причем если Наполеону, железом и кровью сколотившему свое имперское пространство из разнородных государственных образований, привыкших к разной степени самостоятельности, при постоянной необходимости нейтрализовать стремление Англии разрушить это пространство необходимо было расширять сферу своего влияния, то у Петра после Ништадтского мира этой необходимости не было. Его проблемы были сугубо внутренние, остро выявившиеся за роковое пятилетие: отчужденность многих ближайших сотрудников, влиятельных своей родовитостью и популярностью в армии, что обнаружило «дело» Алексея, равно как и вскрытая в это же время тотальная коррупция снизу доверху.

И тем не менее, грозно отягощенный этими заботами, он начинает упорное изнурительное движение на юго-восток, где новый и недостаточно осмысленный и изученный театр военных действий сулил зловещие сюрпризы.

Но — «Небываемое бывает». Утопия должна развиваться по своей логике, а логика эта не терпит статики. И это не прагматика, а романтическая психология имперской утопии, порожденная особостью психики ее строителя.

Сомнения в своем всемогуществе, похоже, появились у него только в самом конце жизни и царствования, когда, казалось бы, его успешный Персидский поход, вослед походу Александра Македонского, пресекла буря на Каспии, разметавшая и потопившая караван судов с продовольствием и боеприпасами.

Быть может, тогда в его сознании родилось нечто, напоминающее строку из «Медного всадника»: «С Божией стихией / Царям не совладать». Тяжкий урок Прутского похода его явно не убедил — там кроме степной жары, безводья и бескормицы для коней было еще немало человеческих факторов, которые, в принципе, можно было предусмотреть и нейтрализовать.

Каспий, пространство его мечты, преподал Петру сокрушительный урок. При кажущемся успехе похода — захвата Дербента («Великий Александр построил, а Петр его взял», — сказал он, въезжая в Дербент), ряда прибрежных провинций, а на следующий год Баку, — огромные усилия и не меньшие финансовые затраты не приблизили к главной цели — прорыву в Азию, к вожделенной Индии. Обострились отношения с Турцией и Англией.

Русские гарнизоны в новых владениях повторяли в значительной степени судьбу Красноводского гарнизона. Солдаты и офицеры массово умирали от болезней. Были, разумеется, и боевые потери, но в гораздо меньших масштабах.

Наладить сколько-нибудь прибыльную торговлю восточными товарами, в частности шелком, не удалось.

Добыча и использование разного рода полезных ископаемых — медной и железной руды, серебра и свинца — требовали длительных и дорогостоящих усилий, сопряженных с доставкой в соответствующие места «рабочих людей».

При растянутости коммуникаций с собственно российскими территориями, ненадежности морских перевозок из-за капризного климата Каспийского моря эксплуатация природных богатств завоеванных земель была крайне проблематична.

Недаром Петр с такой щедростью заманивал в эти края гения предпримчивости «господина Леуса».

Но не следует забывать о «генеральной идее» царя, к которой он возвращался постоянно.

Широко мыслящий Соймонов во время Персидского похода, воспользовавшись удобным случаем и уважением, которое питал к нему Петр за его высокий профессионализм, стал рассказывать царю о возможностях, которые открываются перед Российским государством благодаря владению Дальним Востоком: «...от Апонских, Филиппинских островов до самой Америки на западном берегу остров Калифорния, уповательно, от Камчатки

не в дальнем расстоянии найтись может...» Но Петр решительно перевел разговор на совершенно иное: «„Был ты в Астрабатском заливе?“ И как я донес: „Был“, — на то изволил же сказать: „Знаешь ли, что от Астрабата до Балха и до Водокшана и на верблюдах только 12 дней ходу? А там во всей Бухарии средина всех восточных комерцей. И видишь ты горы? Вить и берег подле оных до самага Астрабата простирается. И тому пути никто помешать не может“».

Через Астрабад лежала дорога к Индии.

Автор биографии Соймонова комментирует эту беседу: «Интересно отметить, что свои предложения Соймонов обдумывал в течение продолжительного времени („задолго в моей мысли находилось“) и тесно увязывал деятельность по описанию Каспийского моря с другими проектами отыскания путей в Индию».⁴³

Образованный моряк Соймонов видел перед мысленным взглядом карту Южного полушария и путь к берегам Индии с востока — мимо Японии, Филиппин, базируясь на русскую Камчатку. Но Петр твердо возвратил его к Каспийскому проекту, для реализации которого Соймонов сделал так много.

По убеждению Петра, прорыв в глубь Азии, где «средина всех восточных комерцей», и прежде всего к Индии, окупил бы все издержки — и деньги, и человеческие жизни.

Пока Петр был жив, продолжались напряженные попытки основательно закрепиться на завоеванных территориях, наладить отношения с местными владельцами и усмирить непокорных.

Вскоре после его смерти началась ревизия внешней и внутренней политики, направленная на облегчение налогового бремени, сокращение государственных расходов, что естественным образом связано было с пересмотром экспансионистской тенденции.

В феврале 1726 года командующим Низовым корпусом, контролировавшим завоеванные территории, назначен был князь Василий Владимирович Долгорукий, возвращенный из ссылки по «делу» царевича Алексея. Это был опытный военачальник, но и его деятельность положения не исправила.

В 1729 году Долгорукий докладывал Верховному тайному совету: «Сколько времени прошло с начала вступления наших войск в Персию без всякой прибыли. И впредь не видим, чтоб могли убытки свои возвратить. Сколько денег, провианту, амуниции, адмиралтейство в Астрахани содержим, с начала вступления наших сколько рекрут и солдат употреблено без плода, а конца не видим и по человеческому рассуждению трудно конца ожидать — между такими азиатскими народами мы вмешались. Разве Всевышний силой своей божественной паче чаяния человеческого может согласие или мир между басурманами сделать».

Надежды на вмешательство Всевышнего не оправдались.

На фоне ожесточенной войны между Турцией и новым властителем Персии, узурпатором Надиром, чрезвычайно удачливым и свирепым воителем, правительство Анны Иоанновны сочло разумным заключить с Персией договор, по которому русские войска уходили за Терек, оставляя и завоеванные провинции, и Дагестан.

В частности, была снесена мощная крепость Святого Креста, детище Петра, заложенная в 1722 году на реке Сулак с выходом к Каспийскому морю.

Во власти персов на оставленных территориях оказались христиане — армяне и грузины, поддерживавшие русских и теперь ждавшие возмездия.

Персидский поход в конечном итоге принес немалые человеческие жертвы и мощные финансовые убытки.

12

Существует один любопытный документ, известный под названием «Завещание Петра Великого».

Документ это уже не одно столетие служит предметом споров, предположений и научного анализа историков разных стран.

Здесь нет надобности излагать сколько-нибудь подробно историю этого «Завещания», с полным основанием признанного опасной мистификацией. И тем не менее смысл и содержание документа представляют несомненный интерес, поскольку здесь причудливо сочетаются откровенно фантастические мечтания и сведения, восходящие к реальным событиям и свидетельствам.

В конечном счете «Завещание» представляется невольной пародией на грандиозную утопию, рожденную могучим воображением Петра.

Истоком этой политической эпопеи стали некие соображения, предложенные правительству Людовика XV дипломатическим агентом, шевалье д'Эоном, ставшим благодаря некоторым особенностям его поведения персонажем авантюрного мифа. Между тем д'Эон был человеком образованным и наблюдательным, и его пятилетнее — с 1755 по 1760 год — присутствие при дворе Елизаветы Петровны было использовано им для сбора разнородных сведений как по истории России, так и по вопросам, касающимся внешнеполитической стратегии Петербургского двора.

Оригинал исследователям неизвестен.

Слухи о завоевательных планах Российской империи должны были возникнуть с неизбежностью по причине пугающе стремительного возрастания военной мощи России, явленной под Полтавой, и в последующих действиях русской армии уже на территории Европы — в Польше и на территориях немецких княжеств, то есть в пространстве, юридически контролируемом Веной и отчасти Швецией.

Впервые эти слухи были аккумулированы и систематизированы в книге французского историка Шарля-Луи Лезюра «О возрастании русского могущества с самого начала его до XIX века». Время появления книги знаменательно — декабрь 1812 года, когда стало ясно, что Наполеону, только что потерявшему в России свою армию, предстоит война не на жизнь, а на смерть.

В частности, предупреждая французов и Европу вообще о грозящем нашествии, Лезюр привел в свободном пересказе некий план Петра Великого по завоеванию мира.

По сведениям, которые, по утверждению Лезюра, у него имелись, русский император завещал своим наследникам посеять рознь среди европейских держав и затем воспользоваться их междоусобием.

Надо иметь в виду, что Лезюр не цитирует какой-либо документ, но излагает «Завещание» Петра в своей интерпретации.

«Среди всеобщего ожесточения к России будут обращаться за помощью то та, то другая из воюющих держав и после долгого колебания — дабы они успели обессилить друг друга — и собравшись с силами, она для виду должна будет высказаться за Австрийский дом. Пока ее регулярные войска будут двигаться к Рейну, она, вслед за тем, вышлет свои несметные азиатские орды. И лишь только последние углубятся в Германию, как из Азовского моря и Архангельского порта выйдут с такими же ордами два значительных флота под прикрытием вооруженных флотов — черноморского и балтийского. Они внезапно появятся в Средиземном море и океане для высадки этих свирепых, кочевых и жадных до добычи народов, которые наводнят Италию, Испанию и Францию; одну часть их жителей истребят, другую уведут в неволю для заселения сибирских пустынь и отнимут у остальных всякую возможность к свержению ига. Все эти диверсии дадут тогда полный простор регулярной армии действовать в полную силу, в полной уверенности в победе и в покорении всей Европы».

Через считанные недели русская армия и в самом деле появилась в Европе без сопровождения свирепых кочевых орд, и сочинение Лезюра потеряло свою актуальность.

Полный текст «Завещания» Петра Великого появился в 1836 году в составе «Записок кавалера д'Эона, напечатанных в первый раз по его бумагам, сообщенным его родственниками, и по достоверным документам, хранящимся в Архиве иностранных дел».

Публикатор и автор сопроводительных текстов — французский юрист, журналист, политик Фредерик Гайярде поместил «Завещание» среди других документов д'Эона.

С тех пор оно много раз переиздавалось и в том же виде, и в виде вариантов.

История возникновения документа и его бытование, история его изучения подробно исследованы в основательной работе Елизаветы Николаевны Даниловой «„Завещание“ Петра Великого».⁴⁴ Любознательный читатель может найти там всю необходимую информацию. А нас интересует само содержание этого псевдодокумента и его соотношение с реальными действиями и планами Петра.

Соотношение это иногда приводит к мысли, что сочинитель «Завещания» пользовался некими источниками, восходящими непосредственно к источникам Петровской эпохи.

Первый пункт «Завещания», по Гайярде, гласит: «Поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны, чтобы солдат был закален в бою и не знал отдыха; оставлять его в покое только для улучшения финансов государства, для реформирования армии и для того, чтобы выждать удобное для нападения время».

В известных воспоминаниях механика Нартова есть такая запись: «О мире промолвил государь так: „Мир — хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб не связали рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами“».

В знаменитом письме Алексею от 11 октября 1715 года он повторил ту же, по сути дела, мысль: «Не хочу многих примеров писать, но точию равновверных нам Греков: не от сего ли пропали, что оружие оставили, и единым миролюбием побеждены...»

Надо отдать должное сочинителю изначального текста — он понимал, с кем имеет дело.

В варианте — пересказе Лезюра — этот пункт звучит так: «Поддерживать государство в состоянии непрерывной войны для того, чтобы закалить солдата в бою и не давать народу отдыха, поддерживая во всегдашней готовности к выступлению по первому знаку».

Из тридцати пяти лет реального царствования Петра — с 1689 года — едва ли наберется 10 мирных лет... Он отправился в первый Азовский поход, когда ему было двадцать три года, и после четырехлетнего перерыва, в который уместились Великое посольство и стрелецкий розыск 1698 года, Россия воевала непрерывно с 1700 по 1724 год — при жизни Петра.

Но импульс, возникший как реализация идеи «перманентной войны», был неистребимо силен. Персидский поход не закончился ни в 1724, ни в 1739 году. Он положил начало боевым действиям, которые Россия вела затем как минимум сто сорок лет. Хотя есть и другая хронология.

Автор цитированной уже монографии о Персидском походе и его последствиях Игорь Николаевич Курукин писал: «...Персидский поход Петра I и последующие события стали только началом длительного и болезненного процесса присоединения Кавказа. Не вдаваясь в суть многолетних споров о природе и содержании известных по любому учебнику событий „Кавказской войны“ в ее привычных хронологических рамках, отметим, что нам кажется более справедливым мнение о наличии не одной, а нескольких таких войн в период с 1722 года до подавления последнего большого восстания в Чечне и Дагестане в 1878 году, а еще точнее — не столько собственно войн, сколько сцепления разнохарактерных и разновременных конфликтов: внутреннего развития горских обществ, их сопротивления российскому продвижению на Кавказ, борьбы российских властей с набегам, межэтнических столкновений и непрерывных усобиц, наконец, соприкосновения различных цивилизаций и борьбы за раздел Закавказья между сопредельными великими державами».⁴⁵

Курукин ссылается при этом на серьезнейшего знатока данной проблематики — Владимира Викентьевича Лапина.

Соглашаясь с основной мыслью исследователя, нужно сказать, что процесс, запущенный Персидским походом и сопутствующими кровавыми столкновениями русской армии с отрядами горцев и жестокими карательными экспедициями, проводимыми главным образом силами казаков и калмыков хана Аюки, при всем при том принял характер фактически непрерывных боевых действий разной интенсивности, продолжавшихся до окончательного подавления адыгов Западного Кавказа в 1864 году.

Рассматривая доводы исследователей, считавших «Завещание» фальшивкой, Данилова пишет: «Первые 11—12 пунктов „завещания“ представляют собой по существу то, что действительно было осуществлено преемниками Петра...»

Автор не считает этот довод убедительным, но нам важно не это.

Истериические фантазии относительно «свирепых орд», которые, по замыслу Петра, должны были наводнить Европу, предложенные миру Лезюром и в несколько ином варианте повторенные Гайярде, были чистым вздором, равно как и конечная цель — владычество над Европой и миром. Но в первых двенадцати пунктах и в самом деле вырисовывался абрис стратегии, которая, быть может, и не была столь подробно разработана Петром, но определялась логикой его действий, а главное — его мечтаний.

Можно привести наиболее выразительные примеры, не перегружая внимание читателя всем текстом «Завещания».

Пункт III: «При всяком случае вмешиваться в дела и распри Европы, особенно Германии, которая как ближайшая страна представляет более непосредственный интерес».

Игра на внутренних европейских противоречиях — естественная дипломатическая практика, которой пользовались все государства, включая Россию. По переписке Петра с российскими дипломатами, по его переговорам с дипломатами европейскими и их государями можно проследить разумную, прагматичную внешнеполитическую стратегию и тактику.

Очень близок к реальности пункт IV: «Разделять Польшу, поддерживая в ней смуты и постоянные раздоры, сильных привлекать на свою сторону золотом, влиять на сеймы, подкупать их для того, чтобы иметь влияние на выборы королей, <...> вводить туда русские войска и временно оставлять их там, пока не представится случая оставить их там окончательно».

Здесь автор «Завещания» ориентировался более на преемников Петра, чем на его политику. Петр способствовал избранию, а затем восстановлению на польском троне Августа Саксонского, поддерживал вооруженной силой группировки сторонников союза с Россией, но он был заинтересован в управляемой и единой Польше.

Однако раздел Польши произошел, и Россия играла в нем свою роль.

Пункт VI: «В супруги к русским великим князьям всегда выбирать германских принцесс для того, чтобы умножать родственные союзы, сближать интересы и, усиливая в Германии наше влияние, тем самым привязывать ее к нашему делу».

Но именно с Петра и пошла эта традиция.

Для нас особенно значим пункт IX: «Как можно ближе придвигаться к Константинополю и Индии (обладающий ими будет обладателем мира). С этой целью возбуждать постоянные войны против Турции и Персии, основывать верфи на Черном море, постепенно овладевать как этим морем, так и Балтийским, ибо они нужны для осуществления плана: покорить Персию, дойти до Персидского залива, восстановить, если возможно, древнюю левантийскую торговлю через Сирию и достигнуть Индии как мирового складочного пункта...»

В дальнейшем текст «Завещания» подвергался различным модификациям, иногда значительным, но Индия присутствовала всегда.

В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, в иранских газетах появился пересказ «Завещания» в соответствующей восточной стилистике.

Это был момент, когда возникла реальная опасность присоединения Ирана, вслед за Турцией, к Тройственному союзу.

Чтобы понять, в какой атмосфере и почему появились эта публикация и ее апокалиптический тон, нужно представить себе военно-политическую ситуацию.

Военный историк, генерал Николай Георгиевич Корсун (генерал-майор дореволюционной и генерал-лейтенант Красной армии) писал в специальном исследовании: «Так как в западной Персии назревали осложнения и не исключалась возможность выступления сформированных немцами банд (на самом деле это были преимущественно отряды персидской конной жандармерии. — Я. Г.) против русских, то решено было сформировать и в случае необходимости послать туда экспедиционный кавалерийский корпус генерала Баратова. 30 октября этот корпус в составе 2 батальонов, 2 дружин (армянских. — Я. Г.), 39 сотен и 20 орудий высадился в городе Энзели».⁴⁶

Корпус Баратова свою задачу выполнил. Были разгромлены и рассеяны прусские формирования, и русские войска заняли позиции на подступах к Тегерану, откуда бежали дипломатические миссии враждебных Антанте стран. В случае официального вступления Персии в войну на стороне Германии и ее союзников корпус Баратова должен был занять Тегеран. То есть русские войска в 1915 году могли — на неопределенное время — покончить с пятисотлетним независимым существованием Персидского государства.

По вполне понятным причинам тот или иной вариант «Завещания» Петра Великого появлялся в моменты острых военно-политических кризисов или в ожидании таковых. Это было устойчивое восприятие грозной фигуры первого российского императора.

В Персии вполне жива была память о трех — начиная с 1722 года — проигранных России войнах, которые неизменно заканчивались значительными территориальными потерями.

И естественно в данном, иранском, варианте «Завещания» особенно ярко выступает «восточное», а по сути дела, индийское направление российской экспансии, запрограммированное за двести лет до того непреклонным устремлением Петра.

Иранский вариант гласит: «Надо принимать всякие меры, чтобы Персия все более и более беднела и чтобы торговля здесь упала. В общем надо стараться ускорить ее агонию, чтобы Россия при первом желании могла завладеть ею без всяких хлопот, но при этом не советую умертвить Персию до тех пор, пока не погибнет Турция.

Грузия и Кавказский край представляют собой артерию Персии. Как только ланцет русского государства дойдет до этой артерии, Персия моментально впадет в такую слабость, что ей невозможно будет оправиться даже при помощи самых опытных врачей.

Тогда для русских царей Персия будет играть роль послушного верблюда, транспортирующего необходимый груз, вплоть до угашения последнего пламени горящей Турции. Вслед за уничтожением Турции легко будет резать этого верблюда.

Итак, нам следует безотлагательно завоевать Грузию и Кавказ, а владельцев внутренней Персии сделать нашими покорными слугами».

Но все эти усилия мыслились автору иранского варианта, то есть мифическому русскому императору, отнюдь не самоцелью и уж точно не были куражом маниакального завоевателя. У этих усилий и коварных маневров была главная цель: «Потом надо будет предпринять поход в Индию <...>. Ключом к Индии служит столица Туркестана (Хива? — Я. Г.). Продвигайтесь вперед насколько можете через киргизские степи, через Хиву и Бухару».

Иранский журналист, модифицировавший «Завещание» для публикации в Тегеране в момент, когда под вопросом оказался суверенитет его государства, совершенно точно понял, что подчинение, разрушение Персии — промежуточная задача, лишь средство для достижения главной цели августейшего «завещателя» — Индии.

Идея разрушения Персии, устранения ее как препятствия для прорыва в глубь Азии, к границам Индии, — идея, которую настойчиво предлагал царю Волынский, а через сто лет вдохновенно разрабатывал Ермолов и надеялся внушить ее другому царю — Александру I, была в подробностях знакома всем, кто в разные исторические моменты выводил на поверхность тот или иной вариант «Завещания».

Мы уделили столько внимания Каспийским проектам Петра не из-за их экзотичности и авантюрной увлекательности.

Этот многообразный и в конечном счете трагический сюжет — десятки тысяч русских солдат и офицеров, похороненных в каспийских песках и болотах, — яснее демонстрирует особенность мировидения Великого Петра, чем его деяния на Западе.

В Европе его героические усилия, его подвижничество, его война — все, что он совершал, было жестко детерминировано реальными обстоятельствами, требующими соответствующих ответов: он начал эту войну (как сказал Ключевский, «Петр сунулся в эту войну, как неопит, думавший, что он все понимает»⁴⁷). И она безжалостно требовала от него голой прагматики. Его государственное и военное строительство в этот период вполне корреспондировало с общей утопической идеей идеального регулярного государства (хотя и было хаотично и отнюдь не регулярно), но не поднималось над сиюминутными преобразованиями низкого быта.

Каспийский и, шире, Азиатский (Индийский) проект — в том виде, в каком он ему представлялся, в том виде, в котором он пытался его осуществить, — был наиболее ярким аспектом общей грандиозной утопии, достойной демиурга, творца нового мира. В этом отношении драгоценное свидетельство — план, предложенный «господину Ляусу», и те несметные блага, которыми Петр готов был осыпать будущего строителя городов на Каспии.

Весь этот «каспийский мираж» был в известном смысле вдохновенным прообразом той великой утопии, попытка реализовать которую на невымыслимом пространстве — от Камчатки до Индии — определила судьбу Российской империи и России как таковой на столетия вперед.

Гипнотическое обаяние этого «миража», заключенное в его величественности и грандиозности, оказалось непреодолимо ни для самого Петра, ни для его наследников.

Правда, для его титанической, можно сказать, сверхчеловеческой природы оно было органично...

Потребность выхода через Балтику и Черное море в Мировой океан была реальной и насущной потребностью растущей страны, несмотря на то что основная часть населения — всех социальных уровней — эту потребность не осознавала или осознавала недостаточно, для того чтобы жертвовать ради ее удовлетворения привычным бытом и в предельном случае — самой жизнью. Тем не менее были тысячи людей, готовых сделать это усилие.

Но закрепление на берегах Каспия, подчинение Персии и в конечном счете поход в сказочную Индию могли вызвать подлинное желание рискнуть собой разве что у единиц. Таким был, например, князь Александр Бекович-Черкасский, недаром же он был любимцем Петра. Но ни моряк Кожин, ни моряк Соймонов, предлагавший иной, морской путь в Индию, ни генералы, которым поручено было закрепление результатов похода 1722 года, включая brutального князя Василия Владимировича Долгорукого (помним его отчаянное письмо), не говоря уже о генерале Леонтьеве, умолявшем дать ему отставку, не испытывали героического энтузиазма.

Масштаб и абсолютная неосуществимость замысла могли и должны были вдохновить Петра. Именно — Петра.

Каспийский — Азиатский — Индийский проект отнюдь не случайно хронологически совпал с роковым периодом 1714—1724 годов, в центре которого было «дело» царевича Алексея, властно стимулированное этим «делом» создание доктрины правды воли монаршей в самом широком смысле, непреклонно провозгласившей всемогущество и безответственность государя, «Христа Господня», имеющего право совершать любые деяния, не оглядываясь на интересы своих подданных и жертвуя их жизнями, не испрашивая их согласия.

На экстремальном пространстве Каспийского моря и его берегов была сделана столь характерная для Петра попытка переупрямить природу и судьбу, выйти за пределы естественных возможностей русского, равно как и европейского, человека, то есть произвести утопический эксперимент в чистом виде.

Попытка не удалась, и это поражение наверняка окрасило последние два года жизни Петра Великого, императора Всероссийского. Петр внимательно следил из Петербурга за происходящим в новых провинциях и понимал, что ресурса для дальнейшего продвижения нет и что русские войска вынуждены вести постоянные боевые действия против бунтующих горцев. Экономически провинции тоже себя не оправдывали.

Неудача на Каспии наложила на целый ряд горьких обстоятельств: сознание своего бессилия перед торжествующей коррупцией и печальные разочарования чисто личного характера.

И горечь эта была тем острее, что упорно соседствовала с его неистребимой убежденностью в своем всевластии, правоте своего порыва к небывалому, куда входила и мечта вырваться из «кротовой норы» — Европы.

За первое десятилетие пребывания русских войск на завоеванных территориях корпус потерял около 40 тысяч человек — утонуло 144, бежало 596, убито 506, умерло от болезней 36 645...

Ключевский, размышляя об итогах петровской «революции», занес в записную книжку: «Понимал только результаты и никогда не мог понять жертв».

В Азиатской утопии был максимум жертв при минимуме результатов...

В 1796 году тридцатитысячная русская армия под командованием молодого Валериана Зубова двинулась на юг вдоль Каспия. В ее рядах находился младший друг командующего, капитан артиллерии, двадцатичетырехлетний Алексей Ермолов.

Конечной целью представлялась Индия.

-
- ¹ Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1988. С. 89.
- ² Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 457—458.
- ³ Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 52—53.
- ⁴ Филарет, архиеп. (Гумилевский Дмитрий Григорьевич). История русской церкви: в пяти периодах. [Репр. изд.]. М., 2001. С. 731—734.
- ⁵ Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 93.
- ⁶ Там же.
- ⁷ Там же. С. 94.
- ⁸ Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. СПб., 2005. С. 439.
- ⁹ Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 82.
- ¹⁰ Там же. С. 86.
- ¹¹ Языки культуры и проблемы переводимости. Сб. / Отв. ред. В. А. Успенский. М., 1987. С. 61—63, 75—76.
- ¹² Там же. С. 78.
- ¹³ Там же. С. 72.
- ¹⁴ Гурвич Г. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ее западноевропейские источники. Юрьев, 1915. С. 16.
- ¹⁵ Там же. С. 4—5.
- ¹⁶ Там же. С. VIII—IX.
- ¹⁷ Там же. С. 41—42.
- ¹⁸ Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1948. С. 177.
- ¹⁹ Джон Барклай (1582—1621) — шотландский поэт и католический мыслитель. Феофан почитал Барклай и ссылался на его авторитет в предисловии к своему переводу трактата Диего Сааведры.
- ²⁰ Гроций Г. О праве войны и мира. С. 180.
- ²¹ Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 377—378.
- ²² Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М., 1996. С. 239.
- ²³ Гиляров-Платонов Н. П. Сборник сочинений. В 2 т. М., 1899. Т. 2. С. 134.
- ²⁴ Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 83.
- ²⁵ Там же. С. 102.
- ²⁶ Анисимов Е. В. Время Петровских реформ XVIII в., 1-я четверть. Л., 1989. С. 343.
- ²⁷ Лавров А. С. Колдовство и религия в России. 1700—1740 гг. М., 2000. С. 346.
- ²⁸ Там же. С. 344.
- ²⁹ Курукин И. В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия (1722—1735). М., 2010. С. 23—24.
- ³⁰ Чистов К. В. Русская народная утопия. СПб., 2003. С. 366.
- ³¹ Сперанский М. Н. Индия в старой русской письменности // Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882—1932. Сб. ст. Л., 1934. С. 463
- ³² Флоровский А. В. Труды по истории России, Центральной Европы и историографии. Из архивного наследия. СПб., 2020. С. 244—246.
- ³³ Бобылев В. С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М., 1990. С. 96.
- ³⁴ Документ цит. по: Троицкий С. М. «Система» Джона Ло и ее русские последователи // Франко-русские экономические связи. М.—Париж, 1970. С. 136—138.
- ³⁵ Со с. 120 по с. 141 цитируются без сносок материалы Военно-ученого архива Главного штаба / Ред. А. Ф. Бычков. СПб., 1871. Т. I. Раздел IV. Дело, 1714—1718 годов, об отправлении лейб-гвардии Преображенского полка капитан-поручика князя Александра Бековича Черкасского на Каспийское море и в Хиву. Стб. 197. Остальные материалы, касающиеся экспедиции князя Александра Бековича-Черкасского, содержатся в данном архиве.

³⁶ Бэр К. М. Заслуги Петра Великого по части распространения географических познаний о России и приграничных с нею землях Азии // Записки Императорского Русского географического общества. СПб., 1850. Т. IV. С. 273—274.

³⁷ «Морской командир», «капитан над портом» — начальник Астраханского порта, отвечавший в экспедиции за судоходную часть.

³⁸ Со с. 143 по с. 145 цитируются без сносок извлечения из журнала инженер-майора Ладжинского, посланного в 1764 году для осмотра восточных берегов Каспийского моря // Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Тифлис, 1875. Т. VI. Ч. II. С. 783—797.

³⁹ Цит. по: Сперанская Н. М. Дневник Персидского похода 1722—1723 годов из Библиотеки Вольтера // Петр I и Восток. Материалы XI Международного петровского конгресса. 1—2 июня 2018 года. СПб., 2019. С. 173—174.

⁴⁰ Светлов Р. То, что осталось за полями рукописи // Наполеон Бонапарт. Египетский поход. Мемуары императора. СПб., 2000. С. 391.

⁴¹ Там же. С. 391—392.

⁴² Талейран Ш. Мемуары. М.—Л., 1934. С. 316.

⁴³ Гольденберг Л. А. Федор Иванович Соймонов. М., 1966. С. 42.

⁴⁴ Данилова Е. Н. «Завещание» Петра Великого // Труды историко-архивного института. М., 1946. Т. II. С. 205—258.

⁴⁵ Курукин И. Н. Персидский поход Петра Великого. С. 159.

⁴⁶ Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. Оперативно-стратегический очерк. М., 1946. С. 46.

⁴⁷ Ключевский В. Дневники, афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 391.

СУДЬБЫ ИМПЕРИИ

ЮРИЙ ЗЕЛЬДИЧ

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ — НАСТАВНИК ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА

В 1770 году Афанасию Ивановичу Бунину, вельможному владельцу нескольких поместий, знакомый его, полковник Муфель, «отдал на воспитание» турчанку Сальху 16 лет, плененную в Бендерах. Девушку поселили в отдельном домике. Свою связь с пленной красавицей Афанасий Иванович не сильно скрывал, а когда у нее родился сын, попросил своего соседа-приживала Андрея Жуковского крестить его и дать ему свое имя в отчество. Так 29 января 1783 года в селе Мишенском Белёвского уезда Тульской губернии явился на свет Василий Андреевич Жуковский.

Незаконнорожденный не мог стать дворянином, членом дворянской семьи, не выслужив офицерского чина. Высокопоставленные зятя Бунина составили формуляр о военной службе юного Василия, его прошение об отставке в младшем офицерском чине. На этом основании Тульское дворянское собрание постановило внести Василия Жуковского в дворянскую родословную книгу Тульской губернии.¹ Когда через три года Афанасий Иванович умер, его жена Мария Григорьевна приняла 3-летнего ребенка как своего сына.

В 1797 году мальчик был помещен в Московский благородный пансион, окончив его, попадает на службу в заштатную Соляную контору. Он много читает, кажется, нет ни одной достойной книги на французском и немецком, даже на английском, которая бы прошла мимо него. «Оселок всякого произведения есть его действие на душу: когда оно возвышает душу и располагает ее к новому прекрасному, то оно превосходно, — записывает он в своих заметках. — Поэт пишет не по должности, а по вдохновению».²

Юрий Владимирович Зельдич (род. в 1928 г.) — инженер-электрик. Окончил Ленинградский политехнический институт. Более 40 лет работал в конструкторском бюро Ленинградского завода «Вибратор». Автор книги «Петр Александрович Валуев и его время» (М., 2006) и ряда статей на исторические темы в журналах «Звезда», «Континент» и др. С 2001 живет в Сан-Франциско.

Его влечет к творчеству. Начинает с переводов, точнее с переложений — «переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник»³, — создает баллады и элегии со своей просодией, именами, местом действия, своими образами. Его волнуют не картины природы, а чувства, ими вызываемые. В 1807 году 24-летний Жуковский — редактор журнала «Вестник Европы», в нем он помещает свои переводы, сказки, стихи.

В 1805 году Жуковский стал собственником дома в Белёве, подаренного ему сводной сестрой Авдотьей Алымовой. В 1808 году продал его за сто рублей (!) другой сводной сестре, Екатерине Афанасьевне Протасовой, молодой вдове с двумя дочерьми Машей и Сашей. «При сей купчей из дворян бывшей адъютант, а ныне титулярный советник Василий Андреев сын Жуковский <...> руку приложил».⁴

По просьбе матери Василий Андреевич дает уроки ее девочкам.

Тут обнаруживаются задатки педагогического таланта Жуковского, который позже раскрылся со всей глубиной и силой. По предварительному плану он занимался со своими ученицами литературой, историей, географией, языками, рисованием. Его уроки были необыкновенно интересны для девочек 11 и 12 лет. И главное — его лицо, его речь выражали доброту его натуры, она захватывала сестер; они его обожали, называли его Базиль, говорили ему «ты». Он был их педагогом и другом.

Приемная мать Мария Григорьевна купила для него небольшое имение Холх с 17 крепостными; это укрепляло его дворянский статус.

В августе 1812 года Жуковский вступает в Московское ополчение поручиком. В Бородинском сражении ополченцы стояли в резерве, однако понесли урон убитыми и ранеными. Вместе с отступающей армией Жуковский проделал путь до Тарутино, в октябре пишет оду «Певец во стане русских воинов» — хвалебную песнь русским ратникам. Ода разошлась по армии, захватывала, воодушевляла, автор получил массу восторженных отзывов. Поэт причислен к штабу Кутузова, слог его реляций очень понравился фельд-маршалу. В декабре — январе оду издали в Москве и Петербурге; она стала лучшим стихотворным памятником русской славы 1812 года.

С войны Жуковский вышел с чином штабс-капитана и орденом Св. Анны 2-й степени и вернулся в Белёв.

В Петербург он приехал 4 мая 1815 года и поселился у Александра Тургенева, с которым вместе учился в Благородном пансионе. В тот же вечер все известные петербургские литераторы спешат к Тургеневу, чтобы встретиться с Жуковским. Среди них молодой, богатый, вхожий в придворный круг знаток античности Сергей Уваров. Уваров отрекомендовал Жуковского вдовствующей императрице Марии Федоровне, и в сентябре поэт получил приглашение представиться ей. 4 сентября он приехал в Павловск, в Большой дворец — резиденцию Марии Федоровны. «В первый день, — сообщает Жуковский своей сводной племяннице Авдотье Петровне Елагиной, — было чтение моих баллад <...> в приватном обществе, состоявшем из великих княгинь, двух или трех дам, Нелединского (поэта. — Ю. З.) Вилламова (секретаря императрицы. — Ю. З.) и меня...»⁵ «На следующем чтении, которое происходило уже в большем кругу», Жуковский читал «Певца во стане русских

воинов», Нелединский — две баллады и «Оду Александру I», написанную в январе 1813 года, после изгнания Наполеона из России. Патриотические стихи, исполненные искреннего чувства, оказали заметное действие на императрицу и ее семью. Жуковский получает приглашение стать чтецом Марии Федоровны.

Слава его упрочилась. Александр Тургенев решил добиться официального признания его заслуг. Через посредство влиятельного министра Тургенев преподносит Александру I «Собрание стихотворений Жуковского» в двух томах с письмом, рисующим Жуковского как национального поэта, творца прекрасной и патриотической поэзии. Жуковскому назначается пожизненная пенсия. 6 января 1816 года Тургенев прочел на заседании «Арзамаса» царский рескрипт: «Господину министру финансов. Взирая со вниманием на труды <...> известного писателя, штабс-капитана Василия Жуковского, обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе российского оружия, повелеваю, как в ознаменование моего к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния, производить ему в пенсион по четыре тысячи рублей в год из сумм государственного казначейства. Александр».⁶

Случайная встреча в апреле 1817 года кардинально изменяет судьбу Жуковского. Знакомый его, Г. А. Глинка, просит Жуковского принять вместо него должность учителя русского языка при Александре Федоровне, прусской принцессе Фредерике Луизе Шарлотте, супруге великого князя Николая. Жалованье пять тысяч рублей в год с квартирой в Аничковом дворце. «Занятие: один час каждый день. Остальное время свободное. <...> Обязанность моя соединена с совершенною независимостью — это главное! <...> Это не работа наемника, а занятие благородное. <...> ...здесь много пищи для энтузиазма...» — сообщает друзьям Жуковский.⁷

Однако назначение состоялось нескоро, вокруг него плелась интрига. Шишков, председатель общества «Беседа любителей русского слова», литературный противник Жуковского, всячески вредил ему. В конце концов назначение состоялось, тут можно предположить воздействие Марии Федоровны: «порфиноносная вдова», обладая в царской семье большим влиянием, благоволила Жуковскому.

Василий Андреевич отнесся к новым обязанностям чрезвычайно серьезно. Со времени обучения сестер Протасовых он почувствовал, что преподавание — его истинная стезя, кроме творчества, разумеется. В дневнике он записывает: «Я надеюсь со временем сделать уроки свои весьма интересными. Они будут не только со стороны языка ей (Александре Федоровне. — Ю. З.) полезны, но дадут пищу размышлению и подействуют благотельным образом на сердце».⁸

Он составляет подробный план занятий и даже разрабатывает учебник русской грамматики для новой великой княгини: упражнения по склонению и спряжению, по согласованию и управлению. Создает словник — отдельные слова или короткие фразы для разговора с дворянами, священниками, купцами. Ведет курсы русской литературы и «Истории государства Российского» по Карамзину.

Редкие занятия — один час в день — продолжались до 1826 года. Учитель и ученица остались недовольны друг другом. Систематические уроки Александре Федоровне были ни к чему: ее совершенно поглотили семейная жизнь, представительские функции и светские развлечения. Но Жуковскому удалось привить воспитаннице любовь к русскому языку и литературе.

Мария Федоровна добавила ему работы: учить русскому языку Фредерику Марию, невесту великого князя Михаила, будущую Елену Павловну, общественную деятельницу эпохи Великих реформ.

Важная должность — место наставника 6-летнего Александра, сына великого князя Николая, — предложена Жуковскому в июле 1825 года. Выдвинул его на этот пост Карамзин, ему царская семья полностью доверяла.

Дельвиг — Пушкину: «Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и <...> все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов картинку. Как обвинять его! Он исполнен великой идеи: образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его».⁹

Новая роль потребовала от Жуковского совершенно другого подхода к обучению. Свои первоначальные идеи он изложил в письме к своей бывшей ученице Александре Федоровне в ноябре 1825 года; мать маленького Александра воспринимала обращения Жуковского живо и заинтересованно, общение с нею сложилось для Жуковского несравненно легче и проще, чем с ее мужем.

«Я позволю себе представить Вашему Высочеству <...> некоторые общие мысли о ходе обучения, которое мы могли бы избрать для нашего дорогого дитя. <...> ...в воспитании и обучении есть три основных срока, которые нужно с ясностью различать и отделять четкими границами: Ребенок — мужчина — государь. <...> Нужно относиться к нему, как к ребенку, в детстве, чтобы он мог стать однажды мужчиной <...>. Мужчина должен учиться и быть деятельным. Государь должен иметь великие замыслы, прекрасный идеал, <...> естественный результат всего, что предшествовало. Такова, в нескольких словах, общая характеристика, которой нужно придерживаться в подготовительном обучении, основные его принципы. <...> ...пытаться обнять все, но в малой форме; <...> не затуманивать голову тем, <...> что составляет лишь частности; <...> медленно продвигаться от знакомого к незнакомому и оставлять позади лишь то, что уяснено, одним словом, лучше меньше, но хорошо усвоенное, чем много, но плохо усвоенное; ничего ради блеска, все ради прочности».¹⁰

14 декабря Жуковский прибыл в Зимний дворец, принял присягу новому императору, виделся с ним и императрицей и весь день неотступно находился при 7-летнем великом князе. Николай поступок поэта оценил, и это еще более упрочило положение Жуковского как воспитателя, а в дальнейшем ходатая по делам друзей и даже вовсе незнакомых людей.

Человек без должности при дворе? Император не может терпеть беспорядка, и Жуковскому велено «состоять по министерству духовных дел и народного просвещения» с чином коллежского асессора.

Но в придворной среде он был чужим. Абсолютно нечестолюбивый, не заинтересованный в придворной карьере, он сторонился светского общества. Вяземский уверял, что однажды, в день Светлого Воскресения, когда дворцовому кругу раздаются чины, ленты и прочие награды и все поздравляют друг друга, некий поздравитель обратился к Жуковскому: «Нельзя ли поздравить и ваше превосходительство?» — «Как же, — отвечает В. А., — и очень!» — «А с чем именно, позвольте спросить?» — «Да со днем Святой Пасхи».¹¹

Теперь Жуковскому из общих идей, представленных императрице, предстоит подготовить всеобъемлющий план занятий; он погружается в работу с присущей ему добросовестностью и методичностью, которая у отдаленно знавших его людей даже вызывала представление о его полунемецком происхождении.

Работая над планом занятий, Жуковский устал. Он почувствовал, что следует отдохнуть и полечиться, здоровье его вообще не отличалось крепостью. Он просит отпуск и в начале 1826 года уезжает на немецкие курорты, в Италию, в Швейцарию, в Париж, читает сочинения Песталоцци и Руссо о детском воспитании, обдумывает планы и формы будущих занятий с царственным учеником и надолго останавливается в Дрездене, где завершает разработку «Плана учения...». В октябре 1827 года возвращается в Россию, царь поселяет его в просторной квартире в Шепелевском дворце, части Зимнего дворца. Там Жуковский прожил 14 лет, до 1841 года, до отъезда за границу. (Вскоре дворец был разрушен, на его месте архитектор Кленце построил Новый Эрмитаж.)

Представляя царю «План учения...», Жуковский писал: «Я могу действовать на нравственность Великого Князя одним только образованием его мыслей. <...> ...Его Высочеству нужно быть не ученым, а просвещенным. Просвещение должно познакомить его только со всем тем, что в его время необходимо для общего блага и <...> для его собственного».¹² «План учения...» был утвержден императором почти без исправлений.

В основу «Плана учения...» были положены методы швейцарского педагога Песталоцци и идеи Руссо применительно к элитарному индивидуальному образованию.

Намечались три этапа.

Первый — с 8 до 13 лет: изучение общеобразовательных дисциплин.

Второй период — с 13 до 18 лет: начала основных наук.

Третий период — с 18 до 20 лет: учение, ориентированное на будущую жизненную практику наследника престола и круг его обязанностей.

Занятия начались 1 января 1828 года, через два месяца после возвращения Жуковского из-за границы, и формально продолжались до 29 апреля 1839 года, дня рождения Александра, которому в этот день исполнился 21 год. Александр прошел полный курс точных и гуманитарных наук в университетском объеме, курсы военных наук и государственного управления. Образование его было лучшим из всего, что было способно дать время. Педагогика, стиль обучения строились на доверительном общении, на заинтересованности цесаревича в учебе, на нравственных, философских, эстетических убеждениях самого Жуковского, на его парадоксальном соединении творческой и индивидуальной свободы и монархических убеждений.

Процесс обучения предусматривал моральное воспитание, то есть понимание «кем я должен быть» и «к чему я предназначен», а также свободу выбора: «свободно и с удовольствием делать то, что велит долг». «Цель воспитания вообще и учения в особенности есть образование для добродетели». ¹³

Всю жизнь он помнил слова, сказанные инспектором Благородного пансиона Антонским на выпускном акте 1797 года: «...просвещение без чистой нравственности и утончение ума без исправления сердца есть злейшая язва, истребляющая благоденствие не одних семейств, но и целых наций!»

История есть средство нравственно-политического воспитания. «Итак, всего необходимее для нас и для нашего государя твердая законность; привычка к ней и в царе и в подданных достаточно заменит всякую конституцию». ¹⁴ Государство крепко там, где властитель подчиняется закону, могущество не в одном державном владычестве, оно и в достоинстве и в благоденствии народа...

В пояснениях к «Плану учения...» третьего периода он писал:

«Люби и распространяй просвещение: оно — сильнейшая подпора благонамеренной власти; народ без просвещения есть народ без достоинства; им кажется легко управлять только тому, кто хочет властвовать для одной власти — но из слепых рабов легче сделать свирепых мятежников, нежели из подданных просвещенных, умеющих ценить благо порядка и законов. <...> Уважай закон и научи уважать его своим примером <...>. Люби свободу, то есть правосудие, ибо в нем и милосердие царей и свобода народов; свобода и порядок — одно и то же. <...> ...могущество государя не в числе его воинов, а в благоденствии народа. <...> Уважай народ свой...» ¹⁵

Изучать дисциплины следует так, чтобы ученик постигал их взаимосвязь, главное — возбудить в воспитаннике интерес к наукам, тогда обучение пойдет легко и результативно. Ученик не должен ощущать давления, он должен быть согласен с тем, что ему предлагается. Преподаванию географии, физики, химии должны помогать наглядные пособия — карты, физические приборы, практические опыты. Обучение военному делу должно включать военные науки, а экзерсисам следует отвести только каникулярное, летнее время.

Преподавателями были специалисты, избранные Жуковским, но первые уроки всех предметов проводил он, желая убедиться, что схема и метод правильны и уроки успешны. Историю, важнейший для будущего государя раздел знаний, Василий Андреевич преподавал сам. Для занятий по другому важному предмету, русскому языку и литературе, он избрал Плетнева. ¹⁶ Плетнев, советуясь с Жуковским, находил для чтения тексты из русских журналов и альманахов начала XIX века и русские переводы иностранных авторов.

Через два года Жуковский подготовил для 11-летнего воспитанника сборник «Собиратель», в него вошли фрагменты из Гомера, древних историков, «Естественной истории» Бюффона, стихи Шиллера и Гёте и обширная часть «Полтавы» Пушкина. Объясняя прочитанное, Плетнев говорил о художественности, поэтике, упор делал на нравственной стороне. Активному чтению произведений Пушкина была отдана зима 1836—1837 годов: «Борис Годунов», «Кавказский пленник», «Евгений Онегин». В своем дневнике юный цесаревич отмечает, что «Пушкина Онегин мне чрезвычайно

нравится». В конце декабря читали «Капитанскую дочку». Повесть читали с восхищением и другие дети императора Николая, а Константин исполнил иллюстрации. В дни дуэли, мучительных страданий и смерти Пушкина Александр, в отличие от его родителей, глубоко сочувствует поэту. «...Бедный Пушкин...» — пишет он в дневнике. 2 февраля 1837 года: «Воротившись домой я зашел к маме <...>. Вас<илий> Ан<дреевич> Жук<овский> пришел к нам и рассказывал нам в большой подробности всю эту ужасную Пушкинскую историю». ¹⁷

«Литература есть вернейшая картина духовной жизни народа», — писал Плетнев, прощаясь с Александром после девяти лет учебы. ¹⁸

Важное место занимало религиозное образование. Его вел протоиерей отец Павский, выдающийся религиовед, сделавший, по словам Жуковского, «преподавание религии элементом просвещения». «...История священная должна быть прежде всего преподана воспитанникам. <...> Исторический взгляд на религию, — утверждал Павский, — должен предшествовать всякому другому взгляду...» ¹⁹

В 1835—1837 годах Михаил Михайлович Сперанский ведет с наследником беседы о законах. Самодержавная власть — власть неограниченная, никакая другая власть, ни церковные, ни государственные, военные, судебные институты не могут воспрепятствовать монарху в претворении его законодательных и исполнительных функций. Но установленные им самим законы он не волен нарушать, не волен не исполнять. Его законные права — есть правда царская, там, где кончается правда, там начинается самовластие и кончается самодержавие.

«Я простился с светом; он весь в учебной комнате Великого Князя, где я исполняю свое дело, и в моем кабинете, где я к нему готовлюсь <...>. Каждый из учителей Великого Князя имеет определенную часть свою; я же не только смотрю за ходом учения, но и сам работаю по всем главным частям. <...> Чтобы вести такую жизнь, какую веду я, нужен энтузиазм...» ²⁰

Жуковский стремился умерить военные и придворные обязанности цесаревича. Военным воспитателем был полковник Мердер, избранный отцом-императором еще в 1824 году, к нему маленький мальчик очень привязался. Николаю Павловичу все было мало, он пенял Мердеру: «...Александр показывает <...> мало усердия к военным наукам. <...> ...он должен быть военным в душе, без чего он будет потерян в нашем веке...» ²¹

Как мог боролся Василий Андреевич с напором солдатской психологии, смело и резко протестовал против фрунта, даже когда предлог казался простительным. В 1826 году 8-летний Александр, в форме корнета лейб-гвардии Гусарского полка, участвовал в коронационном параде. Казалось бы, повод достаточный. Но наставник расстроен и обращается к императрице Александре Федоровне с письмом: «Эпизод этот, государыня, совершенно лишний в прекрасной поэме, над которою мы трудимся. Ради Бога, чтобы в будущем не было подобных сцен. <...> ...эти воинственные игрушки не испортят ли в нем того, что должно быть первым назначением? Должен ли он <...> действовать единственно в сжатом горизонте генерала? Когда же будут у нас законодатели? Когда же будут смотреть с уважением на истинные нужды

народа, на законы, просвещение, нравственность? <...> ...страсть к военному ремеслу стеснит его душу; он привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве — казарму...»²²

Александра Федоровна сообщила о письме мужу, и Николай признал правоту Жуковского и отправил сына в первый военный лагерь в 11-летнем возрасте, а не в 9-летнем, как это практиковалось ранее.

В январе 1829 года после завершения экзамена по первому году обучения Жуковский обратился к 10-летнему великому князю со словами: «Вы, великий князь, по тому месту, на которое назначил вас Бог, будете со временем замечены в истории. От этого ничто избавить вас не может. Она скажет об вас свое мнение пред целым светом и на все времена, — мнение, которое будет жить в ней и тогда, когда и вас, и нас не будет. <...> Отечество прежде начнет судить вас строго и потом уже станет любить вас, если вы это заслужите».²³

Авторитет воспитателя в глазах ребенка, в чью душу все легко ложится и запоминается, был велик. В зрелом возрасте цесаревич Александр, притом что любил и уважал отца, императора Николая, стремился действовать в духе гражданственности и справедливости — и это несомненное влияние Жуковского.

Но не сразу это далось. В дневнике наставника много горьких слов по поводу ученика, которому он отдал столько труда, вложил столько души: «Во время лекций <...> Великий князь слушал с каким-то холодным недовольным невниманием <...>. Я для него только представитель скуки. <...> Посреди каких идей обыкновенно кружится бедная голова его и дремлет его сердце!»; «В(еликий) к(нязь) не дослушал чтения; это было неприлично»; «Он учится весьма небрежно <...>. Ум его спит, и не знаю, что может пробудить его?».²⁴

Что повлекло Жуковского к такому заключению?

Был июнь, Александр уже рвался к военным занятиям в военном лагере? Быть может, это была случайность, неудачный день? Осенью 13-летний мальчик рассуждает как зрелый человек. 15 сентября он записывает в дневнике: «Господин Липман (один из его учителей. — Ю. З.) <...> мне говорит, что предпочитает Государя, заботящегося об образовании народа своего, тому, который только думает о завоеваниях; мысль сия мне кажется весьма справедливой. Первая забота Государя, по моему мнению, есть попечение о благоденствии своих подданных. Государь завоеватель поступает вопреки сему правилу».²⁵

Когда, чувствуя недомогание и усталость, Жуковский уезжал в заграничный отпуск и они подолгу не виделись, наставник писал своему ученику многостраничные письма; так было вплоть до самой смерти Василия Андреевича. Зимой 1832—1833 года в письме из швейцарского Веве он пишет цесаревичу: «Мы живем в такое время, в которое нужна бодрость, нужно твердое сознание своих обязанностей <...>. ...в наше бурное время необходимее нежели когда-нибудь, чтобы государи своею жизнью, своим нравственным достоинством, своею справедливостью, своею чистою любовью общего блага были образцами на земле...»²⁶

Заметим, что это было написано под непосредственным впечатлением революции 1830 года во Франции, польского восстания 1830—1831 годов

и прекращения работы «комиссии 6 декабря», призванной разработать некоторые преобразования государственного порядка в России.

Летом 1837 года по программе, составленной царем-отцом, великий князь Александр с Жуковским и большой свитой предпринял путешествие по России. Путешествие оказалось познавательным и полезным во многих отношениях: из узкого придворного круга 19-летний цесаревич вырвался в пространство России. «Венчание с Россией» — назвал Жуковский первое путешествие представителя дома Романовых по Сибири. Вятка, Екатеринбург, Тагил, Тюмень, Тобольск, Курган, Златоуст, Ялуторовск открыли воспитаннику и его наставнику неизвестный мир.

Герцен с сарказмом описал чиновничью суету, которая предшествовала приезду наследника в Вятку. Губернатор «Тюфяев продолжал брать свирепые меры для вящего удовольствия „его высочества“», терроризируя местных жителей. Все стало известно цесаревичу, и явившийся с поклонами Тюфяев был встречен весьма сухо.

«Вид наследника не выражал той узкой строгости, той холодной, беспощадной жестокости, как вид его отца; черты его скорее показывали добродушие <...>. Несколько слов, которые он сказал мне, были ласковы <...>. Когда он уехал, Жуковский и Арсеньев <...> предложили мне сказать наследнику об моем положении, и действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург. <...> Государь <...>, взяв во внимание представление наследника, велел меня перевести во Владимир...»²⁷

В Кургане Жуковский тотчас встретился с поселенными там декабристами Нарышкиным, Бриггеном, Лорером, Розеном. «С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного, добрейшего человека! — пишет Лорер в своих „Записках...“ — Он жал нам руки...» Утром он прибежал «нам объявить, что его высочество желает, чтобы и мы были в церкви (с ним. — Ю. З.). <...> Жуковский собрал нас в кучу и поставил поближе к наследнику. <...> По окончании обедни наследник пристально посмотрел на нас и поклонился». ²⁸ Жуковский говорит: «...я все представляю его высочеству, тринадцать лет нахожусь при нем и твердо убедился, что сердце у его на месте; где он только может сделать какое добро, он сделает его охотно». ²⁹

В Ялуторовске встреча наследника с восемью декабристами. Цесаревич и Жуковский — каждый со своей стороны — просили царя за всех высланных; ходатайство было отправлено со специальным фельдъегерем.

Царь разрешил некоторым из поселенных в Тобольской губернии декабристам поступить в Отдельный Кавказский корпус солдатами. После холодной Сибири они оказались в теплой (так они называли Кавказ), но у них появилась надежда выслуги чина и отставки. На этом Жуковский не остановился: в письме к императрице он упоминает о жене Нарышкина, фрейлине императрицы, которая поехала к мужу в Сибирь, о Якушкине, Бриггене, Муравьеве-Апостоле... «А их дети, оставленные в России или родившиеся в изгнании; а их родные, для которых давно совершившееся бедствие не остарилось, а свежо и живо, как в первую минуту!»³⁰

Долгое семимесячное путешествие по глубинам России произвело на восприимчивого Александра глубокое впечатление. Он видел города, селения, почувствовал за выстроенным, принаряженным местными властями народом живую жизнь, народный быт. «Там много раскольников, от которых поступило множество просьб, заслуживающих внимания, в прошениях своих они объясняют, что поелику в России веротерпимость позволяет всем проповедовать свою религию, и магометанам, евреям и язычникам, то почему их — древних сынов Православной церкви притесняют. Это положение заслуживает особенного внимания, ибо они могут быть приведены до крайности местными властями, которые часто грубо и неосторожно приступают к выполнению благих намерений правительства... Видя землю Русскую теперь изблизи, более и более привязываюсь к ней, считаю себя счастливым, что Богом предназначен всю жизнь свою ей посвятить», — писал он отцу.³¹

Он почувствовал, что будущие царские обязанности лягут на него огромной ношей. Особенно поразили ссыльные декабристы, образованные благородные люди, обреченные на трудную, тяжелую долю. Когда он стал императором, почти первым его помыслом стало освобождение декабристов и петрашевцев, возвращение их в европейскую Россию.

Поездка продолжалась. Тула, Москва (обед в честь Жуковского, устроенный почитателями его таланта: Шевырев, Аксаков, Загоскин, Нащокин, Денис Давыдов, Баратынский, Погодин), затем Вознесенск на Южном Буге; здесь в июне — октябре 1837 года проходили большие маневры под личным руководством императора. Жуковский, получив отпуск, еще раньше уехал в Одессу, Крым и Киев.

Маневры под Вознесенском заменили празднование 25-летия Бородинского сражения; в декабре 1837 года победа отмечалась лишь закладкой главного памятника на месте батареи Раевского и места для захоронения праха Багратиона. На последнем настоял Денис Давыдов, адъютант Багратиона. С конца XVIII века село Бородино принадлежало семье Давыдовых. Село было разрушено и сожжено во время битвы 1812 года. В 1837 году, в день 25-летия Бородинского сражения, Бородино было выкуплено казной и подарено цесаревичу Александру. Празднование состоялось 26 августа 1839 года; открыт памятник, перезахоронен прах Багратиона. Давыдов церемонии не увидел, он умер за три месяца перед ней.

В 1932 памятник был снесен как «не имеющий художественной и исторической ценности», при взрыве разнесло могилу Багратиона. В 1987 году памятник и могилу восстановили, но гроб, захороненный с воинским салютом... из четырех винтовок, был, по существу, пуст: при подготовке к захоронению нашли лишь четыре мундирные пуговицы, кусочек ткани и несколько косточек.³²

На торжествах августа 1839 года, проведенных помпезно, с присутствием всего Императорского двора, огромной свиты, окрестных дворян и простого народа, с парадом многочисленных полков, находился и Жуковский, участник знаменитой баталии. В эти дни он написал «Бородинскую годовщину» — отзвук «Певца во стане русских воинов». Те же имена генералов 1812 года, но без величания, а с печалью. То был реквием героической эпохе, тоска, ныне

охватившая страну и его самого. Надеюсь на радостное настроение государя, он просил за семьи декабристов; в ответ — молчание.

Парад массы войск, сверкание в лучах солнца 140 тысяч штыков и сабель привели императора в восторг, он кинулся командовать, за ним и цесаревич. «Доброго Жуковского» — так поэта звали и в царской семье, и в среде друзей — воинственный пыл Александра рассердил и опечалил. Год совершеннолетия наследника, окончился курс его обучения — и как же он готовится к царскому званию?

Сразу после праздника и парадного обеда Василий Андреевич уехал в Москву и не присутствовал на дальнейших приемах «бородинского помещика» цесаревича Александра, лишь отправил ему свой реквием и добавил: «Одним из <...> эпизодов этой чудной картины были израненные, безрукие и безногие, иные покрытые лохмотьями бедности, бородинские инвалиды, которые сидели на подножии памятника или, положив подле себя своя костыли, отдыхали на гробе Багратиона. <...> ...мне было жестоко больно, что ни одного из этих *главных героев дня* я после не встретил за нашим обедом. Они, почетные гости этого пира, *были забыты*, воротятся с горем на душе восвояси, и что скажет каждый в стороне своей о сделанном им приеме, они, которые надеялись принести в свои бедные дома воспоминание сладкое, богатый запас для рассказов и детям и внукам? И кажется мне, справедливость бы требовала, что <...> отставные раненые были включены в число тех, кои, как я слышал, должны теперь получать то жалованье, которое в эпоху Бородин они получали. Им-то оно и нужно, а их так немного».³³

27 октября Жуковский записывает в дневнике: «Нельзя без негодования думать о ветренности, с коею жертвуют жизнью великого князя, и чему же? Царской игрушке, которая неприлична царю, России и убивает все способности государственные. Великого князя <...> с утра до вечера заставляют командовать: здесь играем в войну и любимся парадом, а внутри государства режут и жгут, и некоего послать, чтобы унять разбойников».³⁴

Помощь, которую Жуковский оказывал ссыльным декабристам, была звеном в цепи многочисленных подобных дел, которые он начал с момента вступления на порог Зимнего дворца.

В 1832 году Жуковский вступает за Ивана Киреевского, своего свойственника. По доносу Булгарина запрещен журнал Киреевского «Европеец». Жуковский пишет Бенкендорфу: никакой крамолы ни в статье Киреевского «Девятнадцатый век», ни в историко-публицистических рассуждениях автора, нет. «Клеветник утверждает», что «под некоторыми выражениями, им употребленными в статье <...>, надобно разуметь другие, тайные, дающие оным совсем иной и вредный смысл», «не подтвердив того никаким доказательством. <...> Никогда Русская литература не бывала в таком унижении, как теперь...».³⁵ Примерно то же самое он пишет в письме императору.

Все напрасно, в статье усмотрены опасный политический смысл и призраки революции, журнал Киреевского запрещен, возврата не будет. Добился Жуковский лишь одного: предупреждения, что у императора сложился взгляд на него как на «главу партии, защитника всех, кто только худ с правительством».

В своих письмах шефу III Отделения и императору Жуковский не называет имя клеветника-доносчика, адресаты прекрасно знают, о ком идет речь — о Фаддее Булгарине.³⁶ Еще в 1830 году он что-то наплел Николаю о Жуковском, и Василий Андреевич вынужден оправдываться. Он пишет царю большое письмо с детальным обзором обстоятельств своей жизни, о радости, которую он испытывает, занимаясь с наследником, подробно рассказывает о его учебе и успехах.

«Государыня сказала мне, что Ваше Величество не довольны мною за то, что я впутываюсь в литературные ссоры <...>. Вот все, что мне известно. Кто обвинил меня? Чем подтверждено это обвинение? Не знаю! Могу только догадываться и никого не могу представить себе кроме Булгарина. <...> Умоляю Ваше Величество, будьте сострадательны, допустите меня к себе, благоволите изъяснить, в чем вина моя перед Вами».³⁷ Николай ничего не ответил, не принял наставника своего сына. Императрица сумела убедить супруга, что он должен успокоить Жуковского. Встретив его в Зимнем дворце, царь обнял его и сказал: «Кто старое помянет, тому глаз вон!»

Жуковский убежден, что самодержавие, но самодержавие просвещенное, сочетающее историческую власть со свободой личности, — единственно правильный выбор для России. Сам он сторонился политики, считал своим призывом и долгом просветительскую деятельность. Просвещать был готов и царскую семью. «Ни моя жизнь, ни мои занятия, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому. Но когда же общее дело было мне чуждо?»³⁸ Этим общим делом была и помощь «униженным и оскорбленным». От этих убеждений он никогда не отказывался. «Я <...> буду продолжать жить, как я жил. Не могу покорить себя ни Булгариним, ни даже Бенкендорфу...» — записал он позднее в своем дневнике.³⁹ В составленной для цесаревича тетради «О самодержавии» Жуковский сначала записал: «Один русский народ понимает самодержавие! Но понимает ли русский самодержец, что такое самодержавие?» Потом вторую фразу зачеркнул.

Своего второго сына, Константина, император предназначал для морской службы и воспитателем его избрал 35-летнего капитана Федора Петровича Литке, известного мореплавателя, участника кругосветного плавания и четырех экспедиций по Северному Ледовитому океану. Литке — наставник и попечитель до полного совершеннолетия великого князя Константина. Эта должность, как он писал Жуковскому, была по его склонностям и интересам совершенно чужда ему, как чужд ему был круг придворный. «...Я никогда не чувствовал <себя> at home в этом мире — ни мир не был совершенно по мне, ни я по миру...» — писал он в письме Жуковскому много позже, в 27 октября 1848 года.⁴⁰

Человек порядочный и добросовестный, Федор Петрович отнесся к новым обязанностям чрезвычайно ответственно. Общение и переписка с Жуковским весьма ему помогали, он пользовался его разработками. Знакомство превратилось в дружбу, построенную на взаимной симпатии и близости их нравственных принципов, из которых и проистекало сходство педагогических идей. Воспитанниками Жуковского и Литке были дети императора, один предназначался стать верховным владыкой России, другой — его первым

помощником, оба наставника понимали свою высокую ответственность в том, какими нравственными и царскими качествами будут обладать их подопечные.

Литке сообщает Жуковскому, что великий князь сам собирается писать к нему. Действительно, в ноябре 1840 года Жуковский получил письмо и сразу ответил. Переписка длилась 11 лет, последнее письмо написано, когда поэт едва мог писать, он почти ослеп.

Первые письма Жуковского к Константину носят наставительный характер. Слог 13-летнего великого князя, по-видимому, не удовлетворил поэта Жуковского; в первом ответном письме 17 ноября 1840 года Василий Андреевич цитирует Бюффона, великого ученого: «Стиль — это человек». Ясность слога означает ясность мысли, убедительность письма, глубину знаний, словарный запас. Жуковский подробно разбирает недостатки языка Константина, при этом в вежливой форме, он хочет учить, не задевая самолюбия. Постепенно содержательность писем Константина растет, и письма Жуковского к нему становятся разнообразнее и богаче.

В большом письме 10 декабря того же года Жуковский высказывает важное соображение: «Мы начинаем с вами вести переписку. Это не значит, что мы будем писать друг к другу в положенное время письма; нет, это значит, что мы будем свободно, с доверенностью взаимной <...> меняться друг с другом мыслями, замечаниями и чувствами. <...> Это даст нашей переписке и жизнь и прелесть...»⁴¹

Отвечая Константину на его вопросы, обсуждая его проблемы, Жуковский косвенно раскрывает перед нами внутренний мир ребенка, юноши; мы можем судить о нравственных понятиях, намерениях юного Константина, сложившихся под влиянием его воспитателей.

Однажды Константин написал, что перед ним стоит выбор, как перед Геркулесом.⁴²

Нет, отвечает Василий Андреевич, вы еще молоды, альтернативы еще впереди, но помните, что вам понадобятся Геркулесовы силы в минуту решительную, понадобится вся сила воли, чтобы избрать высокое и отвергнуть низкое. «Вам потребуются знания, т<о> е<сть> истинное просвещение ума, постижение долга и Вашего назначения в особенности... <...> дайте самому себе твердое слово делать всегда <...> то, что велит должность, и давши один раз себе такое слово, старайтесь всегда быть ему верным. После стального плуга Петра русскому царю легко быть справедливым, благостным и умеренным».⁴³

Далее следует откровенная критика существующего порядка вещей: «Один строгий порядок <...> еще не составляет благоденствия общественно-го. Он необходим <...>, но <...>. При порядке должна быть жизнь. Порядок есть и на кладбище, <...> но это порядок гробов. <...> ...необходимо, чтобы все, что составляет жизнь души человеческой, цвело без всякого утеснения (но цвело без нарушения порядка). Вы обязаны скорее других сделаться зрелым человеком, ибо Вы стоите на виду, и Вас уже судят, судят строго. Вы должны стоять на высоте своего века своим всеобъемлющим просвещением, своей правдой, основанной на любящей правде Христа, и на правде закона гражданского».⁴⁴

Василий Андреевич повторяет царским детям, что люди равны в своем естестве, «и царь, и последний нищий; ибо, кончив свою земную дорогу, мы ничего с собою не возьмем, кроме нашей души, а все прочее, царская ли корона или рубище нищего, останется в одинаковом прахе».⁴⁵ Но есть важное различие: человек, стоящий высоко, находится в поле суда народного при жизни и под судом истории по смерти.

7 мая 1845 года, в преддверии очередного плаванья вокруг Европы с заходом в Стамбул, 18-летний генерал-адмирал великий князь Константин пишет Василию Андреевичу, что ему снятся сны о древнем походе русских на Константинополь.

«Когда Вы будете читать это письмо, я уже буду в Царьграде, в котором не было еще русского князя с тех пор, как на его вратах висел щит Олега! Доживу ли я до того времени, что это повторится?»

Ваш сон о щите Олеговом имеет свое поэтическое достоинство; в практическом отношении он просто сон — отвечает Жуковский, — пусть останется сном. Нет, избави нас Бог от превращения Русского Царства в Империю Византийскую. Не брать и никому не давать Константинополя, этого для нас довольно. Нам не нужны новые завоевания, нам нужно заботиться о внутреннем благоденствии».⁴⁶

Чуть позже во взглядах Жуковского проявляются славянофильские тенденции, и в 1849 году он пишет Константину совсем иное: «Иерусалим должен принадлежать христианскому миру и рабство гроба Господня должно быть наконец уничтожено».⁴⁷ Совершиться это должно мирным, бескровным путем, путем договора с Оттоманской империей.

Он пишет о том же цесаревичу. Но осторожный Александр, в отличие от своего темпераментного брата, отнесся скептически к идее разгоряченного поэта: «Пусть враги Христа оскверняют священное место своими действиями; это все-таки сноснее, чем осквернение его интригами и враждою христианских держав...»⁴⁸

Как относились Александр и Константин к своим наставникам?

В своих детских письмах августейшие ученики с благодарностью за наставления и учебу рассказывают о том, что сделано и что сделать надлежит, о мамá и папá, о братьях и сестрах, о путешествиях и поездках, о радости, которую они испытывают, если им удастся совершить доброе дело, например собрать деньги в пользу сиротских домов. Видны их доброта и скромность, у них нет фанаберии, пренебрежения к людям и пустозвонства.

В какой мере это следствие природных характеров, в какой — результат усилий Жуковского и Литке и хорошо ими подобранных учителей? Наставники раскрыли заложенные в Александре и Константине высокие моральные качества, сердечную доброту, пробудили способности, которые могли и не проявиться при других учителях, — и в этом величайшая заслуга Жуковского и Литке.

Повзрослев, они писали учителям о своих делах и днях подробнее и глубже, и, хотя суждения о происходящем вне дворца редки, можно не сомневаться в их приверженности самодержавию в просвещенной ипостаси и к полному отторжению самоуправной воли низов. Европейские революции

1848 года возмутили, вызвали гнев цесаревича Александра, он пишет Жуковскому 10 июля 1848 года: «...что будет из хаоса, в котором находится вся Западная Европа? <...> Дай бог, чтобы пример последних парижских происшествий, где порядок восторжествовал над безначалием, подействовал на Германию и придал бы более старания благомыслящим, которые, к сожалению, долго везде уступали постыдно мнению крикунов радикалов. <...> Да сохранит Бог нашу матушку Россию спокойною, сильною и счастливою под державным скипетром нашего государя».⁴⁹

В феврале 1840 года цесаревич отправился в очередное европейское турне, с ним ехал и Жуковский. В Эмсе он увидел 19-летнюю Елизавету, дочь художника Рейтерна, давнего своего знакомого. Это судьба, решил 57-летний Василий Андреевич и подал царю прошение об отставке. Отставка лишала бы его жалованья пять тысяч рублей в год. Отказывался он и от пенсии четыре тысячи рублей, назначенной ему Александром I; оставалась лишь пожизненная аренда три тысячи рублей в год (доход с государственного имения), полученная в 1834 году. Взамен он просил заем для обзаведения семейным жильем, а также разрешение жить три года в Германии.

Согласия не было дано ни на отставку, ни на заем.

Николая возмутило намерение Жуковского уйти с государственной службы, распорядиться самим собой. Что за самовольство! В России всем и всеми распоряжается император! Вместо трехгодичного предоставлен двухмесячный отпуск, просьба о займе объявлена «безмерной». Императрица и наследник, его воспитанник, присоединились к мнению императора об «алчности» Жуковского.

Поэт был оскорблен. «Император даровал мне двухмесячный отпуск, — писал Жуковский императрице, — но не соблаговолил высказаться о моем будущем. Великий князь дает мне понять, что мои просьбы превысили меру, и эти слова, с которыми ему никогда не следовало бы обращаться ко мне... смешивают меня с толпой людей алчных, которые только и думают, что о деньгах... И вы тоже разделяете это мнение, столь несправедливое по отношению ко мне... <...> А я все-таки не заслуживаю того; тем более у меня причин прилепиться к дружескому сердцу (Елизавете Рейтерн. — Ю. З.) чтобы подле него найти и душевный мир и истинную цену жизни».⁵⁰

Письмо было подписано «Жуковский», без обязательных формул вежливости. Это было беспримерное по резкости и несправедливое письмо. Александр Николаевич относился к своему наставнику с приязнью и уважением, об этом свидетельствуют его поступки и письма. В данном же случае он понял, что перечить разгневанному отцу бесполезно. Также была вынуждена поступить и Александра Федоровна.

Обошлось лишь через год: 16 апреля 1841 года, в день бракосочетания наследника престола, Жуковский был произведен в тайные советники и назначен «состоящим при цесаревиче». В этой должности Жуковский числился до конца жизни. Разрешение жить в Германии возобновлялось каждые три года.

Свадьба Жуковского и Елизаветы Рейтерн свершилась 21 мая 1841 года. Счастье быстро сменилось страданием — на пятом месяце беременности

у Елизаветы случился выкидыш, она едва выжила и очень долго восстанавливалась. В 1843 и в 1845 годах в трудных родах родились девочка и мальчик, его крестным отцом стал цесаревич Александр Николаевич. Здоровье Елизаветы продолжало волновать. Жуковский с детства был верующим, но рождение детей, состояние их матери на грани жизни и смерти возбудили в его душе сильнейшую религиозную экзальтацию.

«Этот чистый свет, свет христианства, который всегда мне был по сердцу, был завешен передо мною прозрачной завесой жизни». Теперь он осознал, что и счастье и страдание посланы Богом, они неразделимы — в этом неизъяснимая Божественная тайна и тайна человеческого существования. Все попытки человека постичь замысел Бога бессмысленны, более того — греховны. Законы и заповеди православия выше установлений католических и протестантских, не возбраняющих религиозно-философские рассуждения и исследования, которые уничтожают «неподсудный человеку авторитет церкви. Так и в политическом мире: уродливая идея народного самодержавия, вместо указанной свыше Божественной власти, уничтожает всякую возможность общественного порядка. Все, что церковь дала нам, мы должны принять безусловной верой, нашему уму в это не стоит мешаться».⁵¹

В письме 15 марта 1850 года Плетневу Жуковский продолжает развивать свои религиозные взгляды: «Наука жизни есть признание воли Божией — сперва просто признание, что она выше всего, и что мы здесь для покорности; потом смирение в признании, исключаящее всякие толки ума <...>, могущие привести к ропоту, потом <...> целительная доверенность; наконец, сладостное чувство благодарности за науку страдания и живая любовь к Учителю и его строгому учению».⁵²

В письме другому адресату он пишет: «Так Богу угодно! в этом слове и единственно возможное изъяснение наших земных бедствий, и единственное утешение».⁵³

Если ранее, живя в России, Жуковский борется за своих друзей, отстаивает их достоинство перед царем и вельможами, возмущается крепостничеством, ратует за самодержавие просвещенное, объясняет Александру, что царь должен заботиться о народном благе, готовить народ к постепенному освобождению, то со второй половины 1840-х его убеждения меняются кардинально. Экспрессивная религиозность набрасывает пелену на его представление о жизни, его мировоззрение становятся все более охранительным и ортодоксальным.

Иллюстрацией этой перемены Жуковского служит его письмо Плетневу 7 марта 1848 года из Франкфурта-на-Майне: «Любезный Петр Александрович <...>. И над нашею головою прошла туча, но она прошла мимо, хотя и могла на нас гибельным образом грянуть. Теперь Франкфурт на Майне есть самый покойный и безопасный уголок Германии <...>. Здесь все в совершенном порядке, именно от того, что здешнее гражданство в ладу с правительством и что здесь не существует пролетариата, который теперь составляет везде один из главных элементов всеобщего расстройства. <...>

Из-за Рейна подымается громовая туча; а южною Германиею овладели бешеные радикалы, <...> — их цель буйное властвование, и для достижения

этой цели они считают все средства позволенными. То, что происходит теперь <...> особенно в Пруссии, должно решить судьбу всей Германии и может быть всей Европы.

Мы в стороне: нашу самобытную Россию можно теперь сравнить с <...> Медным Петром, который, топчась змею, взлетел на скалу <...>. Они кричат: Затворить России дверь в Европу! Россия и не хочет входить в дверь Европы: для нее довольно одного окна, ей прорубленного Петром, из которого едва не сделалась широкая дверь, но которую теперь опять надобно сделать только окном. <...> Россия будет Россиею, отдельным, самобытным миром. Кто из Русских <...> теперь не поблагодарит в глубине сердца Бога, что у нас самодержавие сохранилось во всей его неприкосновенности. Самодержавие, в котором выражена вся история дней минувших, самодержавие — представитель высшей власти, без веры в которую нет надежной жизни, ни гражданской, ни семейной; самодержавие, которое <...> приведет Россию ее особым, твердым, безопасным и тихим путем к тому же результату, к которому теперь Европа надеется домчаться по железной дороге необузданного демократизма».

Отголоски прежних благозвучий звучат во второй части письма.

«А в чем состоит эта надежная жизнь: в неприкосновенности блага частного, которое, будучи хранимо властью, составляет <...> благоденствие общее, в неприкосновенности всех личных прав, принадлежащих всем и каждому, и в отражении всех притязаний на права, частному лицу не принадлежащих, в оживлении веры, в охранении собственности, в распространении света здравых идей, одним словом, в даровании возможностей всякому на своем месте: так жить и действовать, как велит Бог и совесть. В России <...> такая жизнь всем и каждому может быть дарована только одним самодержавием. Это монархическое самодержавие, столь же далекое по свойству своему от восточного деспотизма, как и от народного самодержавия республики, все еще неприкосновенное, в руке Царя Русского».

Дальнейшее содержание письма — усугубленная реакция, свидетельство полного отторжения реальности. Словом «пролетарий» Жуковский называет отпущенных после военной службы солдат, не имеющих средств к существованию так как не хотят или не умеют работать. «...Эти бессрочные (? — Ю. З.) <...> пугают меня несказанно за будущее России. По сию пору от них не было явного беспорядка, но, как вообще я слышал от всех благонамеренных русских, они составляют великую тягость для помещиков и для крестьян. А для последних они чрезвычайно вредны и умственно».

Мне кажется, что наши бессрочные <...> суть не иное что как пролетарий такого рода, который, по моему мнению, есть самый худший и опаснейший. Они не умеют владеть ни сохой, ни топором, но они умеют владеть ружьем и не испугаются пушки; они привыкли покоряться команде и фрунту, но не привыкли покоряться нужде, условию, долгу и уважать чужое право <...>. Вообразите массу таких пролетариев? Что они в государстве? И что будет с государством, если эта масса делается силою и если злонамеренность вздумает употребить ее в свою пользу. <...>

У нас книгопечатание обуздано — и если может вредить, то медленным ядом, а не быстрым, сильным и повсеместным влиянием. У нас нет ни брошюр политических, ни памфлетов. Их место заступают наши бессрочные;

<...> у них множество фальшивых полуидей, которых они там и тут нахватились, бродя по России во время смотров и возвращаясь на свои пункты со своими рассказами и умствованиями, которые, конечно, не все в пользу порядка и власти. Так мне это кажется... <...>

Прошу Вас показать это письмо Его Высочеству наследнику». ⁵⁴

Девять лет живет Жуковский безвыездно в Германии, русские впечатления притупились, теперь они подернуты розовым флером. Но немецкие пролетарии прямо перед ним, а что бунт низов, ужас «народного самодержавия» обнажает бездну, в этом он был убежден и раньше, только теперь он увидел это воочию.

Почему такие, ни с чем не сообразные мысли пришли в голову нашему поэту? Надо вспомнить его первую реакцию на восстание декабристов — это выступление он и тогда считал нарушением завета Бога и самодержавия.

Восстание декабристов произвело на Жуковского ужасное впечатление. В его глазах личная свобода вполне сочеталась с просвещенным монархическим правлением, каковое Жуковский хотел видеть в самодержавии императора Николая. Хотя крепостное право противоречит нравственным критериям, основанным на законе и праве, — сам Жуковский в 1821 году отпустил на свободу своих 17 крепостных, доставшихся ему вместе с имением Холх, — но не восстанием против законной власти отменять его. Описывая события 14 декабря в письме Александру Тургеневу, Жуковский со всей силой выражает возмущение: «Имена заговорщиков были известны <...>. Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников? Вот имена этого сброда. Главные и умнейшие Якубович и Оболенский; все прочие мелкая дрянь <...>. ...вся сволочь составлена из подлецов малодушных. Они только имели дух возбудить кровопролитие; но ни один из них не ранен, ни один не предпочел смерть ужасу быть схваченным и приведенным на суд с завязанными сзади руками. Презренные злодеи, которые хотели с такой бездушной свирепостью резать Россию». ⁵⁵

Наш поэт являл собою верноподданного оппозиционера. «Состояние народа без свободы мнения есть состояние частного человека, лишённого ума. <...> Управлять умом человеческим и народом просвещенным — искусство. Для безумцев и для бунтующего народа одно средство управления — цепи». ⁵⁶

Но тогда доброта природы Жуковского постепенно взяла верх, картина восстания 14 декабря раскрылась перед ним во всей ее сложности и противоречивости, возмущение «злодеями» и «разбойниками» сменилось ощущением, что многочисленные аресты, возможно, были чрезмерны.

«Крепость населена — это несчастье неизбежное; может быть между поселенцами есть и невинные, но прежде надобно узнать, что они невинны, потом они получают свободу. <...> Гроза была, теперь посмотрим, воспользуются ли благотворением грозы, чтобы удобрить заброшенную ниву». ⁵⁷

Тогда он считал, что власть должна быть милосердной. И еще за три года до событий 1848—1849 годов, в мае 1845 года, Жуковский выступает перед тем же Его Высочеством наследником с новым ходатайством за декабристов: «Если бы в эту минуту я находился близ государя, <...> я бы сказал ему: „Государь, дайте волю вашей благости... Двадцать лет изгнания удовлетворяют

всякому правосудию“. Если же не могу говорить прямо царю, то говорю прямо его наследнику».

Теперь же он восхищается не только кровавым подавлением восстания берлинских рабочих, но и другим решительным поступком прусского короля, отменившего вырванную у него ранее конституцию.

Невероятная по объему многолетняя ежедневная работа (только писем, часто многостраничных, написано более двух тысяч), болезнь изнурили Жуковского. Что станет с семьей, когда его не будет? У него двое маленьких детей, нужна монаршая поддержка, обращаться прямо к государю неуместно, и в ноябре 1851 года он просит цесаревича Александра Николаевича представить императору проект обеспечения его семьи в будущем. Собрание его сочинений (1849) продается плохо. Если казна возьмет на себя продажу оставшегося тиража и сразу выдаст ему доход от продажи, это составит 33 тысячи рублей серебром, и с выдачей заложенного вперед ежегодного дохода сумма будет достаточной для жизни семьи после его смерти.

Цесаревич Александр готов ему помочь. Предпринимает необходимые шаги и пишет Жуковскому 25 января 1852 года: «...насчет желания Вашего об обеспечении будущего Вашего семейства, я должен Вам повторить то, что уже несколько лет тому назад Вам писал, т<о> е<сть> слова государя: „Скажи доброму Жуковскому, что он напрасно об этом беспокоится. Дай Бог ему еще много лет жизни, когда же его не станет, то семейство его я, верно, не оставлю. Он, кажется, меня знает и с чего было бы ему в этом усомниться“». ⁵⁸

Еще раньше, 29 марта 1849 года, князь Вяземский устроил большой вечер по случаю 50-летней деятельности Жуковского. В его честь произносили речи, читали стихи, пели хор, сочиненный Михаилом Виельгорским. За праздничным столом вместе с гостями сидел цесаревич Александр Николаевич. На следующий день он отправил Жуковскому письмо: «Вчерашний вечер мы провели самым приятным образом у Вяземских, где были собраны все Ваши друзья, чтобы праздновать Ваше литературное 50-летие. Если бы Вы видели, с каким чувством были прочтены стихи и пропеты куплеты в Вашу честь, сопровождаемые каждый раз общим *русским ура!*» ⁵⁹

Жуковский скончался 12 апреля 1852 года в Баден-Бадене. На могильном камне выбито его короткое стихотворение «Воспоминание» 1821 года:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*;
Но с благодарностию: *были*.

В августе гроб с телом Жуковского доставлен в Петербург и захоронен в Александро-Невской лавре, рядом с могилой Карамзина. Присутствовали Плетнев, Тютчев и Елагина, сводная сестра Жуковского. Никого из близких и друзей на похоронах не было: Маша, Саша и их мать Елизавета Протасова умерли раньше; Мойер, муж Маши, жил в Орловской губернии, связь между ним и Жуковским давно потерялась; свойственники Киреевские жили в провинции, Жуковский был далек с ними; Вяземский путешествовал в Палестине; Литке недавно получил назначение командиром Ревельского

порта и оставить пост не мог; Александр Тургенев умер в 1845 году, Николай Тургенев жил в Буживале, пригороде Парижа, и права на въезд в Россию не имел. И не было Пушкина, Лермонтова, Гоголя...

Были цесаревич Александр Николаевич и его сестра Мария Николаевна. После отпевания гроб к могиле несли на руках, в первой паре — Александр Николаевич.

Как бы ни относиться к мирозерцанию постаревшего Жуковского, следует понимать, что толчком к изменению его убеждений послужили обстоятельства его семейной жизни; он уверился, что лишь Провидению обязан спасением жизни жены и рождением детей. Этот психологическая инверсия Жуковского нисколько не умаляет значимости его труда, вложенного в воспитание наследника престола.

«Дела царственного воспитанника служат лучшим памятником воспитателю. И пока будет храниться в России память об Александре II, всегда будут повторять при этом: он был воспитан Жуковским! <...> ...Жуковский обладал даром самым ценным и самым необходимым в педагогическом деле. <...> Его ясный ум, возвышенный образ мыслей и нравственная чистота вселяли к нему уважение, его теплое, отзывчивое сердце вызывало к нему привязанность и любовь, вся его идеально-настроенная натура, проникнутая чистой поэтической грустью, как бы очищала и проясняла те души, которые приходили с ним в соприкосновение».⁶⁰

Великие реформы — самое главное событие в истории России, вечный памятник царю-освободителю — напрямую связаны с воспитанием, которое дал Жуковский будущему императору.

...Известие о смерти Жуковского болгаринская газета «Северная пчела» поместила в разделе «Журнальная всякая всячина».

¹ Глаголева О. Е. Детство и юность В. А. Жуковского: уточнение фактов биографии поэта (по архивным материалам) // Жуковский и время. Сб. статей. Томск, 2007. С. 222.

² Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. В 20 т. М., 1999—2013. Т. 12. С. 39, 40.

³ Жуковский В. А. Собрание сочинений. В 4 т. М.—Л., 1960. Т. 4. С. 410.

⁴ Глаголева О. Е. Детство и юность В. А. Жуковского. С. 224.

⁵ Письмо В. А. Жуковского к А. П. Елагиной. 16 сентября 1815 г. // Переписка В. А. Жуковского и А. П. Елагиной. 1813—1852. М., 2009. С. 118.

⁶ Афанасьев В. В. Жуковский. М., 1986. С. 47.

⁷ Письмо А. И. Тургеневу. 25 апреля <1817 г.> // Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 15. С. 540, 541.

⁸ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. С. 124.

⁹ Письмо А. С. Пушкину. 28 сентября 1824 г. // Дельвиг А. А. Сочинения. Л., 1986. С. 286, 287.

¹⁰ Письмо великой княгине Александре Федоровне. 15 ноября <1824 г.> // Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 16. С. 256.

¹¹ Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2003. С. 437.

¹² Русская старина. Т. 27. 1880, январь. С. 251.

¹³ Там же. С. 231.

¹⁴ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 14. С. 29.

¹⁵ Русская старина. Т. 27. 1880, январь. С. 252.

¹⁶ Петр Александрович Плетнев — поэт, литературный критик, преподаватель русского языка и литературы цесаревича Александра, поборник идей пушкинского круга, позднее профессор русской словесности и ректор Петербургского университета, добрый друг Пушкина, Жуковского с 1820, затем Гоголя, автор термина «золотой век русской поэзии». О Жуковском он писал: «Он смотрит далее, видит больше, создает иначе, чем простое воображение».

¹⁷ Ребеккини Д. Как наследник престола Александр Николаевич читал Пушкина // Acta Slavica Estonica XII. Пушкинские чтения в Тарту. 6. Вып. 2. Пушкинская эпоха / Отв. ред. Р. Лейбов, Н. Охотин. Тарту, 2020. С. 101.

¹⁸ Там же. С. 89.

¹⁹ Тихомиров Б. А. Протоиерей Герасим Петрович Павский: жизненный путь; богословская и ученая деятельность // https://azbyka.ru/otechnik/Gerasim_Pavskij/protoierej-gerasim-petrovich-pavskij-zhiznennyj-put-bogoslovskaja-i-uchenaja-dejatelnost/.

Герасим Петрович Павский (1787—1863) — доктор богословия, профессор богословских наук и еврейского языка Санкт-Петербургской духовной академии и Санкт-Петербургского университета, член Российского библейского общества, один из переводчиков Нового Завета на русский язык. В последующие годы перевел Ветхий Завет. Консервативные верхи церкви страшались, что свободное чтение Библии оторвет народ от церкви. Митрополит Московский Филарет и монах Фотий повели интригу против Павского. Фотий объявил ересь использование Павским еврейского текста Библии для перевода, Филарет написал резкие отрицательные отзывы на пособия, составленные Павским для цесаревича в 1826. Императору Николаю сделано представление, и он не защитил законоучителя своего сына; в 1835 Павский уволен со всех постов. Препятствия просвещению в нижних слоях народа вполне совпадали с направлением Николая.

²⁰ Письмо В. А. Жуковского к императору Николаю Павловичу. 30 марта 1830 // Русский архив. 1896. Вып. 1. С. 110, 111.

²¹ Записки К. К. Мердера // Русская старина. Т. 48. 1885, декабрь. С. 514.

²² Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. В 2 т. СПб., 1903. Т. 1. С. 17.

²³ Там же. С. 37, 38.

²⁴ Записи 4, 5 и 9 июня 1834 г. // Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 14. С. 12, 15.

²⁵ Гузаиров Т. Т. Жуковский — историк и идеолог николаевского царствования. Дис. ... д-ра филос. наук. Тарту, 2007. С. 56.

²⁶ Письмо Жуковского цесаревичу. 5 ноября 1832 // Русский архив. 1883. Вып. 1. С. XIV, XV.

²⁷ Герцен А. И. Былое и думы. В 3 т. М., 1973. Т. 1. С. 312.

²⁸ Лорер Н. И. Записки моего времени. Воспоминания о прошлом // Мемуары декабристов / Сост., вступ. ст. и коммент. А. С. Немзера. М., 1988. С. 444, 445.

²⁹ Розен А. Е. Из «Записок декабриста» // В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 306.

³⁰ Цит. по: Афанасьев В. В. Указ. соч. С. 333.

³¹ Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I, 1837 / Публ. Л. Г. Захаровой, Л. И. Тютюник. М., 1999.

³² Добровольский А. Третья могила Багратиона // Московский комсомолец. № 25668 от 15. 06. 2011; <https://www.mk.ru/social/2011/06/15/597625-tretya-mogila-bagratiiona.html>.

³³ Афанасьев В. В. Указ. соч. С. 329, 330.

³⁴ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 14. С. 189.

³⁵ Письмо В. А. Жуковского к А. Х. Бенкендорфу об Киреевском. Март 1832 года // Русский архив. 1896. Вып. 1. С. 114—118.

³⁶ Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859) — журналист, беллетрист и критик, служил в русской армии, затем в Польском корпусе Наполеона, с 1819 жил в Петербурге. В 1829 написал плутовской роман «Иван Выжигин», который пользовался огромной популярностью, с 1825 издавал первую частную политическую и литературную газету «Северная пчела». По словам его партнера Греча, был невероятно завистлив, скуп и своекорыстен. Яростный враг и клеветник Пушкина, объект многочисленных эпиграмм, платный агент III Отделения. Николай I Булгарина презирал, в 1830 предлагал Бенкендорфу его уволить, но оставил как весьма нужного осведомителя. Позднее и Бенкендорф называл Булгарина подлецом.

³⁷ Письмо Жуковского к императору Николаю Павловичу от 30 марта 1830 года // Русский архив. 1896. Вып. 1. С. 109—113.

³⁸ Письмо Александру Тургеневу от 20 ноября 1827 // Жуковский В. А. Собрание сочинений. Т. 4. С. 499.

³⁹ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. С. 314.

⁴⁰ Письма Ф. П. Литке к В. А. Жуковскому / Публ., науч. коммент. и примеч. Н. Б. Реморевой // Вестник Томского государственного университета. Филология. Томск, 1999. № 268. С. 86.

⁴¹ Письма В. А. Жуковского к его императорскому высочеству государю великому князю Константину Николаевичу. 1840—1851. М., 1867. С. 12.

⁴² Аллегорический сюжет V в. до н. э., повествующий о выборе, который пришлось сделать Гераклу: жизнь сладостная, легкая, порочная или жизнь трудная, добродетельная, славная.

⁴³ Письма Жуковского к его императорскому высочеству государю великому князю Константину Николаевичу. С. 24—31.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ *Сидорова А. Н.* Письма великого князя Константина Николаевича Василию Андреевичу Жуковскому. Вступительная статья // Российский Архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Альманах. М., 2010. [Т. XIX]. С. 444.

⁴⁶ *Гузаиров Т. Т.* Иерусалимский проект Жуковского // И время и место. Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008. С. 312—323. По легенде, князь Олег в 907 добился дани от Византии и в знак победы «прибил щит к воротам Цареграда».

⁴⁷ *Айзикова И. А.* К проблеме контекста Иерусалимского проспекта В. А. Жуковского (по материалам политической публицистики и религиозно-философской прозы 1840-х гг.) // Вестник Томского университета. Филология. 2017. № 46. С. 95.

⁴⁸ *Кошелев А. И.* Из «Записок» // Жуковский в воспоминаниях современников. С. 443.

⁴⁹ Цит. по: Письма царственных особ к В. А. Жуковскому / Вступ. ст., сост. В. С. Киселев. Томск, 2020. С. 18.

⁵⁰ *Афанасьев В. В.* Указ. соч. С. 339.

⁵¹ *Стурдза А. С.* Дань памяти Жуковского и Гоголя // В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. С. 356, 357.

⁵² *Плетнев П. А.* Из писем к Я. К. Гроту // Там же. С. 374.

⁵³ *Базаров И. И.* Воспоминания о В. А. Жуковском // Там же. С. 448.

⁵⁴ Четыре письма Жуковского // Наше наследие. 2003. № 65 // <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6506.php>. В конце 1848 во Франкфурте собрался Национальный парламент. В очередном письме к Плетневу Жуковский писал: «Из бездны этих анархических выборов вылезло чудовище Прусского Национального собрания, в котором скоплены были все элементы необузданного буйства».

⁵⁵ Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу // Русский архив. 1895. Вып. 9. С. 192—224.

⁵⁶ *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. С. 253.

⁵⁷ Письмо Жуковского к А. П. Зонтаг. 21 февраля 1826 года // *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем. Т. 16. С. 292.

⁵⁸ Цит. по: *Киселев В. С.* Письма царственных особ к В. А. Жуковскому как феномен русской культуры. С. 8.

⁵⁹ Цит. по: Там же. С. 37.

⁶⁰ *Шмидт С. О.* Лекция историка М. М. Богословского 1902 года «В. А. Жуковский как воспитатель Александра II» // Жуковский и время. Сб. статей / Ред. А. С. Янушкевич, И. А. Айзикова. Томск, 2007. С. 263, 265.

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВ

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО В ПЕРВЫЕ ДНИ ПЕТРОГРАДСКИХ БЕСПОРЯДКОВ: 23—25 ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА

В субботнюю ночь 25 февраля Петроград выглядел пустым, воинские и полицейские наряды распускались по казармам. Российская столица, по замечанию градоначальника генерал-майора Александра Балка, «мирно отдыхала». ¹ Во втором часу ночи председатель Совета министров действительный тайный советник князь Николай Голицын телеграфировал государю о результатах состоявшегося правительственного совещания и передаче продовольственного дела в ведение городского управления. ² При этом автор телеграммы ни слова не сообщил о беспорядках, происходивших в течение двух минувших дней.

Страсти как будто улеглись.

Член Думы от Харьковской губернии, октябрист Никанор Савич, который утром шел пешком почти через весь город, «не заметил ничего особенного»: улицы выглядели почти пустыми, а «городовые мирно стояли на своих постах, словом — все как всегда». ³ Но вскоре после рассвета двухмиллионный Петроград пришел в хаотичное движение, никем не управляемое и оттого бесцельное.

Волнения, сопровождавшиеся нападениями на городских, начались между восьмью и десятью часами на Васильевском острове, в Нарвской части, на Выборгской стороне, где густой поток людей снова стремился к Александровскому мосту, чтобы перебраться ближе к Невскому проспекту, и в Александровском участке ⁴, откуда с левого берега Невы в центр города с революционными песнями и под красным флагом с надписью «Долой самодержавие, да здравствует демократическая республика» направились тысячи рабочих Обуховского завода, принадлежавшего Морскому ведомству. ⁵

Окончание. Начало в № 6.

Прекращалось выполнение военных заказов для армии и флота, на летучих митингах зазвучали призывы вооружаться и привлечь солдат на сторону демонстрантов. Не вышла часть утренних газет, останавливался транспорт, хотя учреждения, театры и синематограф продолжали работать, а в элитных заведениях посетителям подавали роскошные завтраки.⁶ Общее количество бастовавших на третий день беспорядков оценивалось современниками в диапазоне от 200 тыс. до 306 тыс. человек⁷, и, скорее всего, средняя цифра в 240—250 тыс. выглядела наиболее близкой к реальности.⁸ Забастовка принимала всеобщий характер⁹ и грозила парализовать жизнь Петрограда, чьи ресурсы имели огромное значение для подготовки апрельского наступления и боеспособности войск действующей армии.

Около десяти утра министр внутренних дел действительный статский советник Александр Протопопов наконец-то соизволил посетить градоначальство, где ранее собрались: Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Хабалов, командовавший войсками Петроградского военного округа (ПВО), его начальник штаба, Генерального штаба генерал-майор Михаил Тяжелников, помощник начальника гвардейских запасных батальонов и войсковой охраны (ВОХР) Петрограда Л.-гв. полковник Владимир Павленков, генерал Балк и помогавшие им лица. Все внимание самоуверенного министра к защите правопорядка выразилось лишь в благодарности чинам полиции и в его заявлении градоначальнику об очередном отпуске казенных сумм для их пострадавших товарищей по службе.¹⁰

В глазах Беляева и его подчиненных генерал Хабалов — по занимаемой должности — превратился в ключевую фигуру, ныне отвечающую за восстановление спокойствия в городе. Георгиевский кавалер, Генерального штаба генерал-майор Михаил Занкевич, временно исполнявший обязанности начальника Главного управления Генерального штаба (ГУГШ), не считал беспорядки особо опасными.¹¹ Тем самым ответственные представители Военного министерства не утруждали себя трезвой оценкой положения и превращались в пассивных свидетелей, наблюдавших за тем, как командующий округом пытается справиться с ситуацией, постепенно выходящей из-под контроля. Но в его действиях не хватало ни решительности, ни планомерности.¹²

Примерно в то же время, когда Протопопов приехал в градоначальство, в столичном небе вспыхнула необычная радуга. «Я наблюдал ее на нашем полковом дворе [московцев], — писал в эмиграции Л.-гв. полковник Николай Дуброва 3-й.¹³ — Она была очень широкая, темно-красного цвета, мутная и казалось, что она опирается одним краем на здание 2-го батальона, а другим — на офицерское собрание. Во все время ее видимости (что происходило около двух часов) свет как-то был тусклый, хотя тумана в этот день не было».¹⁴ Над Выборгской стороной, ставшей одним из эпицентров беспорядков, израненный гвардейский офицер увидел зловещий символ: радуга с кровавым оттенком символизировала дальнейшую эскалацию насилия, возраставшую с каждым нападением участников беспорядков на городских.

В одиннадцатом часу на углу Финского переулка и Нижегородской улицы при столкновении конных городских с толпой рабочих, пытавшихся

прорваться к Александровскому мосту, полицмейстер 5-го отделения, включавшего Выборгский участок, полковник Михаил Шалфеев получил тяжелые травмы: при избиении ему сломали руку и пробили голову тупым орудием. В бессознательном состоянии Шалфеева отвезли в госпиталь.¹⁵

Около одиннадцати утра на Васильевском острове при разгоне агрессивной толпы, собиравшейся снять с текущих работ Трубочный завод, находившийся на Уральской улице, Л.-гв. подпоручик Борис Доможиров, командовавший ротой учебной команды запасного батальона Л.-гв. Финляндского полка, застрелил из револьвера слесаря Дмитриева, выкрикивавшего антиправительственные лозунги и пытавшегося агитировать нижних чинов. Потомственный дворянин Доможиров¹⁶, воспитывавшийся в 1-м кадетском корпусе, окончивший Павловское военное училище и раненный на фронте в 1916 году, не колебался и явно был готов вести себя решительно. В его глазах любые революционные агитаторы объективно помогали немцам. Получив жестокий отпор, перепуганная толпа разбежалась, но начальство дерзкий поступок гвардейского подпоручика не одобрило, полагая, что погибшего агитатора следовало лишь задержать и подвергнуть аресту.¹⁷

Днем центрами массовых выступлений стали 2-й, 3-й и 8-й районы ВОХР: квартал у Казанского собора и Невский проспект до Знаменской площади перед Николаевским вокзалом. Ряды протестующих пополнили тысячи студентов.¹⁸ На Екатерининском канале из толпы раздавались одиночные выстрелы — там стреляли по полицейским нарядам.¹⁹ Мелькали красные флаги²⁰ и самодельные транспаранты, охрипшие ораторы произносили революционные речи.

В то же время многие петроградцы разных званий и сословий, судя по одежде, стояли на тротуарах и оставались пассивными зрителями, не желая вливаться в движение с революционными призывами. Не все из них воспринимались равноценно и демонстрантами. По мнению студента историко-филологического факультета Петроградского университета Всеволода Кривошеина, пытавшегося пройти по Невскому проспекту, «лозунг „Долой самодержавие!“ имел несравненно больший успех, чем „Долой войну!“». ²¹ Протест, сопровождавшийся звоном разбитых стекол, переплетался с уголовщиной: на Литейном проспекте кто-то из грабителей еврейской галантереи тут же предлагал прохожим купить с рук украденное.²² В других местах, по показаниям очевидцев, происходили разгромы продовольственных лавок.²³

Происходили стычки с защитниками правопорядка, при этом назначенные им в помощь чины 4-го Донского графа Платова полка полковника Сергея Яковлева, как и донцы-суворовцы, службу несли плохо, а иногда поведение казаков граничило с неповиновением и нарушением долга. Команда связи платовцев даже направила делегатов к демонстрантам с предупреждением, чтобы они не опасались казаков. Около двух часов пополудни взвод платовцев во главе с офицером силой освободил 25 арестованных, содержащихся во дворе дома № 3 по Казанской улице под охраной городских Крогульца и Шупова, причем казаки с бранью нанесли им ножами побои.²⁴ Думец Савич увидел в мутном поведении чинов казачьих частей

первые признаки «братания вооруженной силы с бунтующим народом»²⁵, примерно так же оценивали ситуацию и революционеры.²⁶ По городу совершались нападения на постовых, звучали отдельные револьверные выстрелы, и уже трудно было разобрать, кто против кого и при каких обстоятельствах применяет огнестрельное оружие. В конных городских и жандармов, разгонявших людей нагайками и ударами шашек плашмя, из толп летели камни, бутылки, куски льда, обрезки металла и крепежные изделия, прихваченные с предприятий.²⁷

Протестные волнения считали закономерными и некоторые мастеровые, выглядевшие вполне благоразумно. «Немцы с их Вильгельмом должны теперь радоваться, что у нас сейчас начались беспорядки. Это им на руку. Нехорошо во время войны устраивать беспорядки, — рассуждал вслух степенный, пожилой рабочий во время шествия по Невскому проспекту. — Но что поделаешь? Довели нас до этого все эти Штюрмеры. Как им доверить ведение войны?»²⁸ Напротив, члены Русского бюро ЦК РСДРП(б) Александр Шляпников и Вячеслав Молотов, воспевавшие всемирный рабочий интернационал, выпустили антивоенную листовку с призывами к всероссийской стачке, свержению монархического строя, установлению демократической республики и передаче народу помещичьей земли²⁹, на деле составлявшей менее четверти всего пахотного фонда.³⁰ В то же время руководители большевиков возражали против актов индивидуального террора и партизанской стрельбы по солдатам, считая необходимым вовлекать их в революционную борьбу и провоцировать «запасных» на городской мятеж.³¹ С этой целью распространялись листовки, обращенные к нижним чинам.³²

Экономист и внепартийный социал-демократ Николай Суханов пытался играть роль посредника между разными левыми группировками, плывшими по течению бурных событий. Днем, будучи на Петроградской стороне, он спешил по делам и на Большой Монетной улице случайно услышал разговор, состоявшийся у ворот мастерской Офицерской электротехнической школы:

«...Натолкнулся на небольшую группу штатских, с виду рабочих.

— Они чего хотят, — говорил один с мрачным видом. — Они хотят, чтобы дать хлеба, с немцами замирились и равноправия жидам...

„Не в бровь, а прямо в глаз“, — подумал я, восхищенный этой блестящей формулировкой программы великой революции».³³

Генерал Балк отмечал, как менялось настроение демонстрантов:

«Толпа уже не двигалась со стонами: хлеба, хлеба — и не проявляла свойственное ей в предыдущие дни веселое настроение, впрочем, и состав толпы был уже иной: преобладали подонки, интеллигентная молодежь с немалым процентом молодых евреев. Многие поняли, что игра в прогулки превращается в торжество черни. Этот день был обилён происшествиями и явно носил бунтарский характер. Трамваи оставались сыпавшие остроты и ругань. В некоторых местах из лавок тащили съестные припасы, ну и конечно, били фонари и стекла в окнах. Появлялись и красные флаги, но все пока еще было разрознено. Каждый руководитель действовал по своей инициативе, и общего определенного [плана] выступлений не было».³⁴

Руководители имперского МВД в дневные часы занимались текущими делами. В частности, Протопопов и товарищ министра, действительный статский советник Николай Анциферов обсуждали хозяйственные проблемы с ялтинским градоначальником генерал-майором Александром Спиридовичем. Помимо прочих, заинтересованных собеседников живо занимал важный вопрос о том, каким материалом мостить набережную и улицы в любимом крымском городе августейшей четы.³⁵

Примерно в то же время в Царском Селе императрица Александра Федоровна написала супругу новое письмо, назвав петроградские стачки и беспорядки более чем вызывающими. Однако государыня не видела в них политической опасности: «Это — хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя».³⁶ Затем императрица настойчиво просила мужа уволить генерала для поручений, состоявшего при главнокомандующем армиями Северного фронта (главковсее), Генерального штаба генерал-майора Николая Батюшина, чью деятельность по расследованию тыловых злоупотреблений поддерживал начальник Штаба (наштаверх) Верховного главнокомандующего (Главковерха), генерал от инфантерии Михаил Алексеев. Александра Федоровна, верная наставлениям Григория Распутина и фрейлины Анны Вырубовой, не могла простить Батюшину преследования банкира Дмитрия Рубинштейна, по-прежнему обвинявшегося контрразведчиками в содействии противнику.³⁷ Кроме того, она советовала Главковерху взять в Ставку молодого академического профессора, Генерального штаба генерал-майора Николая Головина, возглавлявшего штаб 7-й армии Юго-Западного фронта. Последняя Высочайшая рекомендация носила явно дельный, но запоздалый характер, и нам, к сожалению, не удалось установить ее источник.

Между двумя и тремя часами пополудни государыня приняла в Александровском дворце полковника Владимира Бойсмана 4-го³⁸ и так изложила мужу содержание разговора с новым таврическим губернатором:

«Последний говорит, что здесь необходимо иметь настоящий кавалерийский полк, который сразу установил бы порядок, а не запасных, состоящих из петербургского люда. Гурко не хочет держать здесь твоих улан, а Гротен говорит, что они вполне могли бы разместиться».

Бойсман предлагает, чтобы Хабалов взял военные пекарни и пек немедленно хлеб, так как, по словам Бойсмана, здесь достаточно муки. Некоторые булочные также забастовали. Нужно немедленно водворить порядок, день-от-дня становится все хуже. Я велела Б<ойсману> обратиться к Калинину³⁹ и сказать ему, чтоб он поговорил с Хабаловым насчет военных пекарен. Завтра воскресенье, и будет еще хуже. Не могу понять, почему не вводят карточной системы, и почему не милитаризуют все фабрики, — тогда не будет беспорядков. Забастовщикам прямо надо сказать, чтоб они не устраивали стачек, иначе будут посылать их на фронт или строго наказывать. Не надо стрельбы, нужно только поддерживать порядок и не пускать их переходить мосты, как они это делают. Этот продовольственный вопрос может свести с ума».⁴⁰

Кадровый офицер 1-го лейб-драгунского Московского Императора Петра Великого полка Бойсман, очевидно, не знал, что наличие в Петрограде не одной части, а целой *казачьей бригады* из двух полков мирного времени⁴¹ никак не улучшало положения — напротив, скрытое брожение в ее рядах выглядело зловещим симптомом. Расквартирование в столице или пригородах полка гвардейской кавалерии, упиравшееся, как и бесперебойное хлебопечение, лишь в логистику военного времени, само по себе не могло прекратить эскалацию хаоса и насилия. Только 50 (!) часов спустя после начала массовых волнений Александра Федоровна трезво оценила крайнюю необходимость «немедленно водворить порядок» в Петрограде. Вместе с тем какой-то горькой и ироничной насмешкой над имперским управлением в 1914—1916 годах выглядят сетования государыни по поводу отсутствия в России милитаризации промышленных предприятий и карточной системы на тридцатом месяце Великой войны с участием главных европейских держав.

Самое принципиальное пожелание Александры Федоровны заключалось в роковых словах *«не надо стрельбы»*, вполне соответствовавших и настроениям Хабалова. Ни русская императрица, ни командующий округом упорно не хотели проливать кровь петроградцев, надеясь на действенность полумера, потерявших всякий эффект. Однако если растерявшийся Хабалов, привыкший за годы долгой карьеры лишь по-отечески командовать подтянутыми молодцами-юнкерами, страшился личной ответственности за расстрел гражданских лиц и многочисленные трупы в кровавых лужах на центральных улицах столицы, очевидно, не желая повторять Девятое января, то Александра Федоровна, скорее всего, руководствовалась гуманитарными мотивами: ведь в нелепое смятение из-за плохой организации хлебоснабжения — *всего лишь* — пришли верноподданные августейшей четы, на самом деле «обожавшие» государя и наследника. Чтобы умиротворить население и прекратить рабочие волнения, требовалось прибегнуть к назидательной строгости, но при этом следовало избегать чрезмерной жестокости. Тем более Дума, пребывавшая в явном замешательстве, как будто действительно пока вела себя «хорошо».

В утренние и дневные часы 25 февраля, вопреки ложному заявлению монаршего историографа генерал-майора Дмитрия Дубенского⁴², члены Думы во главе с ее председателем, действительным статским советником в звании камергера Михаилом Родзянко не предъявляли правительству никаких *настойчивых требований* о реорганизации государственного управления, и подобные сведения в Ставку в тот момент не поступали. Речь шла о личном разговоре между двумя современниками. Но его содержание в тот момент не могло быть известно историографу.

Днем Родзянко побывал с частным визитом у главы Кабинета — своего дальнего родственника — «и дружески просил» его уйти в отставку. Но престарелый князь Голицын не внял увещаниям и, более того, в ответ показал собеседнику заготовленный «про запас» бланк императорского указа о роспуске Думы. «...Ваш приговор, — категорически заявил премьер. — Надо иметь в виду, никаких не допущу (антиправительственных. — К. А.) разговоров». И тут же, чтобы смягчить неприятный демарш, предложил Родзянко

организовать примиренческую встречу с видными и умеренными думцами. «Нельзя постоянно жить на ножах»⁴³, — добродушно сказал князь Голицын, не понимавший, что превентивные угрозы и петроградские беспорядки служили скверным фоном для поиска компромисса между законодательной и исполнительной властью. Справедливый тезис действительного статского советника Сергея Сазонова, высказанный им еще в 1915 году («Правительство не может висеть в безвоздушном пространстве и опираться на одну публику»⁴⁴) был воспринят в верхах с непростительным опозданием.

Автор не переоценивает политические качества и дарования Родзянко. Но, скорее всего, в отличие от усердно-ограниченного бюрократа Голицына, его начинали тревожить опасность нарастающего хаоса и возможные последствия протестного уличного движения. Действующий председатель Совета министров справиться с ним не мог.

Думцы с беспокойством следили за разгулом народной стихии, усиленной стачками и забастовками. «Впервые после двенадцати лет реакции и борьбы, Петербург видел в этот день такой массовый наплыв рабочих в центр города»⁴⁵, — вспоминал Шляпников. Суханов, побывавший в послеобеденные часы на Сергиевской улице на квартире⁴⁶ внепартийного социал-демократа, присяжного поверенного Николая Соколова, известного в кругах социалистической интеллигенции, случайно встретил здесь члена Думы от Вольска Саратовской губернии, присяжного поверенного Александра Керенского. Лидер «трудовиков» пришел к Соколову из Таврического дворца прямо с заседания сеньорен-конвента⁴⁷, где его участники постановили провести закрытое частное заседание Думы в два часа пополудни 27 февраля. Придавать ему официальный характер Родзянко не хотел.⁴⁸ Из возбужденного рассказа Керенского Суханов сделал вывод «о панике и растерянности буржуазно-депутатской массы», включая, естественно, непременных масонов. Демонстранты пока тоже не тяготели к Думе, и район Таврического сада выглядел безлюдным. Если кто-то из думских лидеров прозорливо и увидел в столичных беспорядках начало революции, то теперь беспокоился лишь о том, как обуздать ее развитие или использовать протестное движение, чтобы подтолкнуть власть к долгожданным политическим уступкам.⁴⁹ Ее представители тоже выглядели не лучшим образом. Потерявший самообладание умный министр земледелия, действительный статский советник Александр Риттих, по свидетельству публициста и члена Думы от Вольнской губернии Василия Шульгина, разрыдался после прений по продовольственному вопросу.⁵⁰ На этом тревожном фоне могилевское *безмолвие* царя, до вечера не реагировавшего на петроградское возмущение, выглядело поразительным и труднообъяснимым.

В Ставке Главковерха субботний день начался и шел обычным порядком, не отличаясь от предыдущих.⁵¹ Николай II встал поздно и после утреннего чая в половине одиннадцатого посетил Штаб, где в управлении генерал-квартирмейстера (УГК) до полудня принимал оперативный доклад Алексеева⁵², посвященный обстановке на фронте и подготовке апрельского наступления. По эмигрантскому свидетельству Дубенского, якобы «уже с утра в Ставке стало известно, что волнения в Петрограде приняли широкие размеры».⁵³

Мемуарист, игнорируя здравый смысл, тут же не выразил ни малейшего недоумения в связи с пассивным поведением государя, терявшего контроль над российской столицей, но не реагировавшего на поступившие сведения.

В действительности трудно предположить, чтобы утром 25 февраля Штаб войск на театре военных действий (ТВД) располагал достоверными сведениями о ситуации в Петрограде, а Главковерх, имевший кроме ставских и другие источники — дворец, службы дворцового коменданта, ГУГШ и Морского ведомства, иностранных военных агентов — оставался в слепом неведении, хотя именно так пытался представить картину пристрастный историограф в итальянской версии своих воспоминаний. В августе в показаниях членам Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК) он ограничился коротким заявлением: «Потом 25-го стали выясняться события, слухи были».⁵⁴ У нас нет оснований полагать, что в утренние и дневные часы степень осведомленности чинов Ставки по сравнению с предыдущими сутками принципиально изменилась. Всецело погруженные в работу офицеры УГК газет не читали и на отрывочные слухи по-прежнему не обращали внимания.⁵⁵ О чрезвычайной занятости и сосредоточенности Алексеева на делах службы свидетельствует тот факт, что наштаверх завтракал и обедал не за царским столом⁵⁶, а прямо в Штабе.

Вопреки мемуарному сообщению Дубенского, стремившегося в эмиграции подкрепить монархический миф о Февральской революции как прямом результате *бездействия* высших чинов Ставки, ее генералы и офицеры до поступления вечерней — *первой* — телеграммы от Хабалова не представляли себе реальной картины и масштабов разыгравшихся событий.⁵⁷ Невнятные слухи об эксцессах в хлебных «хвостах» не могли восприниматься в качестве надежной информации. Кроме того, любые происшествия в столице — особенно после переподчинения ПВО⁵⁸ — касались не действующей армии, а глубокого тыла, в первую очередь МВД и Военного министерства, в то время как пределы компетенции Ставки жестко ограничивались ТВД. Главковерх, накануне принявший доклад дворцового коменданта (дворкома), Свиты Его Величества генерал-майора Владимира Воейкова и разговаривавший с супругой по телефону, явно знал *больше* своих ближайших подчиненных, но не делал разъяснений, не отдавал каких-либо распоряжений и до сих пор не оценил опасности: в царских записях за 25 февраля нет *ни слова* о петроградских беспорядках.⁵⁹

Спокойный государь как будто отстранился от имперского управления и более созерцал Божий мир, чем занимался государственными делами. Возможно, со своей точки зрения, он вел себя вполне логично в рамках традиционной петровской модели, к сожалению, уже несостоятельной в первой четверти XX века. Архаичная система абсолютизма предполагала строгое разделение функций и ответственности обособленных исполнителей, поэтому ставским следовало заниматься операциями на фронте, а не беспорядками в столице. Главное заключалось в том, чтобы не терять завидного хладнокровия, присущего царю.

В половине третьего пополудни Николай II посетил Богоявленский мужской монастырь и приложился к чудотворному образу Божией Матери, называемому Братским, особо почитаемому верующими. Затем в сопровождении

чинов Свиты император совершил поездку «на моторах» по живописному могилевскому шоссе в южном направлении.⁶⁰ Они приехали к деревне Солтановка Вендорожской волости Могилевского уезда, чтобы побывать у мемориальной часовни, заложенной перед войной в память знаменитого июльского боя 1812 года. Флигель-адъютант Его Величества Л.-гв. полковник Анатолий Мордвинов так описывал продолжительную прогулку своего монарха:

«Был очень морозный день, с сильным ледящим ветром, но Государь, по обыкновению, был лишь в одной защитной рубашке, как и все мы, его сопровождавшие. Его Величество был спокоен и ровен, как всегда, хотя и очень задумчив, как все последнее время. Навстречу нам попадалось много людей, ехавших в город и с любопытным недоумением смотревших на нас. Помню, что, несмотря на вьюгу, Государь остановился около одной крестьянской семьи и с ласковой, доброй улыбкой поговорил с ним, расспрашивая, куда они идут и как живут. Помню, что во время этой прогулки Его Величество сообщил мне, что получил печальное известие о том, что Великая Княжна Анастасия Николаевна заболела корью и что теперь из всей семьи только Мария Николаевна еще на ногах, но что он опасается, что и она скоро разделит участь своих сестер».⁶¹

Пока Николай II выезжал из Могилева на прогулку и осматривал местные достопримечательности, обстановка в Петрограде неуклонно ухудшалась. Центр города превратился в грандиозный митинг с эпицентром на Знаменской площади, где собрались тысячи людей. Преимущество оставалось за рабочими и простонародьем, но хватало среди них студентов с университетскими кокардами на фуражках, «земгусаров» и любопытных курсисток. В отличие от предыдущего дня, стали заметны представители левых партий и революционных организаций, пытавшиеся воздействовать на взбудораженные массы. В разных местах мелькали красные флаги, с подножья памятника императору Александру III ораторы произносили зажигательные речи, а в волновавшейся толпе, внимавшей антиправительственным лозунгам, периодически возникали драки и свалки.⁶²

На площади под командой урядников и приказных находились патрули, принадлежавшие 2-й сотне сотника Даниила Артемова из состава 1-го Донского казачьего полка⁶³, а также чины запасных батальонов. В целом их действия по охране города оставляли желать лучшего. Приехавший в трехнедельный отпуск Георгиевский кавалер, Л.-гв. полковник Александр Кутепов — кадровый преображенец, заслуживший за отличия девять боевых наград⁶⁴, — наблюдал за беспорядками в Петрограде и оценивал заградительную службу выведенных воинских команд скептически:

«Я видел на нескольких местах разомкнутые на один шаг друг от друга полуроты под начальством молодых офицеров, в большинстве не бывших на войне; эти заставы должны были не пропускать в известные районы публику, но это, конечно, не выполнялось, да и выполнять это было нельзя, так как районы не закрывались со всех сторон, вследствие чего публика набиралась с обеих сторон; она ругалась и кричала, и, в конце концов, всех пропускали. В результате ронялся авторитет офицеров в глазах солдат, разбалтывалась дисциплина, а толпа приучалась не выполнять распоряжений начальства. Потому мне казалось, что войска надо убрать и вызывать только в том случае, когда надо действовать оружием».⁶⁵

Солдаты, которых увидели на Знаменской площади американский фоторепортер Дональд Томпсон и корреспондентка популярного иллюстрированного нью-йоркского еженедельника «Leslie's Weekly» Флоренс Харпер⁶⁶, скорее всего, служили во 2-й роте учебной команды запасного батальона Л.-гв. Волынского полка, состоявшей в значительной степени из новобранцев. Георгиевский кавалер, Л.-гв. капитан Михаил Машкин 1-й⁶⁷, командовавший ротой, вывел ее на площадь и к одиннадцати утра построил у правого угла Большой Северной гостиницы (ныне «Октябрьская»). Среди ее нижних чинов особым авторитетом пользовался фронтовик-старообрядец, старший унтер-офицер Тимофей Кирпичников по прозвищу Мордобой.

Построенные вблизи памятника «запасные» мрачно смотрели на море людских голов. Старой муштры они не испытали, полковых традиций не знали и до автоматизма команд не исполняли. Перспектива стрелять на поражение вызывала смятение. «Все давно уже знали, каким изменническим подлым гнездом было старое правительство, — так позднее описывал настроения волынцев один из современников, — и давно уже многие бесповоротно решили: если придется — стрелять вверх, в воздух, но не туда, в рокошущую, родную толпу».⁶⁸ Разумеется, общественные представления о правительственной измене были мифом, но распространенным и крайне популярным. Тем более Кирпичников, не спеша обходивший роту сзади, вполголоса советовал солдатам *думать*, а в случае команды стрелять, брать прицел поверх голов.⁶⁹

Около трех часов пополудни на Знаменской площади погиб первый защитник правопорядка — 39-летний ротмистр Михаил Крылов, с 23 января исполнявший должность пристава 1-го участка Александро-Невской части.⁷⁰ Заведующий 6-м отделением Петроградской конно-полицейской стражи ротмистр Александр Гелинк атаковал со своими подчиненными группу демонстрантов, стоявших с красными флагами. Крылов верхом, с обнаженной шашкой следовал за ними, и Гелинк помог ему отобрать флаг у одной женщины, свалив ее ударом нагайки по голове. Затем, по распространенной версии, разъезд донцов-суворовцев поспешил на помощь атакованным демонстрантам и один из двух подхорунжих⁷¹ — Макар Филатов или Филиппов — зарубил Крылова.⁷² Вопреки этому описанию, Балк утверждал, что смертельный удар в голову ротмистру нанес неизвестный задержанный, который при конвоировании к зданию Николаевского вокзала сумел выхватить у него шашку из ножен.⁷³

Позже чернецовец, подъесаул Алексей Падалкин, опрашивавший в эмиграции донцов-суворовцев, покинувших Россию, категорически отрицал причастность казаков к убийству. По его мнению, Крылов, прибывший на площадь верхом, грубо обругал одного из патрульных начальников, в раздражении схватился за шашку и был мгновенно убит револьверным выстрелом, раздавшимся из-за крупа лошади. Стрелял в полицейского якобы один из демонстрантов.⁷⁴

Однако квалифицированный исследователь петербургской некрополистики Николай Родин, выявивший и опубликовавший документы вечернего осмотра тела ротмистра, отметил первоочередное значение не рубленых,

а колото-резаных ран, оставленных, вероятнее всего, кинжалом или ножом⁷⁵, — это допускает возможность нападения из толпы, после того как офицера полиции стащили с лошади или он упал с нее. Всего Крылов получил семь ран, среди них не было ни одной огнестрельной.⁷⁶ Скорее всего, что кто-то из донцов все-таки нанес ротмистру первый удар холодным оружием, а демонстранты уже добились упавшего защитника правопорядка. Поэтому из толпы в адрес казаков звучали приветственные возгласы, а они просили волынцев не стрелять по людям.⁷⁷ «Победа осталась за революцией»⁷⁸, — заключил Всеволод Кривошеин, толкавшийся в те часы среди петроградцев.

В итоге сегодня вряд ли возможно с абсолютной точностью установить обстоятельства гибели Крылова, имевшей большие последствия для дальнейших событий. Спиридович продолжал обсуждать с руководителем МВД хозяйственные проблемы, когда ему доложили по телефону об убийстве ротмистра. Узнав шокирующие новости, ялтинский градоначальник предложил немедленно отдать виновного казака под военно-полевой суд, но, с точки зрения Протопопова, беспорядки его больше не касались, так как за их подавление отвечал Хабалов.⁷⁹ А он донесению об убийстве пристава казаком не поверил.⁸⁰

В результате инцидента на Знаменской площади демонстранты увидели, что воинские чины, пока лишь в лице донцов, вполне им могут сочувствовать, а общую враждебность вызывают ненавистные «фараоны», исполнявшие служебный долг и ассоциировавшиеся с властью, потерявшей всякий авторитет. Большевики начали распространять воззвания к солдатам и предпринимать первые шаги с целью создания Совета рабочих депутатов (СРД)⁸¹ по образцу Петербургского совета 1905 года. Главное внимание уделялось агитационной работе в гарнизоне. «Привлечь солдат на нашу сторону, поднять хотя бы часть их из казарм — было мечтой всех организованных и беспартийных пролетариев»⁸², — утверждал Шляпников. Поставленная революционерами задача выглядела тем более актуальной по мере эскалации насилия.

Массовые волнения в центре не прекращались.

Для оказания помощи полиции командованием ПВО привлекались кроме пехоты пять красносельских эскадронов 9-го запасного кавалерийского полка полковника Макарова и сотня Л.-гв. Сводно-казачьего полка⁸³ Л.-гв. полковника Николая Бородина, прибывшая из Павловска. Около пяти часов вечера у Гостиного Двора демонстранты запели революционные песни и развернули красные флаги с провокационной надписью «Долой войну!». После предупреждений о применении оружия из толпы раздалось несколько револьверных выстрелов, одним из них был ранен в голову рядовой 9-го запасного полка. Драгунский взвод немедленно спешил и по приказу командира открыл ответный огонь, рассеявший участников беспорядков. Среди них в результате стрельбы на поражение погибли трое и получили ранения десять человек. Спустя час в наряд конных жандармов боевик метнул гранату, ранив всадника и лошадь.⁸⁴ На рабочих окраинах звучали pistolетные выстрелы, распространялись слухи о строительстве первых баррикад на Выборгской стороне.⁸⁵

Очевидно, что ранним вечером 25 февраля в Петрограде возникла угроза открытых боестолкновений между противоборствующими сторонами и партизанских нападений на защитников правопорядка, но командование ПВО по-прежнему медлило с приказом о вооруженном подавлении массовых волнений силами гарнизона. В 17:40 Хабалов, не желавший брать на себя ответственность за неизбежное кровопролитие, направил в Ставку на имя Алексева секретную телеграмму № 486 с кратким описанием событий, произошедших за минувшие двое суток.⁸⁶ О том, кто именно убил Крылова, командующий ПВО умолчал.

Примерно в то же время или чуть позднее аналогичную телеграмму № 179 на имя Воейкова направил министр внутренних дел. «Движение носит неорганизованный стихийный характер, наряду [с] эксцессами противоправительственного свойства буйствующие местами приветствуют войска, — докладывал Протопопов. — [К] прекращению дальнейших беспорядков принимаются энергичные меры военным начальством. [В] Москве спокойно».⁸⁷ О столь же решительных усилиях по борьбе с народными волнениями руководитель МВД успокоительно сообщал по телефону и императрице⁸⁸, создавая иллюзию собственной находчивости и неустанной деятельности по охране интересов государства и августейшей четы. Председатель Совета министров князь Голицын от доклада своему монарху воздержался.

Итак, первые *официальные* донесения ответственных должностных лиц из Петрограда о забастовках и демонстрациях, вылившихся в массовые беспорядки, сопровождавшиеся остановкой оборонных предприятий, уничтожением городского имущества и частной собственности, грабежами, эксцессами и кровопролитием, поступили в Ставку лишь более 50 (!) часов спустя после их начала. При этом, по свидетельству заведующего Особым отделом департамента полиции, полковника Корпуса жандармов Ивана Васильева, в чьем ведении находился весь политический розыск в империи, 25 и 26 февраля Протопопов требовал от подчиненных *смягчать* объективное содержание телеграмм, составлявшихся в Особом отделе на основании поступавших донесений для направления в Могилев на Высочайшее имя. Возражения честных службистов-жандармов о возможных предосудительных последствиях передачи в Ставку ложных или приукрашенных сведений не принимались во внимание всесильным министром⁸⁹, по всей вероятности, не желавшим чрезмерно огорчать императора, которому перед отъездом в Ставку Протопопов хвастливо гарантировал сохранение порядка и поддержание спокойствия в Петрограде. Некоторые современники целиком возлагали вину на руководителя МВД. «В городе беспорядки, все это вызвано Протопоповым, который всовывает палки в колеса Риттиху»⁹⁰, — записала в дневнике обергофмейстерина императрицы Александры Федоровны княгиня Елизавета Нарышкина.

Историк Сергей Мельгунов, пытаясь понять головопьянское поведение носителей высокой власти, писал: «У самых предусмотрительных людей в действительности еще не было ощущения наступавшей „катастрофы“».⁹¹ Возможно, классик прав. Однако нельзя забывать, что 23 февраля волнения вспыхнули в военное время, в столице огромной империи с многочисленным

солдатским гарнизоном, чье моральное состояние оставляло желать лучшего.⁹² Поэтому с первых часов массовых беспорядков, независимо от их причин, характера и масштабов, в глазах любого должностного лица, отвечавшего за безопасность Петрограда, они должны были представлять повышенную угрозу для тыла армий Северного фронта, престола, общества и государства — особенно с учетом явных случаев дисциплинарных нарушений и скрытого брожения среди чинов казачьей бригады, выявившихся в тот же день.

В ставской службе связи УГК секретную телеграмму Хабалова приняли в 6 часов 08 минут вечера.⁹³ Не позже половины восьмого⁹⁴ пришла и телеграмма Протопопова для Воейкова. Когда же Николай II получил первое серьезное представление о волнениях, происходивших в столице на протяжении трех дней?

Во время допроса в ЧСК Дубенский рассказывал о том, как между пятью и семью часами вечера к царю «вбегал с сообщениями» Алексеев.⁹⁵ В итальянской версии мемуаров бывший историограф сообщил читателям о приеме государем министра Императорского двора и уделов, генерала от кавалерии графа Владимира Фредерикса, Воейкова и Алексеева.⁹⁶ Однако ни в царском дневнике, ни в камер-фурьерском журнале нет записей об этих приемах⁹⁷ и оба «свидетельства» Дубенского недостоверны. Алексеев не мог «вбегать» к императору между пятью и семью часами вечера: если что-то подобное и происходило, то явно не вечером 25 февраля, а в последующие дни.

Во-первых, существовал строгий этикет: телеграмма № 486 поступила не на Высочайшее имя, а на имя наштаверха. Все новости, касавшиеся его компетенции, традиционно сообщались Главковерху на утреннем совещании в УГК, и, строго говоря, петроградские беспорядки не касались ТВД.

Во-вторых, после возвращения с прогулки на «моторах», в шесть часов вечера, Николай II с особами Свиты направился в церковь при Штабе на всюнощную.⁹⁸ Весьма вероятно, что Алексеев, соблюдавший церковный устав, молился с ними, когда в аппаратную поступили телеграммы Хабалова и Протопопова⁹⁹, а после богослужения сразу же наступило время обеда, на котором наштаверх, вернувшийся в Штаб¹⁰⁰, не присутствовал. Секретный гриф телеграммы № 486 исключал ее передачу вторым лицам. Поэтому наштаверх лично доложил о ней царю на первом оперативном докладе утром следующих суток. Высочайшего неудовольствия или удивления промедление *не вызвало*, так как Николай II до утра 27 февраля сохранял традиционный порядок докладов телеграмм, поступавших из Петрограда Алексееву.¹⁰¹

Напротив, Воейков, гораздо более близкий к императору, чем Алексеев, содержание телеграммы Протопопова на Высочайшее имя доложил почти немедленно.¹⁰² И сделал он это, по нашему предположению, в единственный короткий перерыв между всюнощной и обедом — иначе Хабалов, находившийся в петроградском градоначальстве, просто не успел бы познакомиться с ответом Николая II всего спустя час-полтора после начала царского обеда.

В эмиграции Воейков утверждал, что кроме доклада протопоповской телеграммы он вновь стал уговаривать Николая II немедленно вернуться домой, но государь возражал, подчеркивая прежнее намерение пребыть

«на Ставке» до вторника.¹⁰³ Скорее всего, постфактум дворком приукрасил свою прозорливость и заботу о государе. На допросе в ЧСК Воейков честно сообщил о том, как пришел просить императора об отъезде в Царское Село не 24 и не 25, а только вечером 27 февраля.¹⁰⁴ А до того момента генерал благодушествовал и не собирался уезжать из Могилева, ожидая приезда жены.¹⁰⁵

Однако и без просьбы Воейкова необходимость немедленного возвращения царя в центр политического управления выглядела очевидной. Затянув с отъездом из Могилева в *первые* дни петроградских волнений — 24 и 25 февраля — царь совершил одну из роковых ошибок, допущенных им во время Февральской революции. Возложив дальнейшую подготовку апрельских операций на Алексеева, Николаю II надлежало срочно выехать в Царское Село, чтобы заняться неотложными государственными делами и реформами, пока массовые беспорядки населения не спровоцировали свирепый солдатский бунт. Тогда возвращаться было бы поздно и опасно.

Император познакомился с содержанием телеграммы № 179 и через военно-походную канцелярию Его Величества по прямому проводу в ГУГШ передал лаконичный приказ для Хабалова: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Николай».¹⁰⁶ Таким образом, Высочайшее распоряжение опровергает необоснованное утверждение петербургского историка Сергея Куликова о том, что промедление Алексеева с докладом телеграммы № 486 «мешало царю получить адекватное представление о петроградских событиях»¹⁰⁷, — ничего подобного. Телеграмма № 179 позволила государю составить первое представление о положении в Петрограде.

Информация поступала к Николаю II из разных источников, поэтому задержка с докладом телеграммы № 486 до утреннего совещания не повлияла на скорость принятия решения и передачи Высочайшего повеления в Петроград о немедленном подавлении беспорядков. Столь же необоснованно заявление Куликова о том, что 25 февраля Алексеев якобы «советовал императору „немедленно же сделать необходимые уступки“»¹⁰⁸ думской оппозиции. В подтверждение своей версии исследователь сослался на воспоминания британского посла сэра Джорджа Бьюкенена. Но он не присутствовал в Ставке 25 февраля и не мог знать содержания утреннего доклада Алексеева царю. Очевидно, при работе над мемуарами дипломат лишь пересказывал чьи-то слова о предложениях наштаверха, сделанных им царю — на самом деле — в *последующие дни*, а Куликов некритично отнесся к использованному источнику. Вплоть до 27 февраля все советы Алексеева Николаю II в лучшем случае сводились к тому, чтобы назначить дельного председателя правительства.¹⁰⁹

Твердое распоряжение главы Российского государства выглядело логичным, но, безусловно, запоздавшим по вине высших должностных лиц, назначенных самим государем и отвечавших перед ним за безопасность Петрограда. В то же время Главковерх *почему-то* не стал осведомлять о тревожном положении в столице пять главнокомандующих армиями фронтов и двух командующих флотами, хотя настоящая информация имела особое значение

для главкосева, генерала от инфантерии Николая Рузского и вице-адмирала Адриана Непенина, командовавшего Балтийским флотом.

Для нормального обеспечения продовольствием армий Северного фронта требовалось подать 333 вагона в сутки, а реальный подвоз между 17 и 23 февраля составлял всего лишь... 95 вагонов. Разница покрывалась за счет уменьшения норм выдачи питания и стремительно сокращавшихся запасов базисных магазинов. Обе вынужденные меры неизменно отражались на боеготовности войск.¹¹⁰ Беспорядки в Петрограде, представлявшем тыловую базу армий Северного фронта¹¹¹, создавали еще большую опасность для снабжения, о чем незамедлительно требовалось поставить в известность Рузского, остававшегося в полном неведении. Но Николай II направил перед обедом лишь теплую супружескую телеграмму Ее Величеству. «Мысли мои все время не покидают вас, — телеграфировал заботливый государь. — Холодная, ветреная, серенькая погода. Шлю тебе и больным мой сердечнейший привет».¹¹² В итоге высший генералитет в войсках действующей армии оставался в неведении о волнениях в Петрограде.

Позднее Дубенский пафосно обвинял Алексеева и Воейкова в *бездействии*, проявленном генералами 25 февраля. По мнению историографа, наштаверх «мог и должен был принять ряд необходимых мер, чтобы предотвратить революцию, начавшуюся в разгар войны». С точки зрения Дубенского, Алексеев обладал всей полнотой власти, а «Государь поддерживал бы его распоряжения». Воейкову же с первых дней пребывания в Ставке следовало «неуклонно и настойчиво добиваться мероприятий для прекращения начавшихся волнений».¹¹³ Три года спустя после крушения монархического строя мемуарист нашел «виновников» катастрофы и теперь подчеркивал свою ревность о защите рухнувшего престола. К сожалению, свои домыслы о полномочиях Алексеева¹¹⁴ Дубенский выдавал за безусловный факт, поэтому принять подобные упреки всерьез трудно.

Во-первых, вечером 25 февраля о *революции*, разыгравшейся в Петрограде, не знали ни Николай II, ни Алексеев, ни Воейков, ни думцы, ни активисты левых организаций, ни сам Дубенский. Он показывал в ЧСК: «У нас (в Свите. — К. А.), до 27-го (февраля), когда мы выехали (из Могилева в Царское Село. — К. А.), никто не верил, что (началась. — К. А.) революция».¹¹⁵ Некоторые современники и двадцать лет спустя считали заметными 25 февраля лишь «первые признаки неустойчивости войск»¹¹⁶ столичного гарнизона, но не более того.

Во-вторых, те объемы власти наштаверха, о которых рассуждал историограф, существовали лишь в его конспирологическом воображении. Полномочия Алексеева строго ограничивались ТВД, а личное присутствие Главковерха в Ставке по стародавней традиции исключало несанкционированную активность его подчиненных. Царь повелевал, генералитет исполнял. «Все в России делалось „по приказу Его Императорского Величества“, — подчеркивал Василий Шульгин. — Это был электрический ток, приводящий в жизнь все провода».¹¹⁷ И именно этот ток обессиливался и замирал, уничтоженный безволием».¹¹⁸ Вопреки эмигрантским фантазиям Дубенского,

Николай II должен был не ждать и не поддерживать каких-то инициативных распоряжений наштаверха, не имевшего служебных прав в отношении ПВО, а сам *отдавать* повеления, контролируя затем исполнение ближайшими сотрудниками своей державной и командной воли.

В-третьих, Воейкову не подчинялись ни командующий ПВО, ни руководитель МВД, ни председатель Совета министров. Нелепое суждение о том, что 24—25 февраля дворком¹¹⁹, смутно представлявший себе реальное положение дел в Петрограде, мог «неуклонно и настойчиво добиваться» от царя подавления беспорядков, выглядит как нонсенс: особам Свиты дозволялось высказывать свою точку зрения лишь тогда, когда она интересовала самодержца, — и строго в рамках очерченных полномочий. Нарушение неписаного правила вызывало Высочайшее удивление, а то и неудовольствие. В итоге ни о каком давлении свитских на царя, с чем бы у него ассоциировалась любая неуклонная настойчивость, не могло идти и речи. Поэтому назидательные обличения Алексея и Воейкова, избранных Дубенским в 1920 году на роль козлов отпущения, чтобы исключить любые невольные упреки читателей в адрес расстрелянного императора, лишены смысла.

Гораздо интереснее свидетельство мемуариста о конституционных чаяниях чинов Свиты, уже якобы желавших в *тот* день безотлагательного «ответственного министерства» и парламентской монархии¹²⁰, о чем еще не мечтали даже все думские лидеры. Если Дубенский описывал настроения свитских более-менее верно, то тогда следует констатировать, что 25 февраля и верноподданные лица из ближайшего окружения Николая II в полной мере осознавали ничтожность, вредность и бесперспективность дальнейшего сохранения в России остатков архаичного самодержавия. «Вера в Самодержавие была подорвана даже в недрах самого правительственного аппарата»¹²¹, — подчеркивал Головин. В условиях массовых волнений в Петрограде петровская модель управления огромным и сложным государством показывала свою неработоспособность, реакция власти на актуальные проблемы и столичный кризис необратимо запаздывала.

В петроградском градоначальстве, где толпились бесчисленные просители, создававшие непривычную тесноту, Хабалов около девяти вечера получил царскую телеграмму, поступившую из Могилева через ГУГШ. Познакомившись с Высочайшим повелением, расстроенный генерал растерялся, о чем позднее сообщал на допросе в ЧСК:

«...Она меняхватила обухом... Как прекратить завтра же? Сказано: „завтра же“... государь повелевает прекратить, во что бы то ни стало... Что я буду делать? Как мне прекратить? Когда говорили „хлеба дать“, — дали хлеба и кончено. Но когда на флагах надпись „долой самодержавие“, — какой же тут хлеб успокоит! Но что же делать? — Царь велел: стрелять надо... Я убит был — положительно убит! — Потому что я не видел, чтобы это последнее средство, которое я пушу в ход, привело бы непременно к желательному результату...»¹²²

Примерно через час командующий округом доложил содержание телеграммы начальникам участков ВОХР, командирам частей и запасных подразделений, собравшимся для получения диспозиции на следующие сутки.

Небольшие скопления людей Хабалов приказал разгонять при помощи кавалерии, а по агрессивным толпам с красными флагами стрелять на поражение, если они не будут расходиться после предупредительных троекратных сигналов старшего начальника¹²³ в соответствии с уставом гарнизонной службы. О том же для населения города печатались соответствующие объявления с предупреждением о беспощадном подавлении огнем малейших попыток к новым беспорядкам. Глобачев сообщил о намерениях руководителей левых организаций, по-прежнему не имевших согласованного плана действий, продолжать «тактику бунтарства». Их расчет, вероятно, строился на ожидании счастливого случая или стечения благоприятных обстоятельств. Прибывшие в градоначальство господа офицеры после доклада Хабалова высказались за энергичное применение оружия в ответ на любые антиправительственные выступления¹²⁴ и приняли Высочайшее повеление к исполнению. Скорее всего, следствием государевой телеграммы следует считать и намерение командования ПВО, вопреки предыдущим распоряжениям, вызвать в Петроград из Царского Села подразделения учебных команд гвардейских стрелковых батальонов.¹²⁵

В центре относительное успокоение наступило в вечерние часы¹²⁶, когда, по признанию Балка, минувший день защитники правопорядка проиграли во всех отношениях. Толпа увидела вялость войск, «почувствовала слабость власти и обнаглела»¹²⁷, а посторонним наблюдателям обстановка не казалась тревожной. Л.-гв. полковник Александр Джулиани¹²⁸, командовавший в Царском Селе запасным батальоном Л.-гв. 1-го стрелкового Его Величества полка и посетивший Петроград по делам службы, поздним вечером не заметил на улицах ничего «особо ненормального», за исключением казачьих патрулей.¹²⁹

Политическую окраску массового движения оценили далеко не все современники. Например, Великий князь Михаил Александрович, приезжавший из Гатчины в Петроград вместе с супругой и личным секретарем на обед к члену Думы от Полтавской губернии, графу Ипполиту Капнисту 1-му¹³⁰, главной причиной волнений все еще считал «отсутствие муки». ¹³¹ Известия о беспорядках и гибели Крылова произвели тяжелое впечатление на младшего брата государя. Отказавшись от посещения Михайловского театра, обеспокоенный Великий князь от графа Капниста поехал домой к своему управляющему, присяжному поверенному Алексею Матвееву.¹³² Здесь Его Высочество написал несколько частных писем, в том числе генералу от кавалерии Алексею Брусилову, командовавшему армиями Юго-Западного фронта.¹³³ К полуночи на автомобиле за Михаилом Александровичем приехали после спектакля его жена графиня Наталья Брасова в сопровождении секретаря Николая Джонсона, и втроем они вернулись в гатчинскую резиденцию.¹³⁴ Очевидцы, бродившие по Невскому проспекту, чувствовали густой запах дезинфицирующих средств¹³⁵, и грядущий день не обещал наступления гражданского мира.

Субботним вечером уличные страсти переместились в закрытые помещения общественных организаций. На собрании кооператоров и руководителей профсоюзов, состоявшемся в Петроградском союзе потребительских

обществ¹³⁶ в присутствии члена Думы от Тифлисской губернии и председателя социал-демократической фракции Николая Чхеидзе, высказывались предложения о скором создании СРД. Фактически инициатива создания Совета исходила от меньшевиков, действовавших легально, а не от сектантского подполья ленинцев.¹³⁷ Затем одна часть участников направилась в городскую думу, а другая — на Литейный проспект, в Центральный военно-промышленный комитет (ЦВПК), где заседала рабочая группа. Вечером на проходившее здесь многолюдное собрание участников съезда военно-промышленных комитетов прибыл пристав Литейной части с нарядом чинов полиции и солдат. Они арестовали двух членов рабочей группы, остававшихся на свободе с января, когда вся группа была ликвидирована властями, а остальных объявили задержанными до выяснения личностей.¹³⁸ Репрессивная мера лишь добавила масла в огонь и усилила антиправительственное раздражение.

В девятом часу в городской думе действительный статский советник Лелянов открыл рабочее совещание, изначально посвященное введению хлебных карточек, но под влиянием общей обстановки быстро превратившееся в революционный митинг. Здесь зазвучали речи об отставке правительства и замене его «ответственным» Кабинетом. «Правительство борется с продовольственным кризисом путем расстрела едоков, — заявил думец, меньшевик Матвей Скобелев. — Правительство, проливающее кровь невинных, должно уйти».¹³⁹ Слушатели покрыли шумными аплодисментами слова смелого социал-демократа, через 21 год расстрелянного органами НКВД в качестве «врага народа».

Массовые волнения и эскалация насилия не отменили развлечений светского Петрограда. В переполненном Александринском театре давали роскошную премьеру лермонтовского «Маскарада» в новаторской постановке талантливого Всеволода Мейерхольда.¹⁴⁰ Иностранные журналисты и дипломаты посетили премьеру французской пьески в Михайловском театре.¹⁴¹ Нелепым выглядел даже не фривольный сюжет, а сам факт комедийной постановки, скучновато игравшейся на сцене в тот момент, когда в больницах уже лежали первые трупы, доставленные с петроградских улиц.

В Царском Селе, где ничто не нарушало течения патриархальной жизни, в офицерском собрании Л.-гв. 2-го стрелкового Царскосельского полка состоялся званый танцевальный вечер в пользу стрелков, пострадавших от войны. Большинство приглашенных гостей из Петрограда приехали, веселье и танцы в собрании продолжались до утра.¹⁴² Морис Палеолог вместе с женой своего секретаря, виконтессой дю Альгуэ слушал в почти пустом зале Мариинского театра музыку Игоря Стравинского. На обратном пути спутница французского посла сказала ему: «Мы, может быть, только что видели последний вечер (царского. — К. А.) режима».¹⁴³ Современникам, находившимся в Ставке, подобная мысль показалась бы кощунственной, настолько подобное предположение вступало в противоречие с размеренной жизнью Могилева.

Главковерх перед сном занимался текущими делами.¹⁴⁴

«Государь как будто встревожен, хотя сегодня по виду был весел»¹⁴⁵, — записал в дневнике Дубенский, так и не разобравшийся в настроении своего

монарха, по-прежнему не придававшего особого значения волнениям в Петрограде. Поздним вечером Николай II направился отдыхать¹⁴⁶, и наступили четвертые сутки петроградских беспорядков.

* * *

Массовые беспорядки, вспыхнувшие в Петрограде утром 23 февраля 1917 года, вызвали субъективные обстоятельства, сложившиеся в неблагоприятный исторический момент. Среди них:

— усталость малокультурной части населения от тягот и лишений военного времени, включая неоправданные потери на фронте;

— резкое падение уровня жизни по сравнению с *благословенным* мирным временем трехлетней давности;

— зависть нуждавшихся петроградцев и их возмущение нарочито-кичливой роскошью столичного света, представители которого оказались неспособны к должному христианскому самоограничению во время тяжелых испытаний¹⁴⁷;

— слабость национальной солидарности и консолидации;

— обострение конфликтов и протестных настроений в разных общественных группах;

— низкое качество управления;

— скверные деловые способности не всех, но многих царских бюрократов, оказавшихся не в состоянии решить логистические проблемы, чтобы обустроить хозяйственную жизнь столицы;

— самодискредитация и самоизоляция августейшей четы, потерявшей способность трезво оценивать реальную обстановку, и ее застарелое противостояние с Думой по вопросу о судьбе дальнейших преобразований.

Почти выигранная Антантой война вывела из себя недовольный петроградский тыл, разуверившийся либо в ее дальнейшей целесообразности, либо в способности Николая II и его правительства довести борьбу с врагом до победного конца. Петроградцы требовали, чтобы власти обеспечили их продуктами или прекращали боевые действия.¹⁴⁸ Ни высокие патриотические цели, ни трагические судьбы русских солдат и офицеров, павших на полях сражений в 1914—1916 годах или искалеченных врагом, их уже не интересовали.

Вероятно, каждая по отдельности из вышеперечисленных причин еще не могла разбудить уличной стихии, но в совокупности они спровоцировали социальный взрыв в форме стихийных волнений. Поэтому категорическое утверждение эмигрантского публициста Ивана Якобия об отсутствии в России зимой 1917 года «почвы для революции», будто бы никогда не захватывавшей «народных масс», и его слепая убежденность в том, что в февральские дни «русский народ не бунтовал, а работал»¹⁴⁹, — не более чем плод воображения наивного монархиста. «Очень уж кошмарной была вся петроградская атмосфера в последнее время, так что неудержимо хотелось перемены и выхода, — честно признавал позднее Всеволод Кривошеин, будущий архиепископ Василий. — Тот, кто не жил тогда в Петрограде, этого не поймет.

Что было, то было, прошлого не вычеркнешь, что бы ни случилось впоследствии».¹⁵⁰ Слухи и революционная агитация, хлебная паника без серьезных к тому оснований, а также неумный локаут на Путиловском заводе, объявленный администрацией накануне Международного дня работниц, сыграли лишь роль *детонаторов*. Они вызвали народные демонстрации, шествия, забастовочное движение и послужили видимым проявлением системного кризиса в отношениях между царской властью и российским обществом.

Высочайшая практика выдвигания бесцветных исполнителей, не соответствовавших занимаемым должностям, обусловила пассивное поведение большинства лиц, отвечавших за безопасность Петрограда, их инерционную неспособность верно оценить вызовы и потенциальные угрозы для столицы. Князь Голицын, Протопопов, генералы Беляев и Хабалов не только вовремя не приняли неотложных мер, чтобы предотвратить развитие беспорядков, но даже не смогли *немедленно* доложить о них царю.

На первоочередную вину старших столичных начальников, растерявшихся и не понимавших обстановки, категорически указывали и строевые гвардейские офицеры запасных батальонов и даже юнкера.¹⁵¹ Никто не рискнул ввести осадное положение в Петрограде, председатель Совета министров не созвал экстренного заседания членов Кабинета, а руководитель МВД сначала игнорировал возраставший хаос, а затем переложил ответственность за реагирование на командующего ПВО. При этом Протопопов продолжал вести себя самоуверенно и полагал, что революция в России наступит не раньше чем через 50 лет.¹⁵² В своем благодушии высокопоставленные чиновники и генералы то ли полагались на русский авось, то ли друг на друга, то ли рассчитывали на самоуспокоение населения — и в итоге сразу же перешли в позицию *оборонявшейся стороны*, отдав инициативу мятущейся улице. А отсутствие должного сопротивления лишь повышало ее агрессивность.

В итоге первые трое суток столичных беспорядков представители высшей исполнительной власти и командования ПВО вчистую проиграли по причине собственной слабости и профессиональной некомпетентности. Они безвозвратно упустили 50 часов для организации энергичных контрдействий и борьбы со смутой, особенно тихие ночи 24 и 25 февраля, когда еще существовали реальные возможности заранее перекрыть доступ людским толпам в центр города. Каждый час правительственного бессилия ухудшал обстановку и увеличивал цену восстановления порядка. Поэтому служебное бездействие растерявшихся царских назначенцев и недооценка ими опасности массовых волнений граничили с преступной халатностью и имели роковые последствия для государства и престола.

В то же время на головоупякское поведение высших должностных лиц — особенно Протопопова, Беляева и Хабалова — серьезно влияла их психологическая неготовность решиться на неизбежное кровопролитие, сразу же отдав необходимый приказ чинам полиции и армии о применении оружия против погромщиков, грабителей и безобразников, покушавшихся на чужое имущество, а также участников нападений на защитников правопорядка. Тем более императрица Александра Федоровна, жившая романтическими иллюзиями¹⁵³, тоже надеялась избежать применения серьезного насилия в отношении

«верноподданных». Может быть, промедление с докладами на Высочайшее имя 23—24 февраля связывалось с боязнью ответной реакции Николая II?.. С подсознательным *нежеланием* выполнять его неизбежное повеление о немедленном прекращении столичных беспорядков *всеми* средствами?..

Для петроградских революционеров, принадлежавших к разным организациям, и для думцев, увязших в дебатах по продовольственному вопросу, стремительное превращение назревавшего недовольства в неуправляемое и бесцельное уличное движение оказалось столь же неожиданным, как и для властей. Об этом свидетельствовали донесения сексотов Охранного отделения.¹⁵⁴ Демонстранты бестолково толпились в центре и совсем не стремились занимать государственные учреждения или штурмовать Зимний дворец. «...Люди, видимо, сами хорошо не знали, зачем они пришли, что им надлежит делать»¹⁵⁵, — свидетельствовал думец Савич, находившийся 25 февраля в гуще толпы. «Движение стихийное, слепое, во что оно выльется? — записывал вечером в дневнике исследователь истории еврейского народа Семен Дубнов. — Из тупика, куда мы зажаты и ходом войны внешней, и внутренней, неужели выведет нас голодный бунт, на который, кажется, только и способен русский народ?»¹⁵⁶ Левые круги надеялись использовать выступления для ужесточения борьбы против правительства и монархического строя. Лозунги большевиков, призвавших нижних чинов — пока лишь петроградского гарнизона — к прекращению войны и *разбойному захвату* помещичьей земли, сразу же выглядели соблазнительными для угрюмой солдатской массы. Принципиальный вопрос о том, много ли в России той самой барской земли и насколько увеличится надел каждого домохозяйства после уравнительного передела, никому не приходил в голову.

В либеральном лагере городские волнения вызвали неуверенность и тревогу в связи с их непредсказуемыми последствиями. Иные монархисты уповали на грубую силу. «Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет 50 000 „февралистов“, то это будет за дешево купленное спасение России»¹⁵⁷, — рассуждал националист Шульгин.

Вместе с тем даже в 1905 году кризис самодержавия не преодолевался путем одних расстрелов, способных дать лишь кратковременный эффект. В первую очередь речь шла о переходе к ограниченно-конституционной монархии и разделении законодательной власти царя с Думой. Сейчас же петроградские генералы, во-первых, боялись личной ответственности, поэтому не спешили расстреливать и 500 «февралистов», не говоря уже о 50 тыс., а во-вторых, не придавали значения явным признакам тревожного брожения в регулярных частях кадровой казачьей бригады. Вялые — вплоть до саботажа приказов — действия донцов, подававших дурной пример другим воинским чинам, и кровавый инцидент на Знаменской площади ничуть не обеспокоили Беляева и Хабалова. Они не допускали возможности неповиновения «запасных» и поэтому не разработали разумного плана действий на случай слепого солдатского бунта. Никаких служебных прав по отношению к войскам в Петрограде не имело и главнокомандование армиями Северного фронта — 5 февраля по Высочайшему повелению приказом Беляева ПВО был изъят из ведения генерала Рузского и обособлен от действующей армии.¹⁵⁸

Непопулярная власть не обрела в обществе даже символической опоры.

23 февраля в Петрограде мгновенно исчезли все правопатриотические организации и фанатичные монархисты, включая думцев, напоминавших «перепуганных, потерявших веру в себя людей». ¹⁵⁹ Испугались своих пасомых епископат и священство Православной Российской Церкви. Никто из петроградских клириков, включая будущих Новомучеников и Исповедников Российских, не выходил с крестом и увещательным словом к крещенным по рождению участникам беспорядков, не устраивал духоносных крестных ходов и молебнов о благополучном и долголетнем царствии благоверного императора Николая II, не выступал публично в поддержку его правительства и громогласно не благословлял защитников правопорядка на самоотверженное исполнение служебного долга, обличая всякие колебания и неуверенность.

Отчуждение могилевской Ставки от петроградской смуты 23—25 февраля было прямым следствием *самодержавной традиции*, подавлявшей любую инициативу и самостоятельность. В общеимперском механизме каждый винтик занимал строго отведенное ему место. Штаб Главковерха отвечал за состояние ТВД, а все происходящее в тылу ставских не касалось — на то существовали царское управление и державная воля государя.

Первые двое суток Алексееву и его подчиненным из Петрограда официальная информация не поступала, а передававшиеся шепотом невнятные слухи о каком-то брожении в хлебных «хвостах» не могли привлечь внимания занятых генералов, занимавшихся подготовкой апрельских операций. Поэтому трудно согласиться с точкой зрения московского историка Василия Цветкова, полагающего, что «первые относительно подробные сведения о „беспорядках“» поступили в Ставку вечером 24 февраля. ¹⁶⁰ Для таких утверждений нет оснований.

Первая телеграмма, поданная Хабаловым не 24, а лишь *вечером 25 февраля* почему-то на имя наштаверха, а не Николая II, направлялась в Могилев не только с 50-часовым опозданием, но и с явным нарушением субординации. Гриф секретности на депеше указывал, что Хабалов хотел исключить распространение сведений о петроградских событиях в Ставке. «Самостоятельный столичный тыл, богато снабженный всякими охранительными органами, несомненно, проспал надвигавшуюся грозу, оптимистически благодушеествовал, а когда эта гроза разразилась, не сумел даже вызвать Ставку на требовавшиеся обстановкой решения и распоряжения» ¹⁶¹, — справедливо отмечал Георгиевский кавалер, Генерального штаба генерал-лейтенант Алексей фон Будберг, командовавший зимой 1917 года XIV армейским корпусом 5-й армии Северного фронта.

В присутствии царя и Главковерха в Ставке Алексеев мог лишь тщательно исполнять служебные обязанности в рамках предоставленных ему полномочий по «Положению о полевом управлении войск в военное время» — но не пускаться на утреннем докладе в рассуждения на политические темы, для чего, строго говоря, у заслуженного генерала 23—25 февраля еще и не было объективных оснований. Кроме того, наштаверх наверняка не забыл Высочайшего

неудовольствия в связи со своей попыткой некогда обратить внимание императора на зловредную роль Григория Распутина при дворе. Поэтому лишены всякого смысла выдвигавшиеся постфактум претензии к Алексею о том, что он не сделал *чего-то* экстраординарного, что, с точки зрения обвинителей, непременно должен был сделать, чтобы подавить беспорядки 24—25 февраля. Наштаверху надлежало заниматься ТВД, готовить стратегическую операцию и исполнять Высочайшие повеления. Любое другое поведение должностного лица в рамках петровской системы управления исключалось.

Однако объективная проблема заключалась в том, что Николай II, осведомленный о начавшихся беспорядках в Петрограде с двух-трех часов пополудни 24 февраля, вплоть до получения телеграммы Протопопова — то есть более суток — *ничего не повелевал*.

Государь, узнав из доклада Воейкова и вечернего телефонного разговора с Александрой Федоровной о волнениях в Петрограде, не придал им должного значения, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих записей в его дневнике. Метель и холодная погода заслужили большего внимания невозмутимого самодержца, чем хлебная паника и стычки рабочих с полицией на Выборгской стороне и Васильевском острове. Царя сильнее заботили здоровье детей и хлопоты супруги в Александровском дворце, чем народное смятение в Петрограде. «Керенский и Скобелев вызывают к ниспровержению самодержавной власти, а власти нет»¹⁶², — в итоге записал в дневнике Дубенский 25 февраля. Намного раньше, осенью 1900 года, известный славянофил и монархист, генерал от кавалерии Александр Киреев сделал в своем дневнике такую же по смыслу запись: «В обществе слышится страшное слово: „Феодор Иоаннович!“ Я употребляю прилагательное „страшное“, потому что действительно положение становится крайне опасным. <...> Самодержавие есть, а самодержца нет».¹⁶³ Вряд ли Киреев и Дубенский сильно противоречили друг другу.

Русский самодержец вел себя равнодушно и опрометчиво.

В руках Николая II находился огромный вертикальный аппарат управления империей и вооруженными силами, замыкавшийся лично на него. Но Главковерх не поставил в известность о столичном возмущении ни своего начальника Штаба, ни главкомов на фронтах, ни командующих флотами, как будто все происходящее в Петрограде их не касалось. Более того, царь не направил срочных запросов министрам и командующему ПВО, не дал неотложных поручений и заданий с категорическим требованием немедленно разъяснить характер произошедших волнений, о которых он узнал от чиновника Особого отдела Управления дворцового коменданта и государыни, то есть не по министерской инстанции, а *косвенным образом*, и перечислить меры, предпринимавшиеся для их прекращения. Император не отдал повелений Голицыну — особенно если днем 24 февраля действительно получил его телеграмму — с приказом уточнить обстановку и доложить о положении дел в других крупных городах России.

В важнейшие для России дни Николай II вел себя не как Главковерх и самодержец, а как безразличный и безвольный созерцатель, пустивший дела на самотек «со всем усердием пассивного христианина»¹⁶⁴, перепоручив

Всевышнему заботы о судьбе империи. Но может быть, у Всевышнего существовали еще и другие заботы, кроме спасения Российского государства?.. Дубенский вслед за Великим князем Александром Михайловичем категорично объяснял апатию императора свойственным для фаталиста нежеланием предпринимать какие-либо действия, чтобы не усугублять сложившееся положение.¹⁶⁵

Царь безмятежно гулял в садике могилевского «Дворца», писал письма, посещал монастырь, прикладывался к местной иконе, ездил на «моторах», осматривал окрестные достопримечательности, но совсем не прилагал личных усилий, чтобы досконально выяснить обстановку и изменить ситуацию, ухудшавшуюся по часам. Необходимое — по смыслу — немедленное возвращение в центр политического управления Николай II отложил, хотя 25—26 февраля его присутствия в большей степени требовало уже Царское Село, а не Могилев. Так в полной мере оправдались опасения современников, высказывавшихся о том, что благородное вступление венценосца в должность Верховного главнокомандующего в 1915 году приобретет пагубные последствия для государства и династии, так как монарху придется разрываться между фронтом и министерским Кабинетом.¹⁶⁶ Можно согласиться с мнением о том, что в февральские дни царь сохранял завидное хладнокровие и спокойствие, но никакой государевой — и тем более государственной — *решимости*, будто бы проявленной им 24—25 февраля, чем так трогательно восхищался мифотворец Якобий¹⁶⁷, в действительности мы не видим. Только созерцательность и отстраненность.

Таким образом, прямую ответственность за роковое промедление¹⁶⁸ с властным реагированием на опасные беспорядки в Петрограде, из которых рождалась вторая русская революция, несли не только высшие должностные лица, отвечавшие за безопасность города, но и Николай II, находившийся в Ставке по долгу службы. Венценосец повелел командующему ПВО немедленно подавить недопустимые волнения лишь *вечером 25 февраля* — с пагубным опозданием, непростительным для императора Всероссийского, Верховного главнокомандующего и государственного деятеля.

Теперь главный вопрос заключался в том, какое впечатление произведет Высочайший приказ о стрельбе на поражение по людским толпам на его непосредственных исполнителей: чинов запасных батальонов петроградского гарнизона.

¹ Воспоминания А. П. Балка из Архива Гуверовского института войны, революции и мира (Стэнфорд, США), 1929 г. Последние пять дней царского Петрограда (23—28 февраля 1917 г.). Дневник последнего Петроградского Градоначальника см. в: Гибель царского Петрограда. Февральская революция глазами градоначальника А. П. Балка / Публ. В. Г. Бортневского и В. Ю. Черняева. Вступ. ст. и коммент. В. Ю. Черняева // Русское прошлое (Л.—СПб.). 1991. № 1 [далее: Воспоминания А. П. Балка]. С. 32.

² Куликов С. В. Совет министров и падение монархии // Первая мировая война и конец Российской империи. Т. 3. Февральская революция. 2-е изд., испр. Рук. проекта Б. В. Ананьич. СПб., 2014. С. 167—168.

³ Савич Н. В. Воспоминания. СПб., 1993. С. 194.

⁴ Рыбцкая волость Петроградского уезда.

⁵ Шляпников А. Г. Семнадцатый год. Кн. 1. М.—Пг., 1923. С. 117—118.

⁶ Мейер П. П. Записки в связи с государственным переворотом 27 февраля — 3 марта 1917 // Вече (Мюнхен). 1984. № 14. С. 160.

⁷ Ганелин Р. Ш. 25 февраля // Первая мировая война и конец Российской империи. С. 101—102.

⁸ Оценка С. С. Хабалова: 240 тыс. (см.: Телеграмма № 3703 от 26 февраля 1917 ген. Хабалова — ген. Алексееву // Февральская революция / Подгот. текста А. А. Сергеева [далее: Февральская революция] // Красный Архив. Т. II (XXI). М.—Л., 1927. С. 5).

⁹ Шляпников А. Г. Февральские дни в Петербурге. Харьков, 1925. С. 22.

¹⁰ Воспоминания А. П. Балка. С. 35.

¹¹ Ганелин Р. Ш. 25 февраля. С. 102.

¹² Суханов Ник. Записки о революции. Кн. 1. Мартовский переворот. Пб., 1919. С. 30.

¹³ Подробнее о нем см.: Александров К. М. Накануне Февраля. Русская Императорская армия и Верховное командование зимой 1917 года. М., 2022. С. 166—168.

¹⁴ Hoover Institution Archives, Stanford University (HIA). Box 2. Folder 2—23. Дуброва Н. Н. Личные воспоминания о жизни Запасного батальона Л.-гв. Московского полка. Машинопись. С. 3—4.

¹⁵ Показания генерал-майора А. П. Балка тов. прокурора Петроградского окружного суда П. Г. Костенко 9 апреля 1917 г. // Гибель царского Петрограда. С. 21; Спиридович А. И. Великая Война и Февральская Революция, 1914—1917 г.г. Кн. III. Нью-Йорк, 1962. С. 93; Телеграмма № 486 от 25 февраля 1917 гл. нач. ПВО ген. С. С. Хабалова — наштаверху ген. М. В. Алексееву // Февральская революция. С. 4; Шляпников А. Г. Семнадцатый год. С. 116—117. Сопровождавшая чинов полиции казачья полусотня из состава 4-й сотни 1-го Донского казачьего генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Величества полка быстро отступила, бросив М. П. Шалфеева — лежащим на мостовой — и десять конных городовых (см.: Виноградов Н. И. Февральские дни в Петрограде // Переключка (Нью-Йорк). 1967. Май—Июнь. № 183—184. С. 6; Мартынов Е. И. Царская армия в февральском перевороте. [Л.], 1927. С. 79). Михаил Петрович Шалфеев (1859—1919) — на февраль 1917: полицмейстер 5-го отделения (Выборгский, Охтинский, Полустровский и Лесной участки) Петрограда (1914), Петроградской столичной полиции (1906), полковник (1909). Расстрелян большевиками во время красного террора.

¹⁶ Борис Николаевич Доможиров (1896 — после 1917) — на февраль 1917: Л.-гв. подпоручик Финляндского полка, обер-офицер запасного батальона (по излечении в госпитале после ранения 29 июля 1916 в боях под Ковелем). После ноября 1917 — участник Белого движения на Юге России (?).

¹⁷ Ходнев Д. И. Февральская революция и запасной батальон Лейб-гвардии Финляндского полка // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция. От новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 267. По распространенной версии слесаря застрелил Л.-гв. подпоручик Иосс, командовавший ротой финляндцев, прибывшей на завод (см., например: Виноградов Н. И. Февральские дни в Петрограде. С. 9; Шляпников А. Г. Семнадцатый год. С. 115). Однако версия коренного финляндца Д. И. Ходнева — информированного кадрового офицера, занимавшегося в эмиграции полковой историей, пока представляется автору более обоснованной. Дмитрий Иванович Ходнев (1886—1976) — на февраль 1917: Л.-гв. капитан Финляндского полка, наблюдающий за учебными командами запасного батальона. После 1917 — в белых войсках Северо-Западного фронта, полковник (на 1920). В эмиграции участвовал в деятельности русских воинских организаций, чин РОВС. В годы Второй мировой войны — переводчик в войсках вермахта на Восточном фронте (1941). Автор исторических публикаций, мемуарист.

¹⁸ Раппапорт Х. Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев. М., 2017. С. 101; Шляпников А. Г. Февральские дни в Петербурге. С. 22—24.

¹⁹ Спиридович А. И. Великая Война и Февральская Революция. С. 95.

²⁰ Шляпников А. Г. Семнадцатый год. С. 92.

²¹ Кривошеин В. А. Февральские дни в Петрограде в семнадцатом году // Февраль 1917 глазами очевидцев / Сост., предисл., коммент. д. и. н. С. В. Волкова. М., 2017. С. 187—188. С данным свидетельством согласуется признание одного из руководителей большевистской партии (1907—1926), Г. Е. Зиновьева, позднее отмечавшего распространение оборонческих настроений среди рабочих в дни Февральской революции (см.: Зиновьев Г. Е. История Российской коммунистической партии (большевиков). М.—Пг., 1923. С. 156, 162, 166—167). «Клика Протопопова» обвинялась в тайном намерении заключить сепаратный мир с Центральными державами (см.: Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. М., 1996. С. 181). По свидетельству эсера В. М. Зензинова, «непримиримая борьба с правительством казалась нам одной из очередных и беспорочных задач — наряду с призывами к обороне и даже во имя этой обороны» (см.: Зензинов В. М. Февральские дни // Новый Журнал (Нью-Йорк). 1953. Кн. XXXIV.

С. 191). На Знаменской площади кто-то из демонстрантов развернул самодельное красное знамя с надписью «Долой войну!», но из-за протестов в толпе его тут же пришлось свернуть (см.: Там же. С. 201).

²² *Раннапорт Х.* Застигнутые революцией. С. 101, 104—106.

²³ *Мейер П. П.* Записки в связи с государственным переворотом 27 февраля — 3 марта 1917. С. 156.

²⁴ *Мартынов Е. И.* Царская армия в февральском перевороте. С. 78—79; *Френкин М. С.* Русская армия и революция 1917—1918. Мюнхен, 1978. С. 39; *Шляпников А. Г.* Семнадцатый год. С. 111.

²⁵ *Савич Н. В.* Воспоминания. С. 195.

²⁶ *Шляпников А. Г.* Семнадцатый год. С. 89—90.

²⁷ *Ганелин Р. Ш.* 25 февраля. С. 102—104; *Марков И.* Как произошла революция // Февраль 1917 глазами очевидцев. С. 102; *Раннапорт Х.* Застигнутые революцией. С. 100, 109; *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 95; *Шляпников А. Г.* Семнадцатый год. С. 106.

²⁸ Цит. по: *Кривошеин В. А.* Февральские дни в Петрограде в семнадцатом году. С. 188—189.

²⁹ *Шляпников А. Г.* Семнадцатый год. С. 102—103; *Шляпников А. Г.* Февральские дни в Петербурге. С. 21—22.

³⁰ В пореформенной России дворянское землевладение неуклонно сокращалось и более трех четвертей пахотных земель к 1917 уже находились в крестьянских руках. За период 1905—1914 в 47 губерниях Европейской России (без прибалтийских) земельная собственность дворян, чиновников и офицеров сократилась с 54,1 млн га до 43 млн (почти на 22 %), духовенства — с 364,6 тыс. до 330 тыс. (на 9,5 %), купцов и почетных граждан — с 14 млн до 12,1 млн (более чем на 13 %), а крестьянская существенно выросла: частных хозяев — с 14,4 млн до 18,3 млн (на 27 %), обществ — с 4 млн до 5 млн (на 25 %), товариществ — с 8,3 млн до 13,6 млн (на 64 %) (см.: Россия, 1913 год / Ред.-сост. А. М. Анфимов, А. П. Корелин. СПб., 1995. С. 63. Расчет сделан в га). При этом большая часть еще оставшейся у помещиков земли была заложена без особых шансов на выкуп. Таким образом, вопрос о ликвидации дворянского землевладения в краткосрочной перспективе разрешался в пользу хлеборобов естественным путем.

Однако эсеры и большевики эксплуатировали лозунг о насильственном отчуждении или даже прямом захвате помещичьей собственности для *революционизации* солдатской — преимущественно крестьянской по происхождению — массы и разжигания ее низменных инстинктов, в первую очередь ненависти и зависти. После «черного передела» и насильственного присвоения крестьянами частновладельческих земель в конце 1917 — начале 1918, по оценкам сотрудников наркомата земледелия РСФСР, увеличение земельной площади на едока выразилось в ничтожных величинах: десятых и даже сотых долей десятины на душу. В большинстве губерний размер крестьянского подворного надела вырос не более чем на 0,54 га (в среднем около четверти крестьянских дворов имели менее 5,5 га, более 40 % — до 10 га и более 30 % — более 10 га). «...Положительные итоги (уравнительного. — К. А.) раздела для малоземельных и безземельных слоев крестьянства были ничтожны, — честно констатировал Б. Н. Книпович, управлявший отделом сельскохозяйственной экономики и статистики Наркомата земледелия РСФСР (1920). — Отрицательные же были чрезвычайно ощутительны. Крупные владельческие хозяйства, дававшие высокие урожаи, представившие собою большую ценность, снабжавшие рынок большим количеством продуктов, были „разорваны на части“, были уничтожены», однако «революция могла проходить только в форме захвата земли и уравнительной дележки», так как «иной лозунг не мог бы иметь успеха среди крестьянства» (см.: *Книпович Б. Н.* Очерки деятельности Народного комиссариата земледелия за три года (1917—1920). М., 1920. С. 9; *Пушкарев С. Г.* Ленин и Россия. Сб. статей. Франкфурт-на-Майне, 1978. С. 14—16; *Пушкарев С. Г.* О захвате и дележе помещичьих имений в 1918 г. // Посев (Франкфурт-на-Майне). 1979. Июль—сентябрь. III. С. 96; *Пушкарев С. Г.* Россия, 1801—1917 гг.: власть и общество. М., 2001. С. 328—330; *Середа С. П.* Основные задачи социалистического земледелия. М., 1920. С. 4; *Френкин М. С.* Трагедия крестьянских восстаний в России, 1918—1921 гг. Иерусалим, 1987. С. 4; и др.). Поэтому для радикального улучшения крестьянского благосостояния лозунг «Вся помещичья земля — народу!» значения не имел. Но зато он всецело способствовал взрывному развитию в России социальной революции, которая к 1934 закончилась для крестьянского населения СССР сталинским колхозным рабством, «вторым крепостным правом (большевиков)» и миллионными жертвами.

³¹ *Шляпников А. Г.* Февральские дни в Петербурге. С. 21—23.

³² *Ганелин Р. Ш.* 25 февраля. С. 106.

³³ *Суханов Ник.* Записки о революции. С. 30—31.

³⁴ Воспоминания А. П. Балка. С. 36.

³⁵ Допрос А. И. Спиридовича 28 апреля 1917 // Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии

Временного Правительства / Ред. П. Е. Щеголева. Т. III. Л., 1925. С. 38; *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 86.

³⁶ Письмо № 647 от 25 февраля 1917 императрицы Александры Федоровны — Николаю II // Переписка Николая и Александры Романовых. Т. V. 1916—1917 гг. М.—Л., 1927. С. 217—218. Курсив в тексте публикации.

³⁷ Подробнее см.: *Александров К. М.* Ставка Верховного главнокомандующего в 1914—1916 годах: к истории взаимоотношений императора Николая II и русского генералитета // Звезда. 2020. № 8. С. 174—175.

³⁸ Февраль 25^{го}. Суббота // Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны / Отв. ред., сост. В. М. Хрусталев. Т. I. 1 января — 31 июля 1917. М., 2008. С. 183.

³⁹ А. Д. Протопопову.

⁴⁰ Письмо № 647 от 25 февраля 1917 императрицы Александры Федоровны — Николаю II. С. 219—220. Курсив в тексте публикации. Николай II получил это письмо ранним днем 26 февраля, когда Высочайший приказ о подавлении беспорядков уже исполнялся командованием ПВО.

⁴¹ А. Д. Бубнов и другие чины Ставки, от имени которых он свидетельствовал, ошибались, полагая, что в Петрограде находился лишь один казачий *второочередной* полк (см.: *Бубнов А. Д.* В Царской Ставке. Воспоминания адмирала Бубнова. Нью-Йорк, 1955. С. 306).

⁴² *Дубенский Д. Н.* Как произошел переворот в России. Записки-дневники // Русская летопись. Кн. 3. Париж, 1922. С. 28.

⁴³ Цит. по: Допрос М. В. Родзянко // Падение царского режима. Т. VII. М.—Л., 1927. С. 158—159.

⁴⁴ Цит. по: *Аврех А. Я.* Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 99.

⁴⁵ *Шляпников А. Г.* Семнадцатый год. С. 106. Мемуарист ведет отчет с начала Первой русской революции 1905 года.

⁴⁶ Сергиевская, 81.

⁴⁷ Совет старейшин, совещание лидеров думских фракций.

⁴⁸ *Керенский А. Ф.* Россия на историческом повороте. С. 175—176.

⁴⁹ *Суханов Ник.* Записки о революции. С. 31—32, 36—37.

⁵⁰ *Шульгин В. В.* Дни. 1920. Записки / Сост. и авт. вступ. ст. Д. А. Жуков; коммент. Ю. В. Мухачева. М., 1989. С. 167.

⁵¹ Допрос Д. Н. Дубенского. 9 августа 1917 // Падение царского режима. Т. VI. М.—Л., 1926. С. 392.

⁵² 25 февраля. Суббота // Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 183; Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 516. Оп. 1 доп. Д. 25. Пребывание Государя Императора в действующей армии. Февраль[—]Март 1917 г. Рукопись. Л. 4 [скан из Президентской библиотеки, копия в личном архиве автора. Далее: Пребывание Государя Императора в действующей армии].

⁵³ *Дубенский Д. Н.* Как произошел переворот в России. С. 28.

⁵⁴ Допрос Д. Н. Дубенского. С. 392.

⁵⁵ *Сергеевский Б. Н.* Отречение (пережитое) 1917. Нью-Йорк, 1969. С. 8.

⁵⁶ Пребывание Государя Императора в действующей армии. Л. 4.

⁵⁷ *Кирхгоф Ф. Ф.* В Ставке Верховного Главнокомандующего // Вече. 1986. № 21. С. 102; *Пронин В. М.* Последние дни Царской Ставки [24 февраля — 8 марта 1917 г.]. Белград, 1929. С. 9.

⁵⁸ Подробнее см.: *Александров К. М.* Накануне Февраля. С. 79—82.

⁵⁹ 25 февраля. Суббота // Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 183.

⁶⁰ Там же; Пребывание Государя Императора в действующей армии. Л. 4.

⁶¹ Огрызки из воспоминаний А. Мордвинова // Русская летопись. Кн. 5. Париж, 1923. С. 89. В действительности Великая княжна Анастасия Николаевна заболела корью только 28 февраля — 1 марта (см.: Февраль 28^{го}. Вторник // Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 217, 236). Кроме того, предыдущим днем государь писал императрице: «Постарайся, чтобы Мария и Анастасия тоже схватили (корь. — К. А.), так проще и лучше для всех них и для тебя тоже!» (см.: Письмо от 24 февраля 1917 Николая II — императрице Александре Федоровне // Переписка Николая и Александры Романовых. С. 216).

⁶² *Виноградов Н. И.* Февральские дни в Петрограде. С. 6; *Кривошеин В. А.* Февральские дни в Петрограде в семнадцатом году. С. 186; *Суханов Ник.* Записки о революции. С. 33; *Шляпников А. Г.* Февральские дни в Петербурге. С. 25.

⁶³ *Падалкин А. П.* Письмо в редакцию // Часовой (Брюссель). 1961. Октябрь. № 425⁽¹⁰⁾. С. 23.

⁶⁴ Красивую атаку 2-го батальона преображенцев под командованием Л.-гв. капитана А. П. Кутепова 7 сентября 1916 у деревни Свинюхи на Юго-Западном фронте в полосе войск

8-й армии генерала от кавалерии А. М. Каледина во время кровопролитного четвертого Ковельского сражения описал Ю. В. Макаров (см.: *Макаров Ю. В.* Моя служба в Старой Гвардии, 1905—1917. Буэнос-Айрес, 1951. С. 348—349).

⁶⁵ *Кутепов А. П.* Первые дни революции в Петрограде // Генерал Кутепов / Сост. Р. Г. Гагкуев, В. Ж. Цветков. М., 2009. С. 402.

⁶⁶ *Раннапорт Х.* Застигнутые революцией. С. 103.

⁶⁷ Коренной офицер-фронтовик Л.-гв. Вольнского полка, неоднократно контужен, на 1909 — однополчанин М. Г. Дроздовского, на февраль 1917 — приятель А. П. Балка.

⁶⁸ *Перетц Г. Г.* В цитадели русской революции // Февраль 1917 глазами очевидцев. С. 116. Перспектива «стрелять в свой народ, да еще в голодный народ, который просит хлеба» вызывала неприятие и у отдельных господ офицеров (см.: *Лукаш И. С.* Преображенцы. [Пг., 1917]. С. 5).

⁶⁹ *Перетц Г. Г.* В цитадели русской революции. С. 116; *Смирнов А. А.* Час «Мордобоя» // Родина. 2017. № 2. С. 31.

⁷⁰ Подробно о нем см.: *Родин Н. В.* «Пристав Крылов»: опыт исторической идентификации и материалы к биографии // Петербургский исторический журнал. 2017. № 4 (16). С. 81—89.

⁷¹ Старший унтер-офицер казачьих войск, чей чин соответствовал чину подпрапорщика.

⁷² *Виноградов Н. И.* Февральские дни в Петрограде. С. 6—7; Комментарий В. Ю. Черняева // Воспоминания А. П. Балка. С. 63; *Мейер П. П.* Записки в связи с государственным переворотом 27 февраля — 3 марта 1917. С. 157; *Раннапорт Х.* Застигнутые революцией. С. 104—105; *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 95; *Суханов Ник.* Записки о революции. С. 33; *Ходнев Д. И.* Февральская революция и запасной батальон Лейб-гвардии Финляндского полка. С. 268; и др.

⁷³ Воспоминания А. П. Балка. С. 35.

⁷⁴ *Падалкин А. П.* Письмо в редакцию. С. 23.

⁷⁵ *Родин Н. В.* «Пристав Крылов». С. 90.

⁷⁶ Там же. С. 92.

⁷⁷ *Виноградов Н. И.* Февральские дни в Петрограде. С. 7; *Зензинов В. М.* Февральские дни. С. 202—203; *Перетц Г. Г.* В цитадели русской революции. С. 117; *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 95; *Ходнев Д. И.* Февральская революция и запасной батальон Лейб-гвардии Финляндского полка. С. 268.

⁷⁸ *Кривошеин В. А.* Февральские дни в Петрограде в семнадцатом году. С. 189.

⁷⁹ *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 98.

⁸⁰ *Глобачев К. И.* Правда о русской революции: воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения (Из собрания Бахметевского архива) / Под ред. З. И. Перегудовой; сост. З. И. Перегудова, Дж. Дейли, В. Г. Маринич. М., 2009. С. 121.

⁸¹ *Ганелин Р. Ш.* 25 февраля. С. 106; *Катков Г. М.* Февральская революция. Париж, 1984. С. 356.

⁸² *Шляпников А. Г.* Февральские дни в Петербурге. С. 27.

⁸³ Телеграмма № 3703 от 26 февраля 1917 ген. Хабалова — ген. Алексееву. С. 5. Зимой 1917 полк в составе 2-й (Гвардейской казачьей) бригады Сводной (3-й) гвардейской кавалерийской дивизии Гвардейского кавалерийского корпуса находился в Высочайшем резерве в районе Ровно Вольнской губернии. Вероятно, в Павловске, где до войны дислоцировались полковой штаб и две сотни, оставались нестроевые чины или находилась строевая сотня, которая временно была откомандирована с фронта для несения охранно-караульной службы.

⁸⁴ Телеграмма № 3703 от 26 февраля 1917 ген. Хабалова — ген. Алексееву. С. 5; Допрос ген. С. С. Хабалова. 22 марта 1917 // Падение царского режима. Т. I. Л., 1924. С. 190; *Мартынов Е. И.* Царская армия в февральском перевороте. С. 80; *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 96. В результате драгунской стрельбы у Гостиного Двора погибли более трех демонстрантов.

⁸⁵ *Суханов Ник.* Записки о революции. С. 38.

⁸⁶ Телеграмма № 486 от 25 февраля 1917 гл. нач. ПВО ген. С. С. Хабалова — наштаверху ген. М. В. Алексееву. С. 4—5.

⁸⁷ Цит. по: Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 187; *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 98—99. С. В. Куликов ошибается, полагая, что телеграмму № 179 А. Д. Протопопов послал утром (см.: *Куликов С. В.* Совет министров и падение монархии. С. 168), так как министр внутренних дел докладывал государю о событиях, происходивших днем 25 февраля.

⁸⁸ *Спиридович А. И.* Великая Война и Февральская Революция. С. 98.

⁸⁹ *Щеголев П. Е.* Охранники и авантюристы. М., 1930. С. 141—142. Может быть, поэтому В. Н. Воейков на допросе в ЧСК назвал первую телеграмму А. Д. Протопопова совершенно

бесцветной (см.: Допрос В. Н. Воейкова. 28 апреля 1917 // Падение царского режима. Т. III. Л., 1925. С. 71).

⁹⁰ Цит. по: Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 186.

⁹¹ Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. М., 2006. С. 179. Схожие оценки см.: Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М., 2003. С. 36.

⁹² Блок А. А. Последние дни старого режима // Архив Русской Революции, издаваемый И. В. Гессеном. Т. IV. Изд. 3-е. Берлин, 1922. С. 27; Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917—1918 гг. Ч. I. Зарождение контрреволюции и первая ее вспышка. Кн. 1. [Париж—Tallinn, 1937]. С. 18—19.

⁹³ Телеграмма № 486 от 25 февраля 1917 гл. нач. ПВО ген. С. С. Хабалова — наштаверху ген. М. В. Алексеева. С. 4. По воспоминаниям А. С. Лукомского, в Ставку также поступили две телеграммы М. А. Беляева. В первой военный министр сообщил царю о забастовках на петроградских предприятиях и волнениях в связи с продовольственными затруднениями, не представлявших серьезной опасности, и принятии властями должных мер к их прекращению. Во второй телеграмме Беляев доложил о рабочих шествиях с революционными песнями и под красными флагами, сообщив, что на следующий день (26 февраля) все «беспорядки будут прекращены» (см.: Воспоминания генерала А. С. Лукомского. Т. I. Берлин, 1922. С. 123—124). Автору не удалось установить точного содержания телеграмм, времени их поступления и исходящих номеров, другие известные нам современники о них не упоминали. Среди источников, опубликованных в «Красном Архиве» (см.: Февральская революция) и в собрании рукописных копий телеграмм и донесений периода Февральской революции в коллекции Лукомского (НИА. Lukomskii Aleksandr Collection. Box 1. Folder 38) их нет. Может быть, мемуарист, писавший свои воспоминания (1920—1921) по памяти, на самом деле ошибся, имея в виду телеграммы С. С. Хабалова и А. Д. Протопопова.

⁹⁴ Примерно с половины восьмого, если чин всенощной был немного сокращен, до половины девятого вечера продолжался Высочайший обед, а уже около девяти часов С. С. Хабалов в петроградском градоначальстве познакомился с реакцией Николая II на известия о беспорядках 23—25 февраля. Учитывая, что для передачи телеграммы требовались 20—30 минут, соответственно, наиболее вероятное время поступления телеграммы № 179 — до начала обеда.

⁹⁵ Допрос Д. Н. Дубенского. С. 392.

⁹⁶ Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в России. С. 30.

⁹⁷ 25 февраля. Суббота // Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 183; Пребывание Государя Императора в действующей армии. Л. 4—4 об.

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Телеграмма А. Д. Протопопова тоже поступила на аппарат Ставки (см.: Допрос В. Н. Воейкова. 1917. С. 71).

¹⁰⁰ Здесь мы сталкиваемся с недостатком информации о занятости М. В. Алексеева вечером 25 февраля. Нельзя исключать, что наштаверх, например, по состоянию здоровья после всенощной не вернулся к делам службы, а, воспользовавшись Высочайшим разрешением, отправился отдыхать — и узнал о поступившей телеграмме С. С. Хабалова позже. Другой вариант: Алексей вернулся в Штаб, где ему доложили о телеграмме А. Д. Протопопова, переданной В. Н. Воейкову, поэтому наштаверх решил не нарушать придворный этикет и отложил доклад до утреннего совещания. Необходимо еще учитывать следующее обстоятельство: Алексей знал, что Николай II не любил, когда его сотрудники вмешивались не в свои дела, а безопасность Петрограда не входила в компетенцию наштаверха.

¹⁰¹ Утром 26 февраля, познакомившись на докладе М. В. Алексева с телеграммой № 486, Николай II мог повелеть докладывать ему немедленно все петроградские телеграммы, поступавшие на имя наштаверха. Однако государь, не любивший менять привычных форм, этого *не сделал*: еще утром 27 февраля очередные депеши по-прежнему докладывались царю по обычным правилам. Соответственно, беспочвенны обвинения Алексева в том, что 25 и 26 февраля он якобы умышленно не докладывал императору содержание поступавших телеграмм, — они докладывались наштаверхом по тому порядку и в то время, которые установил сам Николай II.

¹⁰² Воейков В. Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1995. С. 221.

¹⁰³ Там же.

¹⁰⁴ Допрос В. Н. Воейкова. С. 71.

¹⁰⁵ Дубенский Д. Н. Как произошел переворот в России. С. 37.

¹⁰⁶ Цит. по: Блок А. А. Последние дни старого режима. С. 29. По времени это должно было произойти перед обедом, а не после половины девятого, когда царский обед закончился.

¹⁰⁷ Куликов С. В. Ставка: 23 февраля — 1 марта // Первая мировая война и конец Российской империи. С. 348.

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Письмо от 27 февраля 1917 Николая II — императрице Александре Федоровне // Переписка Николая и Александры Романовых. С. 224.

¹¹⁰ *Мартынов Е. И.* Царская армия в февральском перевороте. С. 19.

¹¹¹ Допрос ген. М. А. Беляева. 17 апреля 1917 г. // Падение царского режима. Т. II. Л.—М., 1925. С. 164.

¹¹² Телеграмма № 8 от 25 февраля 1917 Николая II — императрице Александре Федоровне // Переписка Николая и Александры Романовых. С. 220.

¹¹³ *Дубенский Д. Н.* Как произошел переворот в России. С. 29.

¹¹⁴ Допрос Д. Н. Дубенского. С. 397.

¹¹⁵ Там же. С. 392—393. Отъезд Николая II и свитских из Могилева состоялся не 27, а ранним утром 28 февраля.

¹¹⁶ См., например: *Головин Н. Н.* Российская контрреволюция в 1917—1918 гг. С. 13.

¹¹⁷ Примерно о том же см.: *Якобий И. П.* Император Николай II и революция. Tallinn, 1938. С. 55. В свою очередь, социолог П. А. Сорокин отмечал: «В России все другие власти „светили его (царя. — К. А.) светом“; рефлексыв повиновения к ним воспитывались в массах на почве рефлексыв повиновения царю» (см.: *Сорокин П. А.* Социология революции / Вступ. ст. Ю. В. Яковца, предисл. И. Ф. Курова и др., сост. и коммент. В. В. Сапова. М., 2005. С. 77).

¹¹⁸ *Шульгин В. В.* Дни. 1920. Записки. С. 165—166.

¹¹⁹ Свидетельства о нем см.: *Александров К. М.* Накануне Февраля. С. 114—117.

¹²⁰ *Дубенский Д. Н.* Как произошел переворот в России. С. 30.

¹²¹ *Головин Н. Н.* Российская контрреволюция в 1917—1918 гг. С. 19.

¹²² Допрос ген. С. С. Хабалова. С. 190.

¹²³ Там же. С. 191.

¹²⁴ Воспоминания А. П. Балка. С. 39—40. Здесь возникает неизбежный вопрос: а так ли уж на самом деле был «убит» С. С. Хабалов?.. Ведь господа офицеры на командирских должностях могли бы почувствовать неуверенность своего начальника, но, судя по сообщению Балка, их настроение выглядело вполне решительным.

¹²⁵ НИА. Pantiukhov O. I. Collection. Box. 1. Folder Rosters. *Джулиани А. И.* Последние дни февраля и 1ое марта в запасном батальоне л.-гв. 1-го стрелкового Его Величества полка в Царском Селе. Флоренция, 1928. Рукопись. Л. 13.

¹²⁶ Воспоминания А. П. Балка. С. 39; *Шляпников А. Г.* Февральские дни в Петербурге. С. 25.

¹²⁷ Воспоминания А. П. Балка. С. 38.

¹²⁸ Подробнее о нем см.: *Александров К. М.* Накануне Февраля. С. 228—229.

¹²⁹ НИА. Pantiukhov O. I. Collection. Box. 1. Folder Rosters. *Джулиани А. И.* Последние дни февраля и 1ое марта в запасном батальоне л.-гв. 1-го стрелкового Его Величества полка в Царском Селе. Л. 14.

¹³⁰ Частная квартира графа И. И. Капниста 1-го находилась по адресу: Сергиевская, 40. Великий князь Михаил Александрович, будучи поклонником британской системы государственного устройства, поддерживал неформальные отношения с представителями умеренных думских кругов.

¹³¹ Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 186.

¹³² Частная квартира А. С. Матвеева находилась по адресу: Фонтанка, 54. Графиня Н. С. Брасова и Н. Н. Джонсон после обеда у графа И. И. Капниста 1-го отправились в Михайловский театр.

¹³³ Содержание письма неизвестно, но можно предположить, что автор описывал тревожное положение в Петрограде и считал целесообразным изменение принципа формирования Кабинета с целью улучшения государственного управления. Скорее всего, письмо, направленное в Бердичев, опоздало, так как обстановка в ближайшие несколько суток изменилась необратимо.

¹³⁴ *Матвеев А. С.* Великий князь Михаил Александрович в дни переворота // Февраль 1917 глазами очевидцев. С. 418.

¹³⁵ *Раннапорт Х.* Застигнутые революцией. С. 111.

¹³⁶ Правление размещалось в доме 26 по 3-й Рождественской улице.

¹³⁷ *Авторханов А. Г.* Происхождение партократии. Т. I. 2-е изд. Франкфурт-на-Майне, 1981. С. 241, 247; *Катков Г. М.* Февральская революция. С. 356; *Мельгунов С. П.* Мартовские дни 1917 года. С. 27; *Френкин М. С.* Русская армия и революция 1917—1918. С. 43. С. П. Мельгунов полагал, что вечером 25 февраля вопрос о создании СРД ставился «в связи с продовольственным планом», а «не с задуманным политическим переворотом, в котором Совет должен был играть роль какого-то „рабочего парламента“».

¹³⁸ *Куликов С. В.* Совет министров и падение монархии. С. 171; *Родзянко М. В.* Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917 года революция. М., 2002. С. 296 (мемуарист

утверждал, что в собрании работала продовольственная комиссия из представителей больничных касс, кооперативов и выборных от рабочих); *Шляпников А. Г.* Семнадцатый год. С. 129.

¹³⁹ Цит. по: *Ганелин Р. Ш.* 25 февраля. С. 115—116. О том же см.: *Зензинов В. М.* Февральские дни. С. 203.

¹⁴⁰ *Карачевский Н. П.* Что глаза мои видели // Февральская революция / Сост. С. А. Алексеев. 2-е изд. М.—Л., 1926. С. 319.

¹⁴¹ *Раппапорт Х.* Застигнутые революцией. С. 109—110.

¹⁴² *Артабалецкий Н. А.* Первые дни революции во 2-м Гвардейском стрелковом запасном батальоне // Памятные дни. Из воспоминаний Гвардейских стрелков. 2. Таллинн, 1939. С. 8—9.

¹⁴³ Цит. по: Суббота, 10 марта [1917] // *Палеолог М.* Царская Россия накануне революции. 2-е изд. М., 1991. С. 238. Даты в записях М. Палеолога приводятся по н. ст.

¹⁴⁴ Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. С. 183.

¹⁴⁵ Цит. по: *Мартынов Е. И.* Царская армия в февральском перевороте. С. 84.

¹⁴⁶ *Дубенский Д. Н.* Как произошел переворот в России. С. 30.

¹⁴⁷ Подробнее см.: *Александров К. М.* Накануне Февраля. С. 85—86.

¹⁴⁸ Приложение № 5. Сопроводительное письмо к докладу и доклад от 5 февраля 1917 начальника ПОО К. И. Глобачева директору Департамента полиции // *Глобачев К. И.* Правда о русской революции. С. 388.

¹⁴⁹ *Якобий И. П.* Император Николай II и революция. С. 24, 30.

¹⁵⁰ *Кривошеин В. А.* Февральские дни в Петрограде в семнадцатом году. С. 191. О чем-то подобном писал и В. В. Шульгин: «Во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти» (*Шульгин В. В.* Дни. 1920. Записки. С. 173).

¹⁵¹ См., например: *Голубинцев С. В.* Февраль — глазами юнкера // Февраль 1917 глазами очевидцев. С. 176; *Лучиных 2-й С. Г.* Мои воспоминания о первых днях революции // Военная Быль (Париж). 1965. Апрель. № 73. С. 1; *Ходнев Д. И.* Февральская революция и запасной батальон Лейб-гвардии Финляндского полка. С. 260; и др.

¹⁵² Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова. Т. I. Сентябрь 1915 — Март 1917. М., 1993. С. 287. О том же см.: *Аврех А. Я.* Царизм накануне свержения. С. 145—146.

¹⁵³ Подробнее см.: *Александров К. М.* Накануне Февраля. С. 69, 87.

¹⁵⁴ *Ганелин Р. Ш.* 26 февраля // Первая мировая война и конец Российской империи. С. 149—150.

¹⁵⁵ *Савич Н. В.* Воспоминания. С. 194.

¹⁵⁶ Цит. по: *Ганелин Р. Ш.* 26 февраля С. 144.

¹⁵⁷ *Шульгин В. В.* Дни. 1920. Записки. С. 195.

¹⁵⁸ Подробнее см.: *Александров К. М.* Накануне Февраля. С. 79—82.

¹⁵⁹ *Якобий И. П.* Император Николай II и революция. С. 96.

¹⁶⁰ *Цветков В. Ж.* Генерал Алексеев. М., 2014. С. 271.

¹⁶¹ *Будберг А. П.* Несколько дней // Февраль 1917 глазами очевидцев. С. 168.

¹⁶² Цит. по: *Блок А. А.* Последние дни старого режима. С. 30.

¹⁶³ Цит. по: *Подболотов С. П.* Была ли жива монархическая идея? К дискуссионному вопросу об и идейных ценностях Белого движения // Труды I Международных исторических чтений, посвященных памяти профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина (1875—1944). Санкт-Петербург, 27 ноября 2010 года. Исход на Юге России и начало Галлиполийской эпопеи Русской армии. 90 лет. 1920—2010 / Сост. К. М. Александров, О. А. Шевцов, А. В. Шмелев. СПб., 2011. С. 51—52. Подчеркивания в источнике.

¹⁶⁴ *Александр Михайлович,* Великий князь. Воспоминания. 2-е изд., испр. М., 2001. С. 181.

¹⁶⁵ Допрос Д. Н. Дубенского. С. 396.

¹⁶⁶ Подробнее см.: *Александров К. М.* Ставка Верховного главнокомандующего в 1914—1916 годах // Звезда. 2020. № 7. С. 143—145.

¹⁶⁷ *Якобий И. П.* Император Николай II и революция. С. 5.

¹⁶⁸ Через всю трагическую историю последнего царствования (1894—1917) красной нитью проходит фатальное *опоздание* русского монарха как военно-политического деятеля: он поздно задумался о реформировании архаичного самодержавия и учредил законосовещательную Думу (1905), поздно начал столыпинскую аграрную реформу (1906), поздно назначил М. В. Алексеева на ответственную должность в Штаб Главковерха (1915) — вопреки намерениям (1914) Великого князя Николая Николаевича (Младшего); а в 1917 поздно узнал о столичных волнениях (24 февраля), поздно отдал приказ об их подавлении (25 февраля), а затем поздно выехал в Царское Село из Могилева (28 февраля), когда обстановка уже требовала оставаться в Ставке, куда следовало вывозить августейшую семью, и поздно наделил Думу правом формировать Кабинет министров (1 марта). Список примеров можно продолжать.

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

ТРИ СОСТАВНЫХ ИСТОЧНИКА ТЕРРОРИЗМА

«Антология народничества» (СПб., 2020), созданная во второй половине 1970-х Михаилом Яковлевичем Гефтером и выпущенная в свет почти через полвека, при своей абсолютной документальности читается как трагический эпос. Или скорее драма, ибо в огромном томе звучит целый хор перебивающих друг друга голосов. И не политических лозунгов общего пользования, а страстных и личных чувств и мыслей.

Начиная с классического письма Белинского В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года.

«Итак, я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания. Всё из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. <...>

Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними во Христе, но кто — мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда бóльшая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! <...>

Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, не будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, Христос сдаст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новою землею».

Христос, во Христе — вот откуда истекает этот пыл!

«Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов».

Интересно, ужаснулся бы неистовый Виссарион увидев своего последователя Иосифа Виссарионовича? Или счел бы его искажением своей грезы — истинно верующих же ничто не убеждает.

Ну а то, что победа социализма принесла унижения и страдания именно миллионам? Возможно, и это бы его не устрасило.

«К тому же: fiat justitia — pereat mundus!»

«Да свершится правосудие, хотя бы погиб мир»: торжество принципа важнее жизни мира.

К сожалению, в «Антологию...» не вошел из того же письма восторженный отзыв о Беранже: «Христианнейший поэт, любимейший из учеников Христа!» — он устранил бы последние сомнения в том, что политические экстазы Белинского имели религиозную природу: социализм в представлении его самого и очень многих пылких его последователей был *атеистической версией христианства*.

Это и есть первый эмоциональный источник народнического движения: оно было религиозным движением. Остервенелость политических страстей и сегодня объясняется их религиозной природой, однако вернусь к «Антологии...».

Двадцать лет спустя — 1861 год, отмена крепостного права. И вот что пишут Н. В. Шелгунов и М. Л. Михайлов в прокламации «К молодому поколению»: «Организацией комиссий, составлявших и рассматривавших „Положение“, государь показал полнейшее презрение ко всему народу и к лучшей, то есть к образованнейшей, честнейшей и способнейшей, части русского общества — к народной партии: все дело велось в глубочайшем секрете, вопрос разрешался государем и помещиками, никто из народа не принимал участия в работе, журналистика не смела пикнуть — царь давал народу волю как милость, как бросают сердящемуся псу сухую кость, чтобы его успокоить на время и спасти свои икры. <...>

Нам не нужна власть, оскорбляющая нас. <...>

Мы не знаем ни одного сословия в России, которое бы не было оскорблено императорской властью. Обижены все».

Это второй источник — *оскорбленная гордость, оскорбленное достоинство* «образованнейшей, честнейшей и способнейшей части русского общества», каковой себя считала «передовая интеллигенция».

И авторы прокламации прекрасно понимали, что не в экономике тут дело.

«В последнее время расплодилось у нас много преждевременных старцев, жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек. Эти господа не понимают, что экономизм нищает нас в духовном отношении, что он приучает нас только считать гроши, что он разъединяет нас, толкая в тесный индивидуализм. Они не понимают, что не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями. Начиная материальными стремлениями, еще придем ли к благосостоянию? — односторонняя экономическая наука нас не выручит из беды. Напротив, откинув копеечные расчеты и стремясь к свободе, к восстановлению своих прав, мы завоюем благоденствие, а с ним, разумеется, и благосостояние».

Очень характерно здесь это «разумеется».

И откуда же возьмется это благосостояние? Из общинного владения землей, которой нельзя было бы владеть частным порядком, нельзя было покупать и продавать.

Вернемся, однако, к психологии.

Д. М. Рогачев о своем обращении в социалистическую веру: «Я вышел из трактира как угорелый. Казалось, я готов был в это время обнять весь свет. По улице я бежал; сбил с ног несколько человек. По дороге мне попался какой-то господин, обидевший женщину, я дал ему в ухо. С этого времени для меня не существовало более никаких заведений, я решил посвятить себя, все свое время деятельности среди народа».

Скучные психиатры, пожалуй, назвали бы это гипоманиакальным состоянием. Но научная разработка психиатрических аспектов массовых движений еще далеко впереди.

И. Н. Мышкин, расстрелянный в Шлиссельбургской крепости за то, что швырнул тарелкой в надзирателя «Ирода» (это была уже вторая, подобная же, попытка самоубийства): «Мне думается, что большинство из нас (в том числе и я) не ведало, что творило, да и теперь, после многолетнего содержания в тюрьме не ведает хорошенько, что нужно творить. <...> Попал я в тюрьму по недоразумению (или, пожалуй, за неосмысленную ненависть к существующему порядку и таковую же неосмысленную любовь к народу) и просидел несколько лет в келье без толку. <...> При всем моем искреннем желании творить добро, жить для народа, не обращая внимания на свои личные интересы, не сделал ровно ничего порядочного, между тем как мои прежние материальные средства и мое положение в обществе давали мне возможность сделать кое-что более путное. Я думаю, что не я один, а многие с горечью, с сердечной болью чувствуют то же самое, а ведь это хуже всякой каторги».

«Земля и воля», прокламация «Покушение на жизнь Трепова», написанная как обращение к вере Засулич: «Ты <...> доказала, что чувство чести и понятие о праве и святости человеческой личности еще не вымерли в русском обществе».

Здесь два ключевых слова — «честь» и «святость».

Из показаний Веры Засулич на суде: «Я решилась, хотя ценой собственной гибели, доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью» (после этих слов пришлось сделать перерыв, так была взволнована подсудимая).

Из письма Г. А. Лопатина П. Л. Лаврову: «Сильно заметно, что люди совершенно равнодушны к „программам“ и группируются по темпераментам».

Из речи М. П. Овчинникова в Киевском военно-окружном суде: «Под влиянием чего я переродился нравственно, обновился духовно? Под влиянием идей социально-революционной партии! Разве это не доказывает святости и чистоты этой идеи? Разве вы не замечаете в этой идее почти чудотворной силы, которой равна разве сила апостольской проповеди, перерождавшая также людей без различия званий и состояний и под влиянием которой самые закоренелые преступники шли на смерть во имя великой идеи любви и братства».

Г. Д. Гольденберг, тюремная «Исповедь»: «Я лично смотрю на социализм <...> как на новое учение, которое впоследствии должно будет занять место религии, и с господства этой новой религии на земле начнется новая эра. <...> Когда этот золотой век настанет, о! тогда мы сделаемся и добрыми, и гуманными, и цивилизованными, и честными, — тогда будет господство народа, народных интересов и общее счастье на земле».

Морского офицера Н. Е. Суханова более всего оскорбляла коррупция коллег: «Я не теоретик, я не вдавался в рассуждения, почему необходим другой государственный строй, а не настоящий. Я только чувствовал, что жить теперь просто не стоит, слишком гадко: все правительственные сферы, все испорчено, все основы подгнили».

Здесь уже явно работали эстетические факторы; впрочем, и личная честь в огромной степени — эстетический феномен.

Этот идеалист, мечтавший о бомбардировке Петербурга кронштадтской артиллерией, был действительно совсем не теоретик, он не задумывался, каким именно образом социализм оздоровит правительственные сферы. Хотя его знаменитый современник Спенсер вполне широко проповедовал, что социализм поставит управляемых в рабскую зависимость от собственных уполномоченных. Лев Тихомиров, главная литературная и умственная сила «Народной Воли», не зря вспоминал, что вся начитанность «передового» студенчества практически не выходила из круга одних и тех же «передовых» авторов.

Кстати, очень жаль, что в книге совсем не использована брошюра того же Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» и хотя бы самые сильные места из его дневников.

И вообще, жаль (условия советских семидесятых?), что в книге слишком мало места уделено мнениям дельных противников главных героев — не все же они были верноподданными тупицами. Это бы придало картине объемности и еще отчетливее выявило трагический характер исторического конфликта. Хотя и в таком виде книга надолго делается ценным справочным и учебным пособием, но главная ее сила — в порождаемом ею ощущении величия, сочетания ужаса и восхищения.

Из завещания И. И. Гриневицкого: «Я боюсь... Меня, обреченного, стоящего одной ногой в могиле, пугает мысль, что впереди еще много дорогих жертв унесет борьба, а еще больше последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убежден в том, не особенно далека и которая zalъет кровью поля и нивы нашей родины, так как — увы! — история показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв».

«Роскошное дерево свободы» — что конкретно это означает? Здесь является себя третий источник терроризма — заслоняющий реальность ансамбль пышных метафор.

В далекой юности, на пике моего увлечения «Народной Волей» я случайно прочел в брошюре политического журналиста Петра Рысса, как во время Гражданской войны еще вчера передовая, а сегодня, для большевиков, уже реакционная интеллигенция крыла этих узурпаторов, и Вера Фигнер вдруг тихо произнесла: *большевики делают то самое, что хотели делать мы.*

Я тогда только пожал плечами — что за чепуха! Делали, может, и то же самое, желябовская программа вообще рисует советское будущее — национализированную промышленность, а в деревне работу сообща, — но дьявольская разница: Ленин скучен, а Желябов прекрасен. Как этот красавец и герой чеканно отвечает в суде на вопрос о его вере!

«Сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и, если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера».

Он и за минуту до казни «что-то шепнул священнику, поцеловав горячо крест, тряхнул головой и улыбнулся».

В юности меня захватывала именно *красота* героических характеров и судеб террористов-народников совершенно независимо от их политических убеждений общего пользования. И это нормально: эстетический взгляд на историю и ее творцов и есть самый важный для нашего внутреннего восприятия, хотя для внешнего пользования мы придумываем более или менее убедительные рациональные прикрытия. Ведь лозунги в каждой социальной группе все произносят примерно одни и те же, но личные мотивы могут при этом варьироваться от самых возвышенных до самых низкопробных. Личные мотивации (а только в них и таится красота) не бывают политическими, они лишь ищут в политике хотя бы частичной своей реализации. Но очень характерно, что о внутренней, психологической жизни этих героев даже из столь полной антологии мы можем узнать очень мало — и это не вина составителя: люди этого типа не склонны к интимным самокопаниям, а тем более — признаниям.

Я. А. Гордин в своем послесловии выдвигает важную идею: террористы защищали прежде всего такую внеэкономическую и внеполитическую ценность, как честь, — «высокую самооценку и обостренное чувство собственного достоинства». Их террор являлся естественной реакцией на унижение.

И это действительно так. Но выше был намечен и еще один, не менее важный мотив — религиозный. Латентно религиозный.

Довольно широко распространено мнение, что мирных народников-пропагандистов радикализировали преследования правительства, и они сами много раз это повторяли. Хотя социалистическое учение уже в своей основе — по крайней мере в их интерпретации — было настолько радикально, что мирно пропагандировать его все равно означало мирно пропагандировать гражданскую войну. Вопрос лишь в том, насколько сами «мирные пропагандисты» сознавали, к чему ведет их проповедь. Воспоминания виднейших народовольцев Веры Фигнер и Николая Морозова показывают, что самые последовательные из них вполне сознавали.

На Веру Фигнер уже в тринадцать лет произвел «неизгладимое впечатление» роман Шпильгагена «Один в поле не воин»: «Ни один роман не раздвигал моего горизонта так, как раздвинул этот, он поставил два лагеря резко

и определенно друг против друга: *в одном были высокие цели, борьба и страдание; в другом — сытое самодовольство, пустота и золотая мишура жизни*».

Запомним это ключевое слово: *страдание*.

И еще поэма Некрасова «Саша»: «Согласовать слово с делом — вот чему учила поэма, требовать этого согласования от себя и от других учила она. И это стало девизом моей жизни».

Этот девиз явился среди вполне оранжерейного воспитания вовсе не из ожесточения, а, напротив, скорее от избытка счастья: «Не мысль о долге народу, не рефлектирующая совесть кающегося дворянина побуждали меня учиться, чтоб сделаться врачом в деревне. Все подобные идеи явились позднейшим наслоением под влиянием литературы. Главным же двигателем было настроение».

Какое же?

«Это была признательность вообще; не признательность к кому-нибудь в частности, но признательность ко всем и за всё».

Такое настроение вполне напоминает религиозный экстаз: «За блага мира, за блага жизни хотелось отблагодарить кого-то. Сделать что-нибудь хорошее... такое хорошее, чтоб и тебе, и другому стало хорошо».

И вот Цюрихский университет, благополучнейшие девушки-идеалистки, дискуссионный клуб — задолго до всяких столкновений с властью.

«На обсуждении стоял вопрос в то время очень жгучий: как при социальной революции быть с современной цивилизацией и культурой? Что давали они в прошлом и что дают в настоящем большинству человечества — трудящимся массам? Надо ли сохранить или разрушить эту цивилизацию и культуру?»

Под влиянием идей Жан-Жака Руссо и в особенности Бакунина одни со всей решительностью объявили, что цивилизация должна быть разрушена, так как в течение всех веков она служила на пользу только привилегированному меньшинству и являлась орудием порабощения народных масс. Пусть при разрушении существующего строя погибнет и она бесследно — человечество от этого не проиграет. На развалинах уничтоженного разовьется новая культура, расцветет новая цивилизация; но они будут достоянием уже не кучки паразитов, а всех трудящихся, на костях и крови которых создавались существующие теперь культурные, научные и художественные ценности.

Другие с жаром возражали, защищая приобретения человечества, добытые путем тяжких жертв. Разрушить надо не цивилизацию, а тот экономический порядок, при котором все блага достаются только верхам общества. „Будем, — говорили они, — стремиться к ниспровержению современного экономического строя и к водворению социалистического, при котором массы будут пользоваться всем, чем теперь пользуются только привилегированные классы“.

Спор разгорался; вместо правильных прений все заговорили разом, разбились на группы, которые с ожесточением разрушали и защищали цивилизацию. Шум и крик достигли невероятной степени».

Спор, как видим, шел лишь о том, всю ли цивилизацию ниспровергать или только современный экономический строй, право собственности. То есть их будущая деятельность была с самого начала замешена на экстремизме.

«Можно подумать, что общественные затеи и масса возникших вопросов, настоятельно требовавших разрешения, совершенно изгнали изучение специальности. Ничуть не бывало: это было время гармонического увлечения наукой, литературой и жизнью. Мы чрезвычайно дорожили лекциями анатомии, в особенности занятиями в анатомическом театре; лекции зоологии профессора Фрея возбуждали большой интерес; тот же профессор не мог нахвалиться способностями студенток к практическим занятиям гистологией, которую он читал».

Глядишь, занятия наукой кого-то и увели бы от революционных фантазий к реальному делу, но тут уж действительно подсуенилось правительство.

«В самый разгар цюрихской жизни, летом 1873 года, вышел правительственный указ, приказывавший студенткам оставить Цюрихский университет под угрозой в случае ослушания не допускать к экзаменам в России. Все были поражены неожиданностью этого распоряжения. В мотивировке указа упоминалось увлечение социалистическими идеями, но, кроме того, был пункт, который задевал в высшей степени всех женщин; этот пункт гласил, что под покровом занятий наукой русские женщины едут за границу, чтобы беспрепятственно предаваться утехам „свободной любви“. Клевета была наглая; она повела к тому, что иные иностранцы стали смотреть на нас как на женщин легкого поведения».

Со стороны власти это было хуже, чем преступление, — это была ошибка: к принуждению присоединять еще и оскорбление. Которое простить труднее всего. Но этого «политические прагматики», то есть тупицы, никогда не понимают: люди борются прежде всего за свое достоинство, если даже на знамени у них написаны экономические лозунги. Личная честь, личное достоинство — важнейшая часть экзистенциальной защиты человека, позволяющей ему преодолевать ощущение своей мизерности и беспомощности перед бесконечно могущественным и безжалостным мирозданием. Именно поэтому материальный ущерб огорчает, сердит, а унижение приводит на грань самоубийства.

Это первое унижение, несомненно, ускорило радикализацию — преобразование книжного убеждения в личную страсть. Хотя и логическая последовательность тоже делала свое дело: реальность не могла тягаться с завораживающей сказкой.

«За этот год в моих мыслях произошел такой же переворот, как и у других; то, что было прежде целью, мало-помалу превратилось в средство; деятельность медика, агронома, техника, как таковых, потеряла в наших глазах смысл; прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое; мы предполагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько ни лечи народ, думали мы, сколько ни давай ему микстур и порошков, получится лишь временное облегчение; заболевания не сделаются реже, так как обстановка, все неблагоприятные условия жилища, питания, одежды и т. п. у больного останутся всё те же; это была бы белка в колесе. Цель, казавшаяся столь благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного.

Куда же обратить свой взор, куда направить силы? Что должен делать человек, желающий удовлетворить свои потребности в общественной деятельности? Всё зло, отвечали нам новые впечатления, заключается в существующих экономических отношениях. Эти отношения таковы, что ничтожное меньшинство владеет на правах частной собственности всеми орудиями производства, остальная часть человечества, составляющая громадное, подавляющее большинство, владеет только рабочей силой. Побуждаемое голодом, это большинство продает свой труд первой группе и в силу конкуренции получает за него лишь небольшую часть того, что создается его трудом; эта часть составляет минимум жизненных продуктов, необходимых для поддержания существования рабочего и продолжения его рода. Остальная часть продукта его труда удерживается владельцем орудий производства. <...> Чтобы покончить с порядком вещей, столь отвратительным, необходимо одно: изъять орудия производства из числа объектов частной собственности и передать их в коллективное владение трудящихся».

Я привожу столь длинную цитату, чтобы не осталось сомнений, каким образом приводила к предельному радикализму мнимая логическая последовательность: необходимо ОДНО.

Ни малейших столкновений с властью эта юная энтузиастка еще не пертерпела.

«Политическое равенство останется пустым звуком, пока не будет уничтожено неравенство экономическое, потому что рабочий находится в такой рабской зависимости от хозяина, что его права гражданина превращаются в иллюзию».

Более того, в агитационной сказке «Мудрица Наумовна» Сергей Кравчинский прямо-таки запугивал вершинным развитием тогдашнего капитализма — английского, рисуя страшную нищету и эксплуатацию, ледяные подвалы и ядовитое производство, где трудятся шестилетние дети, которые мрут, как мухи на гнилой соломе. Купец страшнее барина, учила сказка, ему надо свернуть шею раньше, чем он укрепитя.

Двенадцать цюрихских апостолиц и не собирались медлить: «Программа общества, членом которого я сделалась, резюмировала эти взгляды и говорила о социальной революции, которая осуществит социалистические идеалы, как о ближайшем будущем. <...> Имея задачей образование среди народа социалистического меньшинства путем мирной пропаганды, организация признавала и агитацию, необходимость поддержания и возбуждения частных бунтов, не дожидаясь общего и победоносного взрыва».

«Путем мирной пропаганды...»

Мирной пропаганды войны.

«До конца 1876 года русская революционная партия разделялась на две большие ветви: пропагандистов и бунтарей. Первые преобладали на севере, вторые — на юге».

Бунтари полагали, что народ и без пропаганды уже социалист по своему положению и вполне готов к социальной революции, объединить отдельные протесты и мелкие возмущения в единый огненный поток — задача интеллигенции.

«Но как бы то ни было, и пропагандисты и бунтари в своей практической деятельности в народе потерпели фиаско, т. е. как в самом народе, так и в политических условиях страны встретили неожиданные и непреодолимые препятствия к осуществлению своей программы, как в то время они понимали ее».

«Результатом всех этих трудов была программа, известная впоследствии под именем „народнической“. Она вошла целиком в программу общества „Земля и Воля“, а позднее — частью и в „Народную Волю“» — «на своем знамени выставить уже самим народом сознанные идеалы».

Какие же?

«Отобрание всей земли в пользу общины — вот народный идеал, вполне совпадающий с основным требованием социалистического учения». Во имя этого идеала и следует начинать борьбу — «развивать в крестьянстве дух самоуважения и протеста; вместе с тем высматривать энергичных людей, вожаков, которые особенно горячо относятся к интересам мира; спланировать и соединять их в группы, чтобы на них опереться в борьбе, которая, начинаясь с легального протеста, должна вступить наконец на путь чисто революционный».

Но — «никакому восстанию не будет обеспечен успех, если часть революционных сил не будет направлена на борьбу с правительством и подготовка такого удара в центре в момент восстания в провинции, который привел бы государственный механизм в замешательство, в расстройство и тем дал бы возможность народному движению окрепнуть и разрастись. Тогда же заговорили о возможности посредством динамита взорвать Зимний дворец и похоронить под его развалинами всю царскую фамилию».

Этим громокипящим планам предшествовала, однако, практическая работа сельской фельдшерицы.

«Я терпеливо раздавала до вечера порошки и мази, наполняя ими жалкие черепки кухонной посуды, а шкалики и косушки — отварами и настояками; по три-четыре раза толковала об употреблении лекарства и, когда работа кончалась, бросалась на кучу соломы, брошенной на пол для постели; тогда мной овладевало отчаяние: где же конец этой нищете, поистине ужасающей; что за лицемерие все эти лекарства среди такой обстановки; возможна ли при таких условиях даже мысль о протесте; не ирония ли говорить народу, совершенно подавленному своими физическими бедствиями, о сопротивлении, о борьбе; не находится ли этот народ уже в периоде своего полного вырождения; не одно ли отчаяние может еще нарушить это бесконечное терпение и пассивность? <...>

Эти три месяца были для меня тяжелым испытанием по тем ужасным впечатлениям, которые я вынесла из знакомства с материальной стороной народного быта; в душу же народа мне не удалось заглянуть — для пропаганды я рта не раскрывала».

Правительству и следовало бы предоставить утопистам на своей шкуре узнать не силу власти, но силу реальности, «силу вещей» (мы же вечно валим власть, а за ней открывается еще более жестокая реальность). У недурного беллетриста-народника, как его назвал Плеханов, Каронина-Петропавловского

я когда-то прочел такую историю. Некий радетель за народное дело сумел освободить артель землекопов на строительстве железной дороги от кровососа-подрядчика, чтобы они сами сделались хозяевами своего труда. Прежде всего новые хозяева установили невиданное количество выходных дней, а кроме того, желающие могли еще и прогуливать сколько им вздумается. Чтобы умиротворить коллег, им было достаточно выставить ведро водки — по этому поводу бросали работу и остальные. В итоге инженер прихлопнул социалистический эксперимент, объявив, что лучше иметь дело с внесшим залог ответственным мерзавцем, чем с кучей голоштаных дураков.

К несчастью, у волостных писарей из народников дела шли побойчей, они имели гораздо больше возможностей вмешиваться во внутренние деревенские дела, ни за что не отвечая. И реакция не заставила себя ждать.

Реакция не верхов — низов.

«Вскоре исправник заподозрил в них пропагандистов; уже существовавшие тогда урядники начали следить за ними. По мере того как они приобретали опору, поддержку в народе, задетые интересы заговорили: поднялись помещики, приказчики, кулаки и мироеды; все начали шушукаться; пошли доносы. Защита большинства мира против эксплуатации зажиточным меньшинством, борьба с кулаками, отстаивание интересов рабочего против нанимателя и хозяина, тяжбы по крестьянским делам — все обличало их и наконец сформулировало обвинение в крамоле».

«Задетые интересы» сыграли роль нервной системы государства. И как должно было в этом случае повести себя правительство? Стать на сторону своих врагов, начать социалистическую революцию сверху? Ведь они на меньшее были не согласны.

«Мы решили, что в деревню надо внести огонь и меч, аграрный и полицейский террор, физическую силу для защиты справедливости; этот террор казался тем более необходимым, что народ подавлен экономической нуждой, принижен постоянным произволом и сам не в силах употреблять такие средства; но для такого террора нужны новые революционные силы, а приток их в деревню почти прекратился, так как реакция и преследования убили в интеллигенции энергию и веру в возможность производительного приложения своих сил в деревне и молодежь не видела ни малейших результатов работы предшествовавших деятелей в народе; при известной силе реакции лучшие порывы замирали, не находя себе исхода. В тот момент Россия переживала именно такое время, когда общественная инициатива исчезла, а реакция могла только расти, но не убывать. „Смерть императора, — говорил Соловьев, — может сделать поворот в общественной жизни; атмосфера очистится, недоверие к интеллигенции прекратится, она получит доступ к широкой и плодотворной деятельности в народе; масса честных, молодых сил прильет в деревню, а для того чтобы изменить дух деревенской обстановки и действительно повлиять на жизнь всего российского крестьянства, нужна именно масса сил, а не усилия единичных личностей, какими являлись мы“. И это мнение Соловьева было отголоском общего настроения».

Взяться за оружие этих мечтателей заставило собственное бессилие перед силой вещей, но они ошибочно полагали, что это сила власти. И единственное, что могло бы их разубедить, — это невмешательство правительства

в борьбу революционеров с помещиками, приказчиками, кулаками и мироедами, с зажиточным меньшинством и нанимателями — и так далее и так далее. Иными словами, правительство должно было допустить ползучую гражданскую войну в деревне, которая неизвестно до каких пределов могла бы доползти, или навлечь на себя ненависть борцов с собственностью.

Правительство сочло менее опасной борьбу с социалистами.

Самые нетерпеливые из которых требовали правовой свободы для своей борьбы за социалистическое будущее.

«Это отсутствие политической свободы может быть замаскировано, может не ощущаться в острой форме, если деспотическая власть находится в каком-нибудь взаимодействии с народными потребностями и общественными стремлениями; но если она идет своим путем, игнорируя и те и другие; если она глуха и к воплю народа, и к требованию земца, и к голосу публициста; если она равнодушна к серьезному исследованию ученого и к цифрам статистика; <...> и если все средства к убеждению были испробованы и оказались одинаково бесплодными, то остается физическая сила: кинжал, револьвер, динамит».

Не берусь судить, насколько Александр Освободитель был глух к народным потребностям и общественным стремлениям, не самым слабым из которых было стремление двигаться по капиталистическому пути развития. Но, если верить Вере Фигнер, террористы-народники были оскорблены не только за себя, но и за земцев, за публицистов и за цифры статистики.

Николай Морозов, однако, рисует несколько другую мотивацию, хотя и у него все начиналось с безбрежного альтруизма.

Воспитанный также в тепличных условиях — идеальных для произрастания идеалистов — романтичный мальчик уже между двенадцатью и тринадцатью годами к девизу «свобода, равенство и братство» собственноручно присоединил науку — естествознание, которое одно могло рассеять суеверия и предрассудки. И до восемнадцати лет перечитал все, что относилось к революционным периодам истории. Но из двух манящих звезд — науки и гражданские свободы — почти целиком отдавался первой. И во втором не то третьем классе гимназии уже организовал для занятий естественными науками тайное общество, в уставе которого его же рукой было записано, что от развития этих наук зависит все счастье человечества, ибо только они позволят человеку облегчить физический труд ради умственного и нравственного совершенствования.

«Именно здесь находятся первые проблески всех тех идеальных стремлений, которые впоследствии привели меня в Шлиссельбургскую крепость. Достаточно было в то время кому-нибудь насмешливо отнестись к нашим занятиям естественными науками или, еще хуже, к самим этим наукам, и я уже не мог ни забыть, ни простить тому человеку, как верующий не прощает насмешки над своим божеством или влюбленный над предметом своей любви». Идеальные стремления, верующий — это и есть ключи к разгадке народнического движения: социализм в ту пору действительно был светской религией.

А самым страшным врагом его идеалов будущему народнику в ту пору представлялось безграмотное крестьянство: в грядущее царство разума

и свободы войдут только интеллигентные люди. «Места тогдашних социально-революционных изданий, где возвеличивался серый простой народ, как чаша, полная совершенств, как скрытый от всех непосвященных идеал разумности, простоты и справедливости, к которому мы должны стремиться, казались мне чем-то вроде волшебной сказки». Но в эту сказку страстно хотелось верить!

А неосуществимость этих идеалов лишь увеличивала энтузиазм юного фанатика: «Разве не хорошо погибнуть за истину и справедливость!»

Это была не месть за преследования власти, которых восторженный юнец никогда еще не испытывал, а самая настоящая религиозная жажда мученичества! И когда впоследствии знаменитого «шлиссельбуржца» спрашивали: «Кто были эти люди, участвовавшие в движении семьдесят четвертого года: социалисты, анархисты, коммунисты, народники или что-либо другое?» — он мог ответить только одно: они называли себя радикалами. В противоположность либералам, не способным жертвовать собой за свои убеждения. То есть объединяла это движение не политическая программа, а готовность к самопожертвованию.

Что вполне подтверждается словами одного из вождей этого движения Сергея Кравчинского: «Движение это едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь вполне заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения». И несли в массу они не какие-то научные знания, а «евангелие наших дней — социализм».

Сам Морозов, первый теоретик политического террора, задача которого демонстрировать бессилие правительства и карать наиболее вопиющие случаи административного произвола, смотрел на скрытые пружины движения, правда, менее возвышенно: «Более всего я склонен видеть в нем борьбу русской учащейся, полной жизненных сил интеллигенции с стесняющим ее правительственным и административным произволом. Класс русского студенчества, если позволено так выразиться, и ряд солидарных с ним интеллигентных слоев боролись за свою свободу, которую они сливали со свободой всей страны, за свое будущее, за живую науку в университетах и других учебных заведениях. Не чувствуя за собой достаточной силы, они обратились за помощью к простому народу под первым попавшимся идеалистическим знаменем и сделали из крестьянства себе бога».

Под первым попавшимся? Едва ли, слишком уж дорогая плата была отдана за эту первую попавшуюся «идеалистическую» случайность. Атеистическая версия формально развенчанного христианства была выбрана вполне закономерно.

«Как равнодушно встретил их народ семидесятых, уже показала история».

Не берусь сказать, насколько был прав Морозов, полагавший, что, если бы не аресты, то большинство пропагандистов в скором времени вернулись бы в свои учебные заведения, убедившись в тщетности своих усилий. Но, вполне возможно, что на это равнодушие и следовало бы положиться

правительству более, чем на преследования, порождавшие террористов из самых отчаянных народников. Правда, менее отчаянных и менее удачливых удалось если не запугать, то уничтожить или нейтрализовать, и не исключено, что, рассуждая цинично (а где и какая власть рассуждала иначе?), это и был наиболее эффективный метод самообороны (что признавал и все тот же Кравчинский).

Эффективный для власти, но уж никак не для страны. На долгие годы переключившей внимание от созидательных задач на кровавое состязание между правительством и революционерами.

Состязание, породившее еще и ценностную деформацию, романтизирующую фигуру террориста.

Кравчинский с присущим ему талантом создал для него самый настоящий гимн.

«Он прекрасен, грозен, неотразимо обаятелен, так как соединяет в себе оба высочайшие типа человеческого величия: мученика и героя.

Он мученик. С того дня, когда в глубине своей души он поклялся освободить родину, он знает, что обрек себя на смерть. Он перекидывается с ней взглядом на своем бурном пути. Бесстрашно он идет ей навстречу, когда нужно, и умеет умереть, не дрогнув, но уже не как христианин древнего мира, а как воин, привыкший смотреть смерти прямо в лицо. <...>

Гордый, как сатана, возмущившийся против своего бога, он противопоставил собственную волю — воле человека, который один среди народа рабов присвоил себе право за всех все решать. <...>

Он борется не только за угнетенный народ, не только за общество, задыхающееся в атмосфере рабства, но и за себя самого, за дорогих ему людей, которых он любит до обожания, за друзей, томящихся в мрачных казематах центральных тюрем и простирающих к нему оттуда свои изможденные руки. Он борется за себя самого. <...> И если народ в своем заблуждении скажет ему: „Будь рабом!“ — он с негодованием воскликнет: „Никогда!“ — и пойдет своей дорогой, презирая его злобу и проклятья, с твердой уверенностью, что на его могиле люди оценят его по заслугам».

Такой могучий образ способен очаровывать и самостоятельно, даже после угасания породившей его социальной грезы.

Вера в социалистическое «евангелие» и чувство собственного достоинства, оскорбляемое «произволом», усиливали и дополняли друг друга.

Признание Морозова: «Во мне началась страшная борьба между стремлением продолжать свою подготовку к будущей научной деятельности и стремлением идти с ними на жизнь и на смерть и разделить их участь, которая представлялась мне трагической, так как я не верил в их победу. После недели мучительных колебаний я почувствовал наконец, что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать, и решил присоединиться к ним». Снова на первом месте не народный стон (Толстой как-то обронил: народ нигде не стонет, это либералы повывдумывали, — Толстого в крестьянах как раз и восхищало приятие жизни какова она есть), а *самоуважение*.

В народнической вере, пройдя демократическую, атеистическую и *метафорическую* переплавку, соединились два культа: *дворянский культ чести* и *христианский культ мученичества*.

И захватить они могли только людей особого склада, с ослабленным инстинктом самосохранения. Кравчинский, прежде чем на Михайловской площади заколоть кинжалом шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцова, то пробирался в Герцеговину поддержать восстание против турецкого ига, то участвовал в вооруженном восстании в итальянской провинции Беневенто, где от казни его спасла лишь амнистия по случаю коронации, и погиб под колесами поезда, возможно, тоже не совсем случайно — не до таких мелочей ему было, как забота о своей жалкой плоти.

Из его письма жене после цареубийства: «Я еду, еду туда, где бой, где жертвы, где, может быть, смерть!

Боже, если б ты знала, как я рад, — нет, не рад, а счастлив, счастлив, как не думал, что доведется мне еще быть! Довольно прозябания! <...> Загорается жажда давно уснувшая — подвигов, жертв, мучений даже — да!»

А вот как этот сильный прозаик изображал Веру Засулич, с детства мечтавшую о самопожертвовании.

«Собой она решительно не занимается. Она слишком рассеянна, слишком погружена в свои думы, чтобы заботиться об этих мелочах, вовсе ее не интересующих.

Есть в ней, однако, нечто противоречащее еще более, чем ее внешность, представлению об эфирной деве.

Это ее голос. Вначале она говорит с вами как и все люди, но это обыкновенно продолжается очень недолго. Лишь только разговор оживляется, она возвышает голос и говорит так громко, точно ее собеседник наполовину глух или стоит от нее по меньшей мере шагах во ста. И никакими силами не может она отделаться от этой привычки. Она так рассеянна, что тотчас забывает и шутки приятелей, и свое собственное желание не бросаться в глаза и говорить как все. В доме ли, на улице, лишь только речь коснется какого-нибудь интересного предмета, она тотчас же начинает кричать, сопровождая свои слова любимым, всегда неизменным жестом правой руки, которой она энергично рассекает воздух, точно секирой».

А Михаил Фроленко незадолго до предполагаемого взрыва на Малой Садовой, который почти наверняка нес ему гибель, сел закусывать, чтобы быть в обладании сил.

Деятели народнического террора не похожи на нас с вами. Но, к сожалению, в своей прогремевшей на весь мир книге «Подпольная Россия», в которой Кравчинский изобразил русское правительство шайкой разбойников, а противостоящую им горстку революционеров орденом рыцарей без страха и упрека, публицист почти не уделил внимания самому главному — их личной мотивации, корни которой нужно искать в их детских увлечениях. Зато религиозную природу народничества он понял очень хорошо.

Но это и есть одна из важнейших функций религии: создание в идеале ощущения собственной праведности, или, как паллиатива, ощущения ее возможности в принципе и личной к ней причастности в реальности. Иными

словами, идейное знамя и личное достоинство поддерживали и укрепляли друг друга. Подкрепляя себя и геополитическими иллюзиями.

«Каждый шаг России к свободе уменьшает опасность ее военной экспансии», — писал Кравчинский, стараясь успокоить тех западных «мещан», которые помнили о наполеоновских войнах, порожденных Французской революцией. Российская «свобода» тоже породила мечту о социалистической родине от Японии до Англии.

К счастью, не осуществившуюся.

Так из чего же произрос народнический экстремизм? Из жажды ослепить человечество и жертвенности, ослабленного инстинкта самосохранения.

А какие уроки из этой трагической истории должны извлечь правительства, не представляю. Да, не идти навстречу назревшим обновлениям — это приводит к печальным последствиям. Но являлось ли движение к социализму желательным обновлением? Не самые глупые люди считали, что двигаться нужно в противоположном, капиталистическом направлении. Идти же на поводу у экстремистов — это, как показывает опыт Февраля и Октября, может приводить к последствиям воистину чудовищным. И отличить «назревшее» от смертельно опасного не по силам человеческому разуму: история — трагедия, а не мелодрама, в ней нет выбора между добром и злом, в ней любой решительный шаг вызывает лавину непредвиденных последствий.

Но чего правительствам делать ни в коем случае не следует — это унижать противника, присоединять к жесткости и даже жестокости безобразия. Унижение можно смыть только кровью.

Этот итог многолетних размышлений в своем романе «Тризна» я вложил в уста придуманного мною народовольца, мысленно обращающегося к Александру Освободителю.

«Мы не арестанты, а военнопленные! Нас же и судят военные суды! ПОЧЕМУ ВЫ УВАЖАЕТЕ НАС МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТУРОК? Мы для вас нашкодившие холопы? Нас можно избивать, сечь, раздевать женщин перед мужской тюремной прислугой, и вы думаете, что мы будем это терпеть? Не за жестокость, мы тоже не щадим наших врагов, а за омерзительную, странно сказать, вульгарность, с которой вы воюете с нами. Во время казни играть „Камаринскую“ — это государственная необходимость? Отправить роту солдат промаршировать по свежим могилам казненных — это урок справедливости? Прodelать над женщиной весь обряд смертной казни, надеть саван и капюшон, затянуть петлю и только после этого объявить замену вечной каторгой — это урок милосердия? И вообще — почему петля, а не пуля, в конце концов?! Надругательство над красотой, над трагедией — вот за что я вас завтра застрелю».

Мой народоволец и к своим соратникам относится вполне критично. Он понимает всю наивность и опасность их грез. Но к ним он снисходит, а для их противников не находит ни малейшего оправдания.

«Мы все просто дети, благородные дети. Но наши-то преследователи, воображающие себя взрослыми, тоже пребывали в ослеплении, будто страх

способен заглушить в людях жажду красоты. Остановить тягу молодости к красоте так же невозможно, как подавить приливную волну: пока существует гравитация, до тех пор даже рябь на лужах будет тянуться к светилам».

Справедливо проводить параллель между народническими бурными и нашими застойными семидесятыми, как это делает Я. А. Гордин. Нас озлобляли, радикализировали прежде всего унижения: приходилось из-под полы добывать книги, которые давно прочел весь мир, пробиваться на выставки «модернистов», давно ставших классиками, разглядывать только на открытках европейские столицы, с детства ощущавшиеся нами частью нашей духовной родины...

В результате греза о социализме с человеческим лицом превратилась в страстное желание любой ценой свалить осточертевшую КПСС.

И свалили-таки. И цену заплатили-таки. Не самую высокую (пока), но это уже дело удачи. На наше счастье, три составных источника терроризма не соединились во взрывчатую смесь. Греза о демократии-капитализме чаровала умы, но все-таки не до религиозного накала. Власть чинила ей препятствия, но до массовых избиений, тюрем и виселиц было, благодарение Господу, еще очень далеко — невыносимого унижения мы не испытывали. Да и метафоризированы наши сказки были очень умеренно: ни убивать, ни погибать было не из-за чего.

Так что советская власть могла бы еще жить да жить, если бы всего-то навсего послушалась старика Макиавелли: не наносила малых обид, за которые мстят как за большие.

И не изолировала фантазеров от реальности, дала им возможность пожить в том раю, о котором они мечтают.

А что сегодня с этими источниками? Есть ли сегодня какая-то светская религия, есть ли ощущение невыносимого унижения, есть ли какое-то пышное возвеличивание того и другого? На поверхности я не вижу ни первого, ни второго, ни третьего, но ведь магма всегда клокочет где-то в глубине...

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

АНДРЕЙ АРЬЕВ

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК DU DÉJÀ VU

Георгий Иванов. «Распад атома»

В конце 1911 года недоучившийся воспитанник петербургского 2-го кадетского корпуса Георгий Иванов издает на деньги старшей сестры стихотворный сборник «Отплыть на о. Цитеру». Бежит с ним под Новый год к Александру Блоку — в надежде славы, добра и немедленных свершений.

И что же? У Блока его не принимают.¹ Это не отвратило юного поэта от четвертьвекового плавания в «утлом челноке искусства», пока изнурительные чаяния и самодовлеющая реальность не доставили его из блоковского «безначального тумана» в чужеземную гавань. К 1937 году стихи Георгий Иванов сочинять прекратил, а, издав в 1938-м книгу «Распад атома», литературную деятельность оставил вовсе.

Содержание этой ивановской «поэмы в прозе» к тому и сводилось: искусство никого не спасает и, если не хочет врать, само должно признать поражение в извечном противостоянии с реальностью. Но и «реальность» для художника — не последняя инстанция, опираться на нее в любом случае опасно: «...фотография лжет и всякий человеческий документ заведомо подложен».² Чураясь посторонних свидетельств, поэт уверен в достоверности собственных, какими они въяве не представляли никому. В глазах художника — залог их оригинальности. То есть истинности. В психологии это явление называют «дежавю». «Пригрезившееся» кажет себя «сущностью».

Горькое явление «Распада атома» подготовлено у Георгия Иванова тем, что культурное, творческое подсознание, то самое, которым он только и жил как стихотворец, нещадно уничтожалось его бессознательным. «Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду». И если воплощаемый в творениях искусства идеал существует, то цель поэта достигается «ценой собственной гибели»³ — вот что понял Георгий Иванов и чего опасался.

Мысли о «чуде», «вспышке», о «*frisson inconnu*»⁴ откочевывали в закоулки памяти, в (зло)вещие сны о дорогой поэту России: «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» Недоказуемо? Зато дано в ощущении как «исторический факт». Ощущение — великая вещь. Особенно для художника: связать подобное «воспоминание» с сегодняшним переживанием — разве не из этого плетется бессмертная правота искусства, а не его ложь? Во всяком случае, историософский сюжет «Распада атома» держится на приведенном риторическом тезисе. Лжи в нем нет — даже когда поэт признается: «Дальше вспомнить не могу...» Не может, но вспоминает — сверхправдиво, минуя знаки препинания: «Девочка гнала гусей / Паровоз прорчался мимо / Было что-то в ключьях дыма, / Что важнее жизни всей».⁵

В стихах воспоминание-наваждение, с последней простотой утвердившееся в «Распаде атома», сохранилось и стало доминирующим переживанием поэта:

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому, домой.

Стихотворение это поэт не писал, но оно со всей очевидностью присутствует в его «Посмертном дневнике». Катарсис *post mortem*.

Перспектива выхода из «приюта последнего» у автора «Распада атома» в отчаянных для него обстоятельствах послевоенного времени была одна: преодолеть молчание своим «талантом двойного зренья». Других возможностей существования у него решительно не было, да он и не собирался их искать. Жизнь талант этот «исковеркал», по утверждению самого поэта. О чем он предупредил изначально: «...перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, чем я еще дорожу, единственное, что еще отделяет меня от всепоглощающего мирового уродства».

Примет «мирового уродства» в «Распаде атома» подобрано с избытком. Связаны они в единое целое по законам сновидений — как воспоминания о том, чего в такой плотной комбинации могло и не быть. И не было.

К счастью-несчастью, стихи Георгия Иванова выражали историческое время в заведомо поэтическом, преображенном свете. В них, как в фокусе, сошлись психологически очень существенные линии русского культурного сознания, целыми эпохами впадающего в летаргический сон. В 1930-е годы Георгий Иванов начал рассказывать о нем и в стихах и в прозе — в гипертрофированных, но достоверных, как ему представлялось, подробностях.

Сначала это была повесть о распаде «державного атома» в его российской оболочке. Слагавшиеся в 1930-е годы очерки из истории царствования Николая II Георгий Иванов завершает куда как выразительной сценой,

мгновенно переносящей действие с палубы императорской яхты «Полярная звезда» в ее трюм.

В предшествующем эпилогу абзаце рассказывается о «приятном и успокоительном» путешествии на этой яхте императорской четы в сопровождении «честолюбивой Ани» — вдоль берегов Финского залива: «...цель скрыта в тумане. Она станет ясней позже... спустя тринадцать лет».⁶

И вот канули эти тринадцать серебряных лет — и для поэзии, и для «честолюбивой Ани»:

«Схваченная во время бегства в Финляндию, измученная, растерзанная Вырубова, лежа в кишасем вшами трюме, всю ночь слышит споры пьяных матросов — кому и как прикончить „царскую наперсницу“ и придется ли рубить труп пополам, чтобы протиснуть в люк. По дикой насмешке судьбы — это трюм той самой „Полярной звезды“, где началась ее близость с царицей. Понимает ли Вырубова хоть теперь, к какой страшной именно цели она стремилась, увлекая за собой царицу, царя и Россию?»⁷

На самом деле не было никакого люка. Но Георгий Иванов произвольно его увидел и споры пьяной матросни явственно расслышал. «На той самой „Полярной звезде“» никто его не встречал. И с Вырубовой, уединенно прожившей в Финляндии до кончины на восьмидесятом году жизни, ни до, ни после «припомнившегося» эпизода никто его не знакомил.

Очерки Георгия Иванова при его жизни в книгу собраны не были, вроде бы и не завершены... Но благодаря этому неожиданному финалу в них проявился заданный внутренний смысл: так наспех, грязно, кроваво оборвалась сама русская история, ее умопомрачительный Петербургский период.

В стихах об этом звучит еще беспощадней:

Овеянный тускнеющею славой,
В кольце святош, кретинов и пройдох,
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унижительно издох.

Не будем поэтому останавливаться на общеизвестном: читавшие и чтящие Георгия Иванова должны сами помнить: «Хорошо, что нет Царя. / Хорошо, что нет России. / Хорошо, что Бога нет».

Но нельзя забывать у Георгия Иванова и прямо противоположное. Вряд ли найдутся в русской поэзии другие столь же просветленные стихи о царской фамилии, чем ивановские:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

В «Распаде атома» о разломе русской истории судится метафорически ярко и просто: «Ох, наше прошлое и наше будущее, и наша теперешняя покаянная тоска. <...> Ох, эта пропасть ностальгии, по которой гуляет только ветер, донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда, жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, „Боже, Царя верни“...»

Александр Блок сетовал: «Знаю, что я перестану быть человеком бездны и быстро превращаюсь в сочинителя». ⁸ Георгий Иванов продвигался по той же дороге. Но — в обратном направлении: из сочинителя он превращался в человека бездны. Впрочем, ни Блок от бездны далеко не ушел, ни Георгий Иванов иного статуса, чем сочинитель, не обрел.

Что обоих поэтов разводило кроме возраста и разных литературных школ достоверно записал Борис Поплавский в тезисах доклада об ивановских «Петербургских зимах» (1929): «Мне кажется, что речь идет не *за* и *против* народной воли, а *за* и *против* революции как музыки. В общем, революция была для Иванова чем-то антимузыкальным, то есть только явлением гнева». ⁹ Это правда: в отличие от Блока, Георгий Иванов не в силах был «слушать музыку революции» как явление ниспосланной, преобразующей мир стихии. Она была ему совершенно чужда, с его собственной музыкой приходила в диссонанс. Гул истории был для него гулом «мирового безобразия». Под этот гул он сводил счеты с самим собой как поэтом — в «Распаде атома».

Проблема «Распада атома» не касается одной России. Она уводит дальше — в дебри современной цивилизации, равно отечественной и европейской, в ее разгорающуюся битву с не спасшей мир «старой» культурой.

Самое интересное в эволюции этого писателя то, что в Петербурге времен всяческого футуризма и ОПОЯЗа он был меньшим авангардистом, чем стал под занавес в Париже. Во Франции треволения европейской культуры он испытывает на себе.

Но вот что необходимо держать в уме, читая позднего Георгия Иванова — и его довоенные стихи, и послевоенные, и «Распад атома»: *на каждое мнение в них есть антидовод*. «Нет ничего неизбежного, / Вечного нет ничего». Понятно, что и этому отчаянному утверждению предуготовлена в этом стихотворении «вспышка»: «В сумраке счастья неверного / Смутно горит торжество».

В «Распаде атома» нет осязаемого «главного героя», нет обобщающей «точки зрения», кроме тотального отчаяния, о котором упоминалось. Есть два безымянных персонажа — участники безумного карнавала: метафизическое «я» и плотское «он».

И все-таки этот «главный герой» есть — голос. Голос — один. В одном — «человеке, внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом». Как и сам «Распад атома», сплошь сотканный из повторений и аллюзий, в русской литературе все же — избран и неповторим. Притом что, прислушавшись, как не расслышать в этой поэме, скажем, отзвуки финального монолога Чацкого, его резонерство? Вся ивановская поэма — ответ на устремления грибоедовского героя найти подальше от Москвы местечко, «где для рассудка есть и чувства уголок». Что ж, карета была подана и докатилась не то что до Казани, как предполагалось в «Мертвых душах», — до самого Парижа. И вот — тут же превратилась в австралийскую тыкву.

В ивановской «поэме в прозе» сюжетная амбивалентность первенствует — при всем соблазне толковать ее однонаправленно. К чему текст вроде бы провоцирует сам. Как не задуматься: покончил главный герой с собой или остался жив? Что для него существенно — «крест» или «револьвер»? Стоит ли протагониста этой вещи отождествлять с самим ее автором? Может быть, с «лирическим героем»? (Е. В. Витковский осторожно предполагает, что у главного ее персонажа есть прототип — А. И. Тиняков¹⁰; Т. Н. Зенн приходит к выводу, что им является Бодлер¹¹; и т. д.)

Любой однозначный вывод содержание этого сочинения уничтожает. Даже если ухватиться за тот же «револьвер» — орудие ли это защиты? нападения? самоуничтожения? И не даст ли он «фатальной осечки» в последнее мгновение? И почему «фатальной»? Татьяна Зенн энергично утверждает, что никакого самоубийства не было, ссылаясь на письмо в конце повествования: «Добровольно, в не особенно трезвом уме, но в твердой, очень твердой памяти я кончаю праздновать свои именины. <...> Я хотел бы прибавить еще, перефразируя слова новобрачного Толстого: „Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью“». С удивительной неотразимой ясностью я это понимаю сейчас». ¹² Следовательно — остаюсь в живых. Истолкование толстовского рассуждения как раз может служить оправданием самоубийства, облегчением его: если «счастье» «не может кончиться со смертью», то почему ж ее не принять добровольно — в окружении «мирового уродства»? Если его возлюбленная уже «присоединилась к большинству», логике это не противоречит. Во всяком случае «я» и «он» решат эту дилемму по-своему.

В начале повествования проблема вроде бы уже и решена. Ее возникновение как раз и отнесено к области любовных переживаний. После внезапной мысли «о том, что ты дышешь здесь на земле, вдруг в памяти, как живое, твое прелестное, бессердечное, лицо». Пароксизм завершается в следующем же абзаце — тем, как, «не решаясь, решившись, он облизнул губы. Как в неловкой, потной руке он сжал револьвер. Как ледяное дуло коснулось пылавшего рта. Как он ненавидел их, остающихся жить, и как он завидывал им». Это ли не описание самоубийства «от любви», как и в окончательном «предсмертном» письме?¹³

Самоубийство — вообще тема Георгия Иванова. Трудно сыскать другого русского поэта, с таким разнообразием и лирической, можно сказать, нежностью писавшего о суициде:

Синеватое облако
(холодок у виска)
<...>
Все какое-то русское —
(Улыбнись и нажми!)
Это облако узкое,
Словно лодка с детьми.

И особенно синяя
(С первым боем часов...)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов.

Это еще до «Распада атома». Ну и после вполне внятно:

Искусства сладкий леденец,
Самоубийство наконец.

Резюме «Распада атома» — в этих двух строчках.

Можно ко всей ивановской коллизии подобраться и с фрейдистских позиций, увидеть в ней борьбу между «Эросом» и «Танатосом». Но мы этого делать не будем. Задачу поэта Георгий Иванов видел в запечатлении того, что «выше пониманья».

Сами непрерывные повторы в ивановском тексте всякий раз меняют угол зрения, не притупляют, но заостряют его суггестивность (не являясь при этом решающим доказательством аутентичности авторского свидетельства). Андрей Ранчин находит в «Распаде атома» целую череду возникающих из повторов «антисимволов», ставящих под сомнение веру «автора и его героя». ¹⁴

Так что невозможно с уверенностью сказать: читаем ли мы записки самоубийцы или объективное о нем повествование? И состоялось ли это самоубийство вообще? Под публикацией текста поставлена дата: «24 февраля 1937 г.». Что она значит — день завершения самоубийцей своего отчета? Или обычное у самых разных писателей обозначение даты окончания работы? Татьяна Зенн устанавливает важность для самого писателя даты: 24 февраля 1937 года (почему-то исчезнувшей из трехтомника Е. В. Витковского, самого представительного на сегодняшний день издания автора «Распада атома»). По ее словам, 24 февраля в Болгарии, где некоторое время жили Ивановы и где родились сестра и старший брат поэта, это «день святого Георгия Нового (Софийского) Болгарского», и, «вполне вероятно», в этот день поэт праздновал свои именины. ¹⁵ То есть «поэма» раскрывается в автобиографическом расчерке.

Все это существенно. О «Распаде атома» Георгий Иванов за год до смерти отозвался как о сочинении «религиозном»: «Я считаю его поэмой и содержание его религиозным». ¹⁶ А за полгода до кончины о своих последних надеждах тому же Владимиру Маркову сообщил: «...я желаю очень написать на старости лет нечто, очень существенно <e> для себя прозой вроде Атома. Все делаю заметки, даже на улице, даже во сне». ¹⁷ С той же настойчивостью внушается о «Распаде атома» Роману Гулю: «Между прочим, это действительно лучшее, что мне удалось написать». ¹⁸

Насчет «лучшего» спорить не будем, если автор так полагает, энергично отвечая на критику: «В части, касающейся „Атома“, готов возражать слово за слово». ¹⁹

Однако о «религиозном содержании» произведения, увенчанного торжеством в стане фантомных зверьков и авторизованным признанием — «Сам я частица мирового уродства» — говорить не совсем ловко. Во всяком случае — с точки зрения христианской, которой вроде бы придерживается протагонист этого произведения с крестом на груди. Да, сознание его скользит по религиозному руслу: «Мысль, что все навсегда кончается, переполняет человека тихим торжеством». «Торжество» же оборачивается вот чем: «Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой... На самой грани. <...>

Он смотрит в одну точку, бесконечно малую точку, но пока эта секунда длится, вся суть жизни сосредоточена там. Точка, атом, миллионы вольт, пролетающие сквозь него и вдребезги, вдребезги плавящие ядро одиночества». Если это не описание самоубийства, то что?

Хорошо, отбросим условности, допустим, в финальной сцене это уже сам автор исповедуется. Вот его последние слова по-русски, перед тем как перейти на неведомый «австралийский»: «Смысл жизни? Бог? Нет...». Все-таки — «Нет». Но и тут смысл еще раз переворачивается, удваиваясь: «...Нет, все то же: дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твое лицо»... Не Христос имеется в виду, а Прекрасная Дама.

Если бы автор не вырезал при печати венчавшую текст ерническую филиппику (о чем позже сам же и жалел), то от «религиозного содержания» его «поэмы» осталась одна атомная пыль.²⁰

Скорее всего, просматриваемый смысл «Распада атома» лишь проблескивает в нем — в обреченной попытке запечатлеть пестуемый культурой образ красоты, ностальгически являющей себя в распаде, пожираемый тем же лирическим чувством, что его и порождает. Красота у Георгия Иванова не о грядущем спасении мира свидетельствует, а, наоборот, указывает на угрожающую бытию косность, обнаруживает въяве работу времени, всяческое уродство, тлен. Хороша в мире не стабильность, а эфемерность, ускользящее мгновение. Обоснование тут то, что миг соприроден не времени, а вечности, у времени он лишь «в плену». Из путешествия «по звездам» гуру «серебряного века» Вячеслав Иванов вынес: «Миг — брат вечности. <...> ...в нем сверкает бабочка — Психея...»²¹ Но и эта «Психея» в «Распаде атома» не заманчивей «генеральской дочери», превращенной «жадной мыслью» в «желанную плоть».

«Распад атома» можно читать как стихи. Но все-таки это и не поэзия, возникающая у Георгия Иванова «вот так, из ничего», никем не понукаемая. Над этой вещью художник работал сосредоточенно, и его образ жизни той поры далек от тех «ужасов», что ненароком бросаются в глаза соглядатаю. Нет, они тщательно отобраны. «Инстинкт созерцателя, желающего от жизни прежде всего зрелища», замеченный Гумилевым у юного «цеховика», стал элементом его понимания происходящего на свете.²² «Распад атома» написан прежде всего мастером, чутким к внешним реалиям парижской — и европейской в целом — жизни.

Создавался он без внутренней дрожи. Поутру, со всяческим удовольствием выпив кофию в их с Одоевцевой квартире по престижному адресу: 131, rue du Ranelagh, Paris XVI, муж отправлялся в снятый неподалеку гостиничный номер — воплощать в творческом одиночестве пришедшую ему на ум как итог метафизических раздумий поэму в прозе. На Ранлаг своим чередом продолжались светские приемы, «четверги» — на них приглашался в том числе недавний враг Ходасевич. «Писал же я Атом, — сообщает Георгий Иванов Владимиру Маркову 18 апреля 1956 года, — в „наилучших условиях“, пользуясь словами Толстого о том, как он писал Войну и мир.²³ Жизнь моя была во всех отношениях беззаботно-приятной. Очень приятной. Я до сих пор — ничтожный человек! — вижу во сне свою квартиру в Париже и биаррицкую дачу и с блаженств<вом> думаю: „ничего не изменилось“. Вот как летают во сне».²⁴

Поскольку любые сомнения в суждениях о Георгии Иванове допустимы, обозначим еще одно — самого низкого уровня. Странно, что автор «Распада атома» при столь высокой оценке им самим этой книжки спохватился ее рекламировать в середине 1950-х — едва ли не через два десятка лет после издания. Причем именно тогда, когда в 1955 году была напечатана имевшая сокрушительный финансовый успех набоковская «Лолита» (приведенные выше авторские самоотзывы о его «поэме в прозе» относятся к следующим, 1956 и 1957 годам). Не исключено, что жившие в эти годы буквально без гроша и франка в кармане Ивановы понадеялись: «Распад атома» с тем же успехом, что набоковский бестселлер, может быть выкинут на книжный рынок. Учитывая вкусы падкой к эпатажу публики и повсеместное снижение цензурных ограничений, эта надежда не казалась беспочвенной. Увы, она не сбылась, не случилось даже повторного издания, хотя бы малотиражного.

Кого ни поминай, к кому ни обращайся, содержательна в ивановской поэме не персонификация персонажей, а нечто ей противостоящее: «Люди идут по улице. Люди тридцатых годов двадцатого века». Что они друг другу? И что каждый им? И чего от них ждать человеку без определенного места жительства (притом ничуть не парижскому «клошару»), ни в чью компанию не принятому, кроме сообщества вымышленных зверьков? Где живет герой, мы не знаем — в собственной квартире? в гостинице? снимает апартаменты? Мы его и вообще не видим. Какой он? И тут же догадка, «что первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый», средний парижанин, не отличающийся от ивановского вуайера. А кроме них — и над ними — чей-то голос в своих суждениях культурно более изощренный, чем и тот и другой, испытывающий «по отношению к окружающему смешанное чувство превосходства и слабости». И задающийся едва ли не единственным сжигающим его философским вопросом: «Зачем мне нужно бессмертье, если я так одинок?» Вопрос для него — единственный, но типичный для заполнивших Париж экзистенциалистов.

При всем трагизме обрушившегося уклада жизни и в целом катастрофического сознания все-таки Георгий Иванов был *homo ludens*. Может быть, и тут дело «в духе времени»? Знаменитая одноименная книжка голландского философа и культуролога Йохана Хейзинги вышла в том же году, что и «Распад атома». Да и из ближайших к Георгию Иванову литературных величин эмиграции — Георгия Адамовича и Владислава Ходасевича — первый не вылезал из игорных домов, а второй письменному столу предпочитал карточный... То есть все люди, играющие даже буквально.

Что касается самого Георгия Иванова, то о своей «ужасающей» — его собственная оценка — статье «В защиту Ходасевича», оборвавшей отношения между поэтами на несколько лет, он высказался так: «Для меня это была „игра“ — только этим, увы, всю жизнь и занимался...»²⁵

Самое интересное в данном случае — его исключительное рвение в перманентном восхвалении, несомненно, любимой им Ирины Одоевцевой. С ней и ею он именно «играл» — на повышение, непрерывно, чему свидетельство — оценка ее стихов.

Юрию Иваску писал 21 января 1958 года: «Между тем за последнее время ее стихи так возвысились и переросли себя и все окружающее <...>, что право и основание быть особо отмеченными имеется у нее не в меньшей степени, чем у меня. Говорить, что моя поэзия хороша — стало более менее банальностью. А вот прочтите ее хотя бы новые стихи в этой книжке „Нов<ого> Журнала“ <...> и скажите, *что* в русской поэзии сейчас имеется равного».²⁶

На подобном отношении к стихам Одоевцевой Георгий Иванов настаивал перманентно. В письме к Сергею Маковскому того же примерно времени утверждал: «Я лично сейчас убедился, что ее стихи сплошь и рядом сильно выигрывают в сравнении с моими и считаю, что ничего равного им в эмиграции (да и наверняка в России) не найти».²⁷

Шубы из «тоски по мировой культуре» Георгий Иванов не сшил, хотя был этой тоски заведомым выразителем. Увы, Европа, сама сего не ведая, его в свои объятия не приняла. И в голову не пришло, что по «всемирной отзывчивости» «Распад атома» стоит как раз в одном ряду с новаторскими явлениями современной ему европейской культуры, такими как романы Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи» (1932) и «Смерть в кредит» (1936). Больше того: «Распад атома» проникнут тем же духом, что явившиеся рядом книги Жан-Поля Сартра «Тошнота» (1938) и «Стена» (1939). Это существенно — «Тошнота» и «Распад атома» напечатаны в одном и том же году, но ознакомиться с подобным его собственному творением, вдохновенно работая над своим²⁸, Георгий Иванов никак не мог. На роман Сартра он никогда публично не откликнулся, «возвратить билет» свихнувшейся цивилизации решил в одиночку. И в свое «одинокство» уверовал.

Тем более протестовал против уподобления своего творения книгам Генри Миллера, американского писателя, прославившегося эротическими, носящими автобиографический характер романами «Тропик Рака» и др. Написанные на английском, они были запрещены и в США и в Англии до начала 1960-х годов. Но в 1930-м Миллер уехал во Францию и напечатал там «Тропик Рака» в 1934-м, то есть до «Распада атома». Не исключено, что издание это прошло мимо внимания Георгия Иванова и русской диаспоры в целом. Но отрещивался наш поэт от возможной связи с подозрительным тщанием. 11 июня 1957 года писал Владимиру Маркову: «...Атом мне очень дорог. Никакого Миллера я и не нюхал, когда его писал — Миллер у нас появился в 1939 г., а Атом <...> написан в 1937 г.».²⁹

И через две недели Роману Гулю, первым сравнившему мироощущение поэта со взглядами Сартра: «Эпатажа, пожалуй, немножко переложил. Но ведь в 1937 году, заметьте, когда Миллера и в помине не было».³⁰

В том-то и дело, что был, оба сживали в одном монпарнасском кафе «Селект», и общие знакомые бы нашлись — вроде Жоржа Батая.

Французский литературный авангард начался с предпринятой Гийомом Аполлинером реабилитации творений маркиза де Сада³¹ и окончательно раскрепостил себя в разных ответвлениях сюрреализма, начиная с Андре Бретона и других французских литераторов, к 1938 году — законодателей художественной моды. Среди встряхнувших литературу сюрреалистов вряд ли кому-нибудь в Париже «Распад атома» мог показаться особенно дерзким. Да и на французский никто его перевести не удосужился.

Из изящной словесности 1930-х русская «поэма в прозе» не выбивалась. К тому же в своей суггестивности она клонилась скорее в сторону Пруста. «...*Необыкновенная сила разрушения, необыкновенная благотворная сила* (курсив мой. — А.). Действие, похожее на чудо — может быть, и впрямь чудо?» — писал об этой прозе Георгий Иванов.³²

Что касается философской интерпретации «Распада атома» как явления отчетливо экзистенциального прорыва, то во Франции он смотрелся событием вполне обыденным. В поэтическом же — находился в русле творений Шарля Бодлера, вышедших во всем литературном мире на передний план в первые десятилетия XX века.³³ Татьяна Зенн отчетливо показала в упоминавшейся статье, что не только хорошо известные русским поэтам бодлеровские «Цветы зла» с их десятки раз переведенными «Соответствиями» («Correspondances») и «Падалью» («Une charogne»), но и не очень доступное даже французским читателям эпистолярное наследие поэта Георгию Иванову хорошо известно. На него он прямо опирается, отводя наветы на «Распад атома». Их он оценивает «как честь для себя, у compris* поношения всяческих личностей <...>. Бодлера так же и за то же собственно поносили».³⁴ Татьяна Зенн имеет в виду фрагмент письма Бодлера от 18 февраля 1866 года нотариусу Нарциссу Анселлю, как будто скопированный русским поэтом с французского оригинала: «...Вы так же мало догадались, как и другие, что я в эту ужасную книгу вложил все мое сердце, всю мою нежность, всю мою религию (иносказательно), всю мою ненависть. Конечно, я стану писать обратное, я буду клясться всеми богами, что эта книга чистого искусства, ничего кроме гримас и фокусничества, но я буду лгать как ярмарочный шарлатан».³⁵

Если говорить конкретно о философских интенциях Георгия Иванова в «Распаде атома» (они относятся и к его поздней лирике), то постфактум они отчетливо извлекаются из сартровских трудов, из его экзистенциализма. Беря за «исходный пункт» добытую из романов Достоевского максиму («Если Бога нет, то все дозволено»), Сартр рассуждает о трагедии человеческого существования так: в отсутствие Бога с бытия сдирается спасительный покров, опереться человеку не на что, заброшенный в Ничто, он обретает себя сам, понуждается к этому своей свободой, он на нее обречен.

Как и у «антигероя» «Записок из подполья», пишет Владимир Котельников, экзистенциальны в «Распаде атома» сами причины «распада»: «...„атом“, то есть смысл экзистенции, пребывал в культурной оболочке, сохранявшей его цельность; таким, по убеждению героя, представила его „ложь искусства“».³⁶

Во Франции много ближе Сартра Георгию Иванову был Жорж Батай³⁷, с которым он коротко сошелся в те же 1930-е годы. Батаевский «радикальный нигилизм», по выражению Габриэля Марселя, его взгляды на поэзию как единственный в мире способ адекватно выразить к этому самому миру чувство ненависти и презрения внутреннему опыту русского писателя близки. К тому же и сам Батай находился под влиянием русской философии экзистенциального толка, прежде всего Льва Шестова. «Внутренний опыт» (1944) Батая можно назвать французским вариантом «Распада атома», учитывая, что

* Включая (фр.).

обе вещи восходят к «Запискам из подполья», с героем которых французский писатель сознательно идентифицировал себя в 1930-е годы.

«Ничто есть не что иное, как я сам», — перескажем по-русски Жоржа Батая. Таким «Ничто», колеблющейся величиной между «ничем» и «всем», возвращается поэт к своим пенатам.

При всех искусствах в городе маркиза де Сада, Шарля Бодлера и Марселя Пруста Георгий Иванов остается сугубо русским явлением и личностью.

И чего же проще? «Я хотел самой обыкновенной вещи — любви», — вздыхает, напоминая что пушкинских, что тургеневских барышень, протагонист «Распада атома».

Что же остается? Остаются родные осины. Если высказаться на их добротном языке, окажется, что рефлексия автора парижской «поэмы» — специфически русская обида, проходящая через всю «поэму» как лейтмотив. «Пушкинской России» противостоит и предает ее могущественная «чернь», та, о которой сказано у Лермонтова: «И вы не смоее всей вашей черной кровью / Поэта праведную кровь!» Определение «пушкинская» этой «черню» узурпировано. Но и осталось в памяти навсегда. Тем страшнее:

И ничего не исправила,
Не помогла ничему,
Смутная, чудная музыка,
Слышная только ему.

Это из «Роз» — «лучшей книги во всей вообще русской поэзии тридцатых годов», писал современник Георгия Иванова.³⁸ И по ней уже видно: медленно, но и уверенно поэт идет к тому, чтобы быть зачисленным в «нигилисты». Ведь и наиллюбнейшее стихотворение тех же «Роз» не обошлось без «черной крови»:

Черная кровь из открытых жил —
И ангел, как птица, крылья сложил...

Загадка поздних ивановских сюжетов задана кошмарным опытом петроградской жизни в дни Кронштадтского восстания, смерти Гумилева и Блока, в годы крушения «петербургского мифа».

Это было на слабом весеннем льду
В девятьсот двадцатом году.

Писалось в 1922 году. «Двадцатый» поставлен в опасении цензуры — приемлемый в ритмическом отношении «двадцать первый» совсем уж прямо указывал на Кронштадт. Впрочем, в советской печати стихотворение все равно опубликовано не было.

Разгадка этой символики очевидна, хотя привычно для Георгия Иванова двойится: «Нельзя поверить в появление нового Вертера, от которого вдруг по всей Европе начнут шелкать восторженные выстрелы очарованных, упорных самоубийц. Нельзя представить тетрадку стихов, перелистав которую

современный человек смахнет проступившие сами собой слезы и посмотрит на небо, вот на такое же вечернее небо, с щемящей надеждой. Невозможно».

Это Георгий Иванов уговаривает самого себя. Потому что себя самого причисляет к тому исчезающему типу людей, что еще способны воспринимать стихи и мир сквозь «проступившие сами собой слезы». Не кто иной, как он полагал себя «последним поэтом». «Последним петербургским поэтом», погруженным в неумолчный прибой «мирового уродства».

Говоря более широко, при всем несравненном лиризме не только стихов Георгия Иванова, но и самого «Распада атома» его автора определенно тянет поместить в один ряд то ли с юным Дмитрием Писаревым, «хрустальной коробочкой», то ли с умудренным Львом Толстым, «вегетарианцем», с их противокультурными замашками.³⁹ Рассуждать с восторгом о «необыкновенной силе разрушения, необыкновенной благотворной силе» — это на самом деле очень по-русски, по-базаровски, по-бакунински, по-кропоткински... Тут и Сартр с его лозунгом «Бунт — правое дело» окажется в наших учениках.

Слагатель ивановской «поэмы» — «антигерой» Достоевского типа, отрицающий не какие-то «социальные порядки», но мир как «единое целое». А вместе с ним и — на манер Розанова — русскую литературу, тоже целиком.

Путь, проторенный стенаниями автора «Апокалипсиса нашего времени»: «Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, „как они любили“ и „о чем разговаривали“. И все „разговаривали“ и только „разговаривали“, и только „любили“ и „еще любили“». ⁴⁰ Видимо, Розанов, в пандан Константину Леонтьеву, полагает, что до Петра на Руси царил «страх Божий», заглушавший «первобытность». А что ж, «любовь» разве не стóит и «первобытности» и «страха Божия»? Христианство, кажется, только тому и учит (должно учить). Леонтьев, небось, сказал бы: «Любовь и страх Божий — одно и то же».

Ивановские антиномии исходят из розановских темпераментных ажитаций и следуют им, их лукавству. Если «мировому уродству» придавать статус реальности, то нет внятных доводов отказывать в нем «любви». Или же нужно признавать фантомом и то и другое. В «Распаде атома» протагонист чаует встречи с Прекрасной Дамой, в его видениях — сущей Манон Леско. Эта визионерская любовь и есть «пусковой механизм» сюжета.

Опираясь в дальнейшем анализе «Распада атома» преимущественно на Достоевского и Розанова, забывать об этом не станем. Вот и ближайший, и наиболее чтимый Георгием Ивановым из современных ему поэтов Осип Мандельштам к моменту вынашивания «Распада атома» — уже автор «Четвертой прозы» (начало 1930-х). Как и создатель ивановской «поэмы», он собирался завершить свой литературный путь прозой, столь же внежанровой, что и у Георгия Иванова. Какая уж тут вообще литература: «Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост». ⁴¹ Вряд ли его приятель с «на глаза спадающей челкой» мог прочесть мандельштамовскую прозу в Париже — при всем избытке свободного времени. Тем лучше. Переключка «на воздушных путях» — засвидетельствованный поэтами факт. «Понимайте по воздуху», — советовал Георгий Иванов своему confidentу. ⁴²

Силуэты авторов «Записок из подполья» и «Опавших листьев» отпечатаны на сетчатке ивановской поэтики с несомненной отчетливостью. Но «Распад атома» генетически связан с более широким полем русской литературы, поэзии в том числе, да и прозы тоже, если обратиться к самому ее началу, к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву». Изумляться особенно нечему. Потому что вняты изначальные импульсы: «Звери алчные! пиявицы ненасытные! что крестьянину вы оставляете? То, чего отнять не можете, воздух. Да, один воздух».⁴³ Теперь дошло до того, что и воздух можно отравить. О чем — первая же строчка «Распада атома». Она в такой же степени ивановская, как и мандельштамовская. Несомненная реминисценция: «Отравлен хлеб, и воздух выпит...» (1913). Но главное — соответствие «Четвертой прозе»: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».⁴⁴ «Распад атома» написан «без разрешения». Как и Мандельштам, его автор следует «канону настоящего писателя — смертельного врага литературы».⁴⁵

И, как всегда, сбереженный подсознанием Александр Блок, его предсмертная речь «О назначении поэта», о Пушкине: «Его убило отсутствие воздуха».⁴⁶

Поэт призван передать драгоценное и неповторимое желание — *последнее желание приговоренного к смерти*. То есть состояние *перед исчезновением*:

Душа черства. И с каждым днем черстей.
— Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа.
Еще я вслушиваюсь в шум ветвей,
Еще люблю игру теней и света...

Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.

Эти стихи из «Роз» особенно существенны как своего рода живший в поэте издавна (в первой редакции стихотворение относится к 1925 году) лирический прототекст «Распада атома». В нем завязь всего его расцветшего махровой розой сюжета, тронутого лейтмотивом «игры теней и света». Современный поэт явственно слышит, как гул «тяжести недоброй» раскатывается в его ушах «божественным глаголом».

Ивановский «новый трепет» сильно отозвался на становлении в русской зарубежной поэзии эстетики «парижской ноты». Ее кредо надежнее, чем из статей главного теоретика Адамовича, можно извлечь из работы неоднократно выделяемого Георгием Ивановым современного ему философа Григория Ландау «Культура слова как культура лжи»: «...существенным орудием преодоления словесных соблазнов является отрицание словесной красоты, словесной прелести. Надо принять тусклую словесность, надо быть насто- роже против „красного слова“».⁴⁷

Из младших современников Георгия Иванова «настороже против „красного слова“» выступил Борис Поплавский. Как и следовало ожидать, парадоксально это у него сопряглось с «красноречивостью». Что понятно уже

по самим имени и фамилии главного его героя — Аполлон Безобразов. Первые главы его одноименного романа печатались в тех же «Числах». В них уже мелькает без всяких олицетворений предвосхищающая образ Психеи из «Распада атома», невесть откуда взявшаяся русская барышня с французским именем Тереза. «Измученная и отсутствующая, сперва она в опустевшее сердце как будто приняла все происходящее...» У Поплавского не один только этот образ значим, но вся атмосфера, отчасти гротескная, отчасти ностальгическая — с «шелестом прозрачной березы»...⁴⁸ Все то, что привлекало Георгия Иванова и — при его внимании к личности Поплавского — вскоре после загадочного самоубийства автора «Аполлона Безобразова» вполне могло аукнуться в его собственной прозе...

Зинаида Гиппиус сделала о «Распаде атома» специальный доклад в «Зеленой лампе» и опубликовала его затем в эмигрантском альманахе «Круг». В нем утверждались вещи существенные: «Я не знаю, кто из писателей мог бы с такой силой показать современное отмирание литературы, всякого искусства; его тщету, его уже невозможность. <...> Книга не хочет быть „литературой“. По своей внутренней значительности она и выливается за пределы литературы. Но она написана как настоящее художественное произведение, — и это важно: будь она написана слабо и бледно, мы бы просто не услышали, что говорит, думает, чувствует наш современник».⁴⁹

Владислав Ходасевич, напротив, нашел и подчеркнул другой аспект книги, усомнившись в ее герое, которого более или менее прозрачно отождествил с самим автором. Дескать, Георгий Иванов «своего очень мелкого героя попытался выдвинуть в выразители очень больших тем, будто бы терзающих современное человечество. Его ошибку следовало бы исправить, решительно отмежевавшись от идеологии и психологии „распадающегося атома“».⁵⁰

Гипотеза поразительная, особенно же поставленная как завершающее суждение. Если писать об «очень мелком герое», о каком-нибудь Акакии Акакиевиче (а его тень постоянно отражается в парижских вестях «Распада атома»), значит, отступаться от «больших тем», то прощай, русская литература! «Уединенное» что ли Ходасевич не читал? Весьма популярная была книга. «Победа Платона Каратаева еще гораздо значительнее, — пишет Розанов, — чем ее оценили: это в самом деле победа Максима Максимович над Печориным, т. е. победа одного из двух огромных литературных течений над враждебным...»⁵¹ Как бы к «озарениям» Розанова ни относиться, многих острых, аналитически значимых мыслей у него не отнимешь.

«Тайного яда» в суждениях и писаниях Ходасевича о Георгии Иванове всегда было разлито предостаточно. Не исключение и эта рецензия. Из достоверного признания прозы «Распада атома» «стихами» по умолчанию следует, что их писал поэт. А потому это его точка зрения в произведении главенствует, его суждения. Так оно и есть на самом деле. Только эта точка зрения расщепленная, многозначная, продиктованная поэтическим вдохновением.

Ивановская стихотворная речь даже и прямо вплетена в повествование. Вопрос автором «Распада атома» так и поставлен: живет ли последнее и единственно доступное ему средство врачевания — поэзия в высшем своем, пушкинском, проявлении — или нет? Способна ли она противостоять

современному «мировому уродству»? «Игра теней и света» у Георгия Иванова тихо, но акцентируется.

Можно называть протагониста «Распада атома» «лирическим героем», но все равно — никакого «многоголосия» в «поэме» нет. Все реминисценции, противоречия, сомнения и антиномичные суждения выражают в этой вещи собственную сущность повествователя, входят в ее состав, его самого раздражающий. Да и нет у ивановского протагониста никакого антагониста. Он сам себе антагонист. «Очень мелким героем» назван Ходасевичем не кто иной, как автор.

Другое дело, что многих современных Георгию Иванову читателей именно идентификация «очень мелкого героя» с «автором» фраппировала. Пожалуй, и не могла не отвратить, если иметь в виду эпатазирующие эпизоды с мертвой девочкой и несчастным стариком с его набрякшей мочой булкой. Это та естественная реакция, о которой писатели порой «не догадываются» или же провокационно ее добиваются. В восторге от этого пребывают преимущественно снобы и садомазохисты. Не имеющее к литературе прямого касательства физиологическое отвращение пересиливает в подобных сценах художественную необходимость их запечатления. Тем более тут уже не до розановских подтекстов, дескать, для нас «„бессмертие души“ так же несомненно, близко, осязательно, как булка в булочной».⁵²

Так или иначе, но впечатление от «Распада атома» в нашей диаспоре было сильным. Зинаида Гиппиус утром 28 января 1938 года, прочитав в парижской газете «Возрождение» фельетон Ходасевича, ответила ему вечером на заседании «Зеленой лампы» докладом «Черты любви». Не называя рецензента по имени, она оппонировала ему следующим образом:

«Ну да, ведь все мы издавна привыкли „вечное“ звать „банальностями“ <...>. Но человек, — герой Иванова, — продолжает открывать „известное“ и действительно открывает его *по-новому*, потому что, хотя и чувствует его, как другие, раньше, — уже участвует с новым (современным, неполным) *сознанием*. Он действительно увидел, опять и сызнова, вот это:

„История моей души и история мира... переплетены... срослись и проросли друг в друга. Как фон, как трагическая подмалевка, за ними современная жизнь“».⁵³

Все же, хоть и в недобрых целях, именно Ходасевич первый указал на поэтический субстрат книги Георгия Иванова: «Построена она на характернейших стихотворно-декламационных приемах, с обычными повторами, рефренами, единоначатиями и т. д. <...> ...ее стихотворная и лирическая природа вполне очевидны. С первого взгляда можно ее принять за один из модных ныне „человеческих документов“, но это было бы неверно и несправедливо. К чести Георгия Иванова, необходимо подчеркнуть, что его книга слишком искусственна и искусна для того, чтобы ее отнести к этому убогому роду литературы».⁵⁴

Последнее замечание влечет за собой роковой вопрос: может ли литературный текст поставить крест на самой литературе? Парадокс в том, что чем больше таланта на это усилие тратится, тем более новаторское произведение *литературы* же и создается. В этой ивановской теме невозможности

искусства в эпоху, когда художник видит вокруг себя одно лишь «мировое уродство», скрыт зародыш появления на свет лирики, рождающейся в «новом трепете», во «*frisson nouveau*», спасшем Георгия Иванова и в 1920-х — начале 1930-х годов и вновь преобразившем его стихи через десятилетие после создания «Распада атома».

Проблема «Распада атома» — это во все времена насущная проблема критики современной цивилизации, как она звучала в русской классической традиции — у Петра Чаадаева — в отношении цивилизации отечественной — и у Константина Леонтьева (единственного философа, о котором Георгий Иванов написал эссе) — в отношении цивилизации европейской. Необходимо приплюсовать сюда и Василия Розанова, реминисценциями из которого ивановская «поэма в прозе» начинена и без оглядки на провоцирующий — не меньше чем самопровоцирующий — метод которого едва ли была бы написана.

Филолог из Даугавпилсского университета Галина Сергеевна Василькова насчитала в «Распаде атома» около сорока текстовых сближений с легко доступными за рубежом изданиями Розанова («Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени»).⁵⁵

Если уж искать для «Распада атома» «прототипическую личность» среди персонажей «серебряного века», то в преподаватели «распада» поставишь, скорее всего, именно Василия Васильевича. Такого, каким его воображал сам Георгий Иванов *post factum*: «Безо всяких сомнений — Розанов был писателем редкостно одаренным. Но что, в конце концов, он утверждал? <...> Любая его книга с тем же талантом и находчивостью „убедительно“ противоречит другой, и каждая страница любой из этих книг с изощренным блеском опровергает предыдущую или последующую страницу... <...> Розанов <...> овладевал и без того почти опустошенными душами, чтобы их окончательно, „навсегда“ опустошить. Делал он это с поразительной умственной и литературной изобретательностью. В этом и заключался, пожалуй, „пафос“ розановского творчества — непрерывно соблазнять, неустанно опустошать. Он был, повторяю, большим талантом и искусником слова. Но и был настоящим „профессионалом разложения“ — гораздо более успешно, чем любой министр... или революционер, подталкивающий империю к октябрьской пропасти».⁵⁶

Не те же ли «талант и находчивость» проявляет Георгий Иванов? И кого, как не его, можно назвать мастером «опустошения» в выдаваемом за «религиозность» «безначальном тумане» его сочинения? Похоже, что убедительное ивановское описание розановского пафоса в «Распаде атома» есть в то же время автоописание. Разве не у него каждый абзац — не то что страница! — «„убедительно“ противоречит другому»? Достаточно напомнить хотя бы эпиграф к его «поэме»: что «взлет», что «падение» при «двойном зрении» автора друг от друга неотличимы. Важна лишь сама по себе анонимная медитация. С которой все и начинается.

А сам текст!

Первое предложение: «Я дышу». И уже второе говорит о смертельной опасности его вдыхания: «Может быть, этот воздух отравлен?» В третьем

этот воздух — не воздух, а отравка: «Но это единственный воздух, которым мне дано дышать». И т. д. Георгий Иванов тут не одинок.

В те же примерно дни, что вышел из печати «Распад атома», в том же Париже издан альманах «Круг» с участием известного нам теперь философа Георгия Федотова. Эссе, подтверждающее идею альманаха, названо им «Круг». И начинается оно со слов: «Темно и жутко. Воздух такой удушливый, что нечем дышать».⁵⁷ Единственно звук еще и различим в такой среде, не слишком зависимый от ее качества.

«Голос» — «главный герой» «Распада атома», перенасыщенная, дискретная речь организует сюжет и определяет место действия, пространство лирического стихотворения. Только в этом жанре «голос» становится доминирующим оружием воплощаемого переживания. Тем, что переводу ни на какой язык не подвержено.

Не в Париже дело, а в отравленном воздухе, он первичен, предопределяет судьбу протагониста. Добровольное пребывание в нем — самоубийственно. На чем сюжет и распялен. Если не распят.

Повторим еще раз: «Его убило отсутствие воздуха». Это переживание — главное и в «Распаде атома»

В историко-литературном смысле Розанов, надыхавшийся воздухом Достоевского, конечно, не единственный источник появления «Распада атома». В равной степени слагатель ивановской «поэмы» выставляет себя «антигероем» «Записок из подполья», надевает на себя его личину. Он того же приблизительно возраста и тех же претензий к общечеловеческим идеалам, как они сформулированы подпольным парадоксалистом: «Это „прекрасное и высокое“ сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет...»⁵⁸ То же самое мог бы сказать о себе и Георгий Иванов в его сорокалетие между «Розами» и «Распадом атома».

«Потерянный человек» из его «поэмы» хоронит «пушкинскую Россию», но «похороны» эти опять же даны как парафраз провозглашенного персонажем Достоевского кредо доводить в своей жизни «до крайности» то, что прочие, гнушаясь «омерзительной правды», не осмеливаются доводить «и до половины».

Но это все-таки декларация, тезис. Антитезис в «Распаде атома» вряд ли слабее. Если есть «мировое убожество», то есть и «мировое торжество». Наталкиваясь на одно, можешь быть уверен, что при дверях наткнешься лбом и на другое. «Поэма» Георгия Иванова — о любви, об оставленном у протагониста в «подвале памяти» ее невозстановимом образе, всплывающем лишь духовидчески, в снах и стихах. Как у Александра Блока:

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...⁵⁹

У Георгия Иванова как несомненная реминисценция, как метонимия канувшей любви через весь текст проходит «синее платье, размолвка, зимний туманный день». Образ утраченной возлюбленной сливается у него с образом канувшей «пушкинской России». Мотив, прикровенно выраженный всей

темой «Распада атома», интимизирующей блоковский пафос: «О, Русь моя! Жена моя! До боли / Нам ясен долгий путь!»⁶⁰

Представление о ясности грядущего пути Блок до конца не донес. Однако по поводу «мглы — ночной и зарубежной» не ошибся. В ней его младший современник мечты утратил неокончательно, написал как о «сиянии ложных чудес», так и «о единственном достоверном чуде — том неистребимом желании чуда, которое живет в людях, несмотря ни на что». Оно прямо переводит текст Георгия Иванова в регистр «стихотворений в прозе» тургеневского — на диво! — образца. И «омерзительная правда» может быть поверена «гармонией», и в ней различима «игра теней и света»... Что если не Достоевский, а Тургенев не устарел? Ведь именно его перефразирует автор в приведенном монологе, его «Молитву»: «О чем бы ни молился человек — он молится о чуде».⁶¹ «Чудо» это мимолетное, но именно оно и противостоит «отчаянию», хотя бы его и не перевешивая.

Но не Тургенев и даже не Достоевский «духовный отец» «Распада атома». Вот что написано Георгием Федотовым об этой «поэме» за семь лет до ее реального воплощения:

«Все темы, волнующие его, вошли в эту книгу. Не в капризном соседстве случайных записей, как могло бы показаться с первого взгляда, а в той внутренней необходимой связи, которая дается единством жизни. Нетрудно обнаружить, что самые поверхностные высказывания <...> — о политике, журналистике, например, — связаны с самыми глубокими корнями его бытия. За видимым хаосом, разорванностью, противоречивостью, приоткрывается тихая глубина <...> — осенняя жатва его жизни, уже тронутой дыханием смерти. В предчувствии гибели... (автор. — А.) достигает предельной, метафизической зоркости. И как удивительно — для многих неожиданно, — что эта <...> зоркость окутывается зоркостью любви. <...> Вот почему с такою легкостью совершается в (нем. — А.) разложение социального сознания, и притом двойного: консервативно-церковного и радикально-позитивистского. Вся изумительная вспышка <...> гения питается горячими газами, выделяющимися в разложении старой России. <...> ...неволью вспоминаешь *распад атома* (курсив мой. — А.) <...>. <...> ...не случайно, что вершины своего гения (он. — А.) достигает в максимальной разорванности, распаде „умного“ сознания. <...> ...одновременно и рождается сам в смерти старой России и могущественно ускоряет ее гибель».

Федотов опубликовал этот текст в первой книжке парижских «Чисел», одним из горячих инициаторов и сотрудников которых был Георгий Иванов. У меня нет сомнений, что и само название «поэмы» восходит к этому тексту о... Василии Розанове.⁶² Им и дозволен к печати. Лежит на «Распаде атома» благословение автора «опавших» вдохновений. Из них его тема и извлечена.

Вот у Розанова в «Уединенном»: «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти».⁶³

И вот в «Распаде атома» о «душе»: «Видимость гармонии и порядка. Грязь, нежность, грусть».

И не Розанов ли под конец жизни заявил: «...никакого сомнения, что Россию убила литература»?⁶⁴ О чем в историософской трактовке и «Распад атома».

Георгий Иванов как будто въяве хочет представить — и представляет — то, что на Розанова временами лишь наплывало: «...иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого *существования ее*. И, может быть, это есть мое мировое „emploi“.* <...> Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. <...> Сущность гораздо глубже, гораздо лучше, но и гораздо страшнее (для меня)...»⁶⁵

Вот во что эти «паутинки быта» сплетаются у Георгия Иванова:

«Я думаю о различных вещах. Салат, перчатки... Из людей, сидящих в кафе на углу, кто-то умрет первый, кто-то последний, — каждый в свой точный, определенный до секунды срок. Пыльно, тепло. Эта женщина, конечно, красива, но мне не нравится. Она в нарядном платье и идет улыбаясь, но я представляю ее голой, лежащей на полу с черепом, раскроенным топором. Я думаю о сладострастии и отвращении, о садических убийствах, о том, что я тебя потерял навсегда...»

Все, что в жизни есть дорогого, само же себя и обесценит: «...горе и счастье, добро и зло, жизнь и смерть скрестятся, как во время затмения на своих орбитах, готовые соединиться в одно, когда жуткий зеленоватый свет жизни-смерти, счастья-мученья хлынет из погибшего прошлого, из твоих погасших зрачков».

Это «ты» относится ли к возлюбленной, к отчизне, обращено ли к себе самому? Суждения о жизни расползаются, как старая ткань... Этим видением удручен рассказчик, на нем сосредоточено его пристальное внимание — в попытке спастись. Вместо «воплощения» насущно лишь «развоплощение». Происходит «разложение литературы, самого *существования ее*». Трудно даже представить, что кто-то возьмется запечатлеть этот кошмар въяве. Георгий Иванов взял. Чтобы заглянуть: есть ли что-нибудь за ним, а может быть, и над ним?

Эпиграф из гётевского «Фауста» — «Опустись же. Я мог бы сказать — взвейся. Это одно и то же» — вполне выражает характер ивановского протагониста, его своеволие. С той существенной разницей, что он человек современный и уже не сможет ни «взвиться», ни «упасть», «буря и натиск» гётевской эпохи канули. Все в «Распаде атома» затянуто паутиной, под которой сама жизнь есть самоубийство: «Как он ненавидел их, остающихся жить, и как он завидывал им».

Помимо общей экспозиционной картины, остается подойти к точке над бездной, с которой панорама жизни, панорама смерти предстанет въяве. Или не представится вовсе. Как мы показывали с самого начала, эта точка — «отчаяние». «Положительный» выход один — перейти в ирреальный мир, стать визионером. В этом смысл последнего обращения повествователя к зверькам, его фантомным любимцам. В обращении рассказывается о некоем «официальном письме», логически рассуждая, «предсмертном». Больше рассказывать некому: «жизнь» *его* язык понимать перестала, «душе» новый еще не открылся. Гармония утрачена, остается ждать, когда «душе станет снова первобытно-легко». Не только сознание протагониста не отличает

* «Призвание» (фр.).

уже сна от жизни, но и само окружающее его пространство предстает как смешение сновидения и яви. Мотив, заявленный в первом же абзаце «Распада атома» и звучащий в нем до последней строчки.

По поводу самоубийства, хотя бы метафизического, компетентные суждения Гиппиус и Ходасевича не разошлись: сюжет «Распада атома» замкнут самоубийством современного героя. Насколько нам известно, Георгий Иванов против этой трактовки не возражал. И она не противоречит тому состоянию духа, в котором этот герой перманентно пребывает. Сам автор становится его тенью. Если наоборот, то существа дела это не меняет. Истина в неистинности существования.

Гиппиус говорит о герое прямо: «...утешения нет; покинувшая его „она“ всегда перед ним <...>. И он кончает самоубийством». ⁶⁶ Но она же и предостерегает читателя от подобного прямолинейного взгляда: «...так судящий не видит дальше героя, не понял еще его желаний, не знает о данном герою талисмани и поверил внешней, художественной и внутренней ошибке автора, всунувшего в руки героя револьвер». ⁶⁷ То есть верить в его «самоубийство» как метафизическую правду не надо. И Гиппиус продолжает: «Стройная история, превосходным языком написанная. Но не кажется ли вам, что книга потеряла почти всю свою значительность?» ⁶⁸ Свое сомнение она подытоживает репликой: «Последние строки, которыми автор, в явном смущении, затирает самоубийство, уже не касаются книги». ⁶⁹

С оценкой Гиппиус все ясно: она разделяет самоубийство «метафизическое» и самоубийство «реальное». Просто покончить с собой такому герою, каким его видит она сама, мало и мелко — получается обыкновенная «любовная история», да еще «со счастливым концом». По ее же представлению, этот персонаж должен быть уровня Александра Блока. О чем она сразу же и сообщает публике, в первом абзаце: «Того, приблизительно, возраста, какого был Блок во время революции <...>. <...> Знаем, что он думал о себе, о жизни вообще, о своем времени; как он свою современность принял — и как не принял». ⁷⁰ И вряд ли Гиппиус так уж преувеличивает. Блок очень звучит в «поэме». Его ведь тоже убило «отсутствие воздуха». Можно представить, что вдохновение, продиктовавшее Георгию Иванову «Распад атома», есть прямой отклик на строчки Блока: «Ты видел ли детей в Париже, / Иль нищих на мосту зимой?» ⁷¹ Призыв стереть «лживой жизни <...> румяна жирные» отозвался в нем озарением. «Страшный мир», «непроглядный ужас жизни» — разве не эти блоковские темы проникают «Распад атома»? И не лишил ли себя Блок жизни, по представлениям Гиппиус, сам — не «реально», но «метафизически»?

Ходасевич в этом отношении в метафизику вдаваться нужды не имел: герой «Распада атома» «пустил себе пулю в лоб» — и никаких «высших смыслов». Он — персонаж и не более того, «очень мелкий герой».

Реально герой сошел с ума или погрузился в прострацию, в чем можно рассмотреть и признак метафизической кончины, и представление о том, что над собой он власть утратил, за себя не отвечает. Ведь и на самом деле: в финале предопределенное самоубийство еле осязаемо. Возможный суицид определенно завуалирован.

Изначальная антиномичная символика «поэмы» равно толкает действие к тому, чтобы оно «взвилось» или «опустилось». Непрерывно «думая о Боге», герой обозначает тут же две символические вещи — «нательный крест» и «револьвер». Обе расцениваются им как символы «спасения». Протагонисту не хочется быть очередным Вертером, но только по его пути он идет, только о нем помнит: «Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушел от меня».

«Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости».⁷²

Из Парижа 1930-х годов и «я» и «он» исчезают, как исчез из Петрограда начала 1920-х Георгий Иванов. И вернулся через полвека:

Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

¹ Г. И. пришел к Блоку 29 декабря, не зная, что в этот день его жене Любви Дмитриевне Блок исполнилось 30 лет.

² Иванов Г. Распад атома. Париж, 1938. С. 39. В дальнейшем цитаты по этому единственному прижизненному изданию — без ссылок на издание и указания номеров страниц.

³ Иванов Г. Борис Поплавский. «Флаги» [Рецензия] // Иванов Г. Собрание сочинений. В 3 т. / Сост., подгот. текста Е. В. Витковского; коммент. В. П. Крейда, Г. И. Мосешвили. М., 1994. Т. 3. С. 534. Дальнейшие ссылки на это издание — с указанием названия произведения, номера тома и страницы.

⁴ «Неведомый трепет» (фр.) — слегка остранинное поэтом выражение Виктора Гюго из письма Шарлю Бодлеру (1859). У Гюго — «frisson nouveau» («новый трепет»).

⁵ Иванов Г. Стихотворения. 3-е изд., испр. и доп. / Вступит. статья, сост., подгот. текста и примеч. А. Ю. Арьева. СПб.—М., 2021. С. 452. (Новая Библиотека поэта). В дальнейшем стихи Г. И. цитируются по этому изданию без ссылок.

⁶ Книга о последнем царствовании // Т. 2. С. 441.

⁷ Там же.

⁸ Блок А. Письмо к Е. П. Иванову от 15 ноября 1906 // Блок А. Собрание сочинений. В 8 т. М.—Л., 1960—1962. Т. 8. С. 165.

⁹ Поплавский Б. Тезисы к докладу о книге Георгия Иванова «Петербургские зимы» // Поплавский Б. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3. М., 2009. С. 22.

¹⁰ См.: Витковский Е. В. «Жизнь, которая мне снилась» // Т. 1. С. 36—38. Автор исходит из предположения, что в «Распаде атома» Г. И. превращал себя в «проклятого поэта» — своего рода Гиньякова, задумавшего «творчески выразить и преобразить все то прекрасное, все то безобразное, что виделось ему в себе и в окружающем мире» (С. 38). Витковский называет «Распад атома» «театром для себя» (Там же. С. 23). Суждение пронизательное, но не решающее.

¹¹ Бодлер — «источник вдохновения», пишет она. См.: Зенн Т. Непонятое произведение: «Распад атома» — ключ к стихам Георгия Иванова // Георгий Владимирович Иванов. Новые исследования и материалы. По итогам II Международных научно-литературных чтений, посвященных 125-летию со дня рождения Г. В. Иванова М., 2021. С. 45.

¹² Там же. С. 59.

¹³ К сожалению, Татьяна Зенн истолковала этот эпизод как описание «одной из фотографий, развешанных на стенах берлинского полиции-президиума» (Там же. С. 60). В то время как это мысль персонажа, вспыхнувшая после посещения этого учреждения и обращенная к прошлому.

¹⁴ О функциональном влиянии повторов на сюжет ивановской прозы см.: Ранчин А., Блокина А. О «поэтическом» повторе в прозаическом тексте: «Распад атома» Георгия Иванова // Ранчин А. Переключки Камен. М., 2013. С. 474—485.

¹⁵ См. цит. статью Т. Зенн. С. 58—59. Суждение эффективное. Но малоубедительное. О праздновании поэтом именин до сих пор вообще ничего не известно. В Болгарии он никогда не был. Семья Ивановых покинула страну задолго до принятия болгарями в 1916 григорианского календаря, и 24 февраля для поэта в церковном смысле вряд ли что-то значило. Основное

поминовение болгарского св. великомученика Георгия Нового по церковным минаеям относят к 26 мая, богослужение его памяти 11 сентября менее значимо. Если 24-е принимается автором гипотезы за новый стиль, необходимо было это обозначить. В любом случае февраль от его собственных именин далековат, зато в начале ноября православная церковь дважды поминает Георгия Победоносца. В честь кого еще крестить сына в военной семье (Г. И. родился 29. X. / 10. XI. 1894)? Сама Т. Н. Зенн и установила дату крещения Г. И. — по метрической книге православной церкви Россиен: 29 ноября 1894. Там же и дата рождения: 29 октября 1894.

¹⁶ Письмо к Владимиру Маркову от 11 июня 1957 // *Ivanov G. / Odojevceva I. Briefe an Vladimir Markov. 1955—1958. Mit einer Einleitung herausgegeben von H. Rothe. Köln—Weimar—Wien, 1994. S. 68.*

¹⁷ *Ibid.* S. 91. Письмо датируется по штемпелю на конверте: 28 февраля 1958.

¹⁸ Письмо от 10 мая 1955 // *Иванов Г. — Одоевцева И. — Гуль Р. Тройственный союз (Переписка 1953—1958 годов) / Вступ. ст., сост., коммент. А. Ю. Арьева и С. Гуаньели. СПб., 2010. С. 188. В дальнейшем — Тройственный союз и номер страницы.*

¹⁹ Письмо Р. Гулю от 25 октября 1955 // Тройственный союз. С. 267.

²⁰ В письме Роману Гулю от 29 июля 1955 Г. И. сообщает: «„Атом“ должен был кончаться иначе: „Хайль Гитлер, да здравствует отец народов великий Сталин, никогда, никогда англичанин не будет рабом!“ Выбросил и жалею» (см.: Тройственный союз. С. 223).

²¹ *Иванов В. Кризис индивидуализма // Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 22.*

²² *Гумилев Н. Письмо о русской поэзии <Г. Иванов. Горница> // Аполлон. 1914. № 5. С. 39.*

²³ У Толстого пишется «мир». То есть — «отсутствие войны». А не «мир» в значении — «вселенная».

²⁴ *Ivanov G. / Odojevceva I. Briefe an Vladimir Markov. S. 29—30.*

²⁵ *Ibid.* S. 19. Письмо от 24 марта 1956 (по штемпелю на конверте).

²⁶ *Иванов Г. Шестнадцать писем к Юрию Иваску / Вступ. ст., публ. и коммент. А. Арьева // Вопросы литературы. 2008. № 6. Ноябрь—Декабрь. С. 304.*

²⁷ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 243.

²⁸ О соотношении экзистенциальной философии, выраженной в «Распаде атома» и в «Тошноте» содержательно писали в цитированной выше работе Андрей Ранчин, а также Светлана Семенова (см. ее статью «Два полюса русского экзистенциального сознания. Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина» (Новый мир. 1999. № 9. С. 185—190)).

²⁹ *Ivanov G. / Odojevceva I. Briefe an Vladimir Markov. S. 68.*

³⁰ Письмо от 29 июля 1957 // Тройственный союз. С. 223.

³¹ Упоминание маркиза де Сада в данном контексте не «фигура речи». Профессиональный литературный интерес к этому философствующему апологету «абсолютной свободы», в первую очередь чувственной, возник во Франции к концу 1910-х у Аполлинера и сюрреалистов. Внимание Г. И. к де Саду во время обдумывания и публикации «Распада атома» подтверждается Жоржем Батаем. В его черновиках нашлась запись о посетивших его 5 декабря 1937 Ивановых вместе с Морисом Гейне (Maigrice Heine), одним из первых издателей де Сада в XX в. Появились они после посещения места, предположительно выбранного де Садам для собственного погребения. См. об этом: *Гальцова Е. На грани сюрреализма. Франко-русские литературные встречи: Жорж Батай, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов (со ссылкой на: Bataille G. Coupable // Bataille G. Œuvres complètes. T. V. Paris. 1970. P. 525) // Сюрреализм и авангард. М., 1999. С. 105—126.*

³² *Иванов Г. <Ответ на «Анкету о Прусте»> // Числа. Париж. 1930. Кн. 1. С. 272.*

³³ О связи поэтики «Распада атома» с творчеством Бодлера подробно написала Татьяна Зенн: Непонятое произведение: «Распад атома» — ключ к стихам Георгия Иванова. С. 40—68. Исследование добротное, хотя утверждение о «непонятом произведении» без дискуссии с прямыми писавшими о смысле «Распада атома» Светланой Семеновой, Еленой Гальцовой, Владимиром Котельниковым, Андреем Ранчиным и др. современными исследователями, доверия к выдвинутому в заглавии тезису не повышает.

³⁴ *Иванов Г. Письмо В. Маркову от 11 июня 1957 // Ivanov G. / Odojevceva I. Briefe an Vladimir Markov. S. 68.*

³⁵ *Зенн Т. Непонятое произведение: «Распад атома» — ключ к стихам Георгия Иванова. С. 41. Перевод Т. Зенн. С. 41.*

³⁶ *Котельников В. «Распад атома» Георгия Иванова и «Записки из подполья» Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 21. СПб., 2006. С. 84.*

³⁷ О связях поэта с Жоржем Батаем и французским сюрреализмом как «фоном, при котором развивалось» его творчество, см. статью: *Гальцова Е. На грани сюрреализма. Франко-русские литературные встречи: Жорж Батай, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов // Сюрреализм и авангард. М., 1999.*

- ³⁸ *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж—Нью-Йорк, 1987. С. 148.
- ³⁹ См. на эту тему статью: *Парамонов Б.* Голая королева. Русский нигилизм как культурный проект // *Звезда*. 1995. № 6.
- ⁴⁰ *Розанов В.* Апокалипсис нашего времени // *Розанов В. С.* Мимолетное. М., 1994. С. 415.
- ⁴¹ *Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем. В 3 т. Т. 2. М., 2010. С. 349.
- ⁴² *Ivanov G. / Odojevceva I.* Briefe an Vladimir Markov. S. 57.
- ⁴³ «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева. Факс. изд. М., 1983. С. 312.
- ⁴⁴ *Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем. Т. 2. С. 350.
- ⁴⁵ Там же. С. 352.
- ⁴⁶ *Блок А.* Собрание сочинений. В 8 т. Т. 6. С. 167.
- ⁴⁷ Числа. Париж. 1933. Кн. 9. С. 166.
- ⁴⁸ См.: *Поплавский Б.* Аполлон Безобразов // *Поплавский Б.* Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. М., 2000. С. 77—89.
- ⁴⁹ *Гиппиус З.* «Черты любви» (Доклад в О-ве «Зеленая Лампа» // *Круг*. Кн. 3. Париж, 1938. С. 143.
- ⁵⁰ *Ходасевич В.* «Распад атома» [Рецензия] // *Возрождение*. 1938. 28 января.
- ⁵¹ *Розанов В.* Уединенное // *Розанов В.* Листва. М.—СПб., 2010. С. 36.
- ⁵² *Розанов В.* Опавшие листья. Короб второй и последний // *Розанов В.* Листва. С. 292.
- ⁵³ *Гиппиус З.* «Черты любви». С. 140.
- ⁵⁴ *Ходасевич В.* «Распад атома».
- ⁵⁵ *Василькова Г.* «Розановский след» в русском литературном зарубежье 1920—1930-х годов (к постановке проблемы) // *Энтелехия*. № 15. Кострома, 2007. С. 109—111. Число 40 почерпнуто из переписки с автором.
- ⁵⁶ *Закат над Петербургом* // Т. 3. С. 467—468.
- ⁵⁷ *Федотов Г.* *Круг* // *Круг*. Кн. 3. Париж, 1938. С. 162.
- ⁵⁸ *Достоевский Ф.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 109.
- ⁵⁹ Из стихотворения Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908).
- ⁶⁰ Из стихотворения Блока «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (1908), первого в цикле «На поле Куликовом».
- ⁶¹ *Тургенев И.* Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. Т. 13. М.—Л., 1967. С. 197.
- ⁶² *Федотов Г. В.* Розанов. Опавшие листья [Рецензия] // *Числа*. Париж. 1930. Кн. 1. С. 222—225. (О возможности такой интерпретации см.: *Василькова Г.* Розановские аллюзии в «Распаде атома» Г. Иванова // *Филологические чтения*, 1998. Даугавпилс, 2000. С. 79—87.)
- ⁶³ *Розанов В.* Уединенное // *Розанов В.* Листва. С. 48.
- ⁶⁴ *Розанов В.* Апокалипсис нашего времени // *Розанов В.* Мимолетное. С. 452.
- ⁶⁵ *Розанов В.* Опавшие листья. Короб второй и последний // *Розанов В.* Листва. С. 192.
- ⁶⁶ *Гиппиус З.* «Черты любви». С. 144.
- ⁶⁷ Там же. С. 146—147.
- ⁶⁸ Там же. С. 144.
- ⁶⁹ Там же. С. 148.
- ⁷⁰ Там же. С. 139.
- ⁷¹ Из стихотворения А. Блока «Да. Так диктует вдохновенье...» (1911, 1916) // *Блок А.* Полное собрание сочинений. В 20 т. Т. 3. М., 1997. С. 62.
- ⁷² *Розанов В.* Уединенное // *Розанов В.* Листва. С. 72.

СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ

ЛИСТЫ С ПЕПЕЛИЩА

О стихах Александра Морева

Для тех, кто не жил в Ленинграде в 1960—1970-е годы, это имя, вероятно, неизвестно. Поэтому начну с кратких биографических сведений из вышедшей в 2003 году энциклопедии «Самиздат Ленинграда»: «Морев (собст. Пономарёв) Александр Сергеевич. 3 января 1934 (Ленинград) — 8 июля 1979 (там же). Пережил блокаду, во время которой у него на глазах умерла мать. После 4-го класса учился в Средней художественной школе при Институте им. И. Е. Репина; после трех лет обучения был исключен за увлечение „формализмом“. Работал сторожем, художником в клубе, маляром на заводе».

Я не знал его близко — видел всего несколько раз. Первый раз еще школьником, году, кажется, в 1962-м. Я посещал тогда кружок юных стихотворцев при Дворце пионеров, который вела поэт Наталья Иосифовна Грудинина, та самая, которая впоследствии защищала Бродского на суде. Однажды она пригласила меня по поводу моих стихотворных опытов к себе домой, а жила она тогда где-то на Охте. И вот там-то я впервые увидел Морева. Он посещал тогда ЛИТО «Нарвская застава», которое также вела Наталья Иосифовна, и тоже пришел на консультацию. Я помню, что он предъявил на суд Грудининой текст в стиле жесткого реализма, что тогдашней критикой и редакторами журналов отнюдь не приветствовалось. Стихотворение называлось «Воскресение» и там описывалась семейная пьянка в Пасху, в день Светлого Христова Воскресения:

А вечером дедка с Зинкиным батей
Напились и стулья стали ломать,
и било, и было грязным в распятые
Святое и чистое слово — мать!

Мы с Зинкой сидели в углу и молчали,
мы не смотрели на образа,
страшно было, когда встречали
в темном углу немые глаза.

Помню, что Грудинина критиковала строку «и било, и было грязным в распяты», воспринимая, возможно, слово «распяты» как изображение распятого Христа на стене. Морев же настаивал на первоначальном значении этого слова. Возвращались мы вместе, и я пригласил его выступить в моей школе на вечер поэзии. (Тогда, в «оттепельное» время, такие вечера были в моде.) Он действительно пришел и выступил, а потом, помню, Грудинина сделала мне выговор, что я пригласил человека, не представляющего, по ее мнению, ленинградскую поэзию. Позже я понял причину ее недовольства: дело в том, что Морев участвовал в скандально известном турнире поэтов в ДК им. Горького 17 февраля 1960 года. На этом турнире произошли два скандала: первый с Бродским, прочитавшим там свое «Еврейское кладбище» (еврейская тема была табуирована), а второй с Моревым из-за стихотворения «Есенистое», в котором жюри усмотрело порнографию. И тому и другому после этого были запрещены публичные выступления.

Снова я увидел Морева, когда учился на филфаке Ленинградского университета. В университете было свое ЛИТО, работавшее не в формате студийных занятий, а в формате литературных вечеров, на которые могли прийти все желающие. Вечера проходили в помещении кафедры русской литературы (окнами на Неву!), а ведущим был профессор соседней кафедры советской литературы (сейчас этой кафедры уже нет) Евгений Иванович Наумов. (Люди моего поколения, вероятно, помнят школьный учебник советской литературы, одним из авторов которого он был.) Поскольку ЛИТО было открытым, то появлялись «гастролеры». Помню выступления Леонида Аронсона и Владимира Эрля, а также Морева. Среди прочитанных им стихов была «Песня о новобранцах», смелое для того времени стихотворение, которое кончалось так:

А наш старшина мордаст и туп,
он глазом целит в меня...
Он — в гимнастерке — зеленый дуб,
и мы — молодой дубняк.

Евгений Иванович возмутился таким изображением армии и произнес речь, в которой утверждал, что в армии все держится на муштре, и что это нормально, так и должно быть, и что благодаря этому мы победили в Великой Отечественной войне. Морев пытался возражать, но Наумов его резко прервал: «Вы хотите устроить здесь митинг. Я вам этого не разрешаю».

В последний раз я видел Морева в первой половине 1970-х годов у поэта Геннадия Алексеева. Алексеев жил где-то в Гавани, и привел меня к нему, как я помню, Евгений Звягин. Там оказался и Морев, но возобновления знакомства не получилось — ему не понравилось мое стихотворение «Суворов», которое я тогда прочел. Он воспринял его как неактуальную стилизацию

под XVIII век. Больше мы не встречались, а в 1979 году я услышал о его самоубийстве: он бросился в шахту строящегося метро на углу Шкиперского протока и Наличной улицы.

«И подпольные судьбы черны, как подземные реки» — эта строчка из стихотворения Виктора Кривулина «Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то...» всегда приходит мне на ум, когда я вспоминаю об Александре Мореве. Его трагедия (это высокое слово здесь вполне уместно) — это трагедия не востребованности: его часто посещала мысль, что ни его творчество, ни он сам никому не нужны. В 1967 году в приступе отчаяния он сжег свои стихи и рисунки. Сохранились, однако, перепечатки у его друзей, и при жизни удалось составить два машинописных сборника: «Пуля» (1962 ?) и «Сборник стихотворений» (1971). (Последний составил его друг Анатолий Домашёв.) Уже после гибели Моревы Геннадий Алексеев и биолог Вера Рольник собрали сборник «Листы с пепелища» (1980). Через десять лет эту книгу, значительно дополненную, удалось издать в «большой» печати (Л., 1990).

Стихи он начал писать рано. В 1949 году, когда ему было пятнадцать лет, он написал четверостишие «Россия»:

Сына взяли, и мать больная,
В комнате солнечной темно.
На улице праздник — Первое мая.
Вождём завесили ей окно.

Тогда, в сталинское время, за такие строчки можно было жестоко заплатить — но, к счастью, пронесло.

Сейчас, перечитывая его стихи, я понимаю: он был человеком того краткого исторического промежутка, который называют «оттепелью», проще говоря — шестидесятником. Как-то принято считать шестидесятников людьми наивными, верившими в «социализм с человеческим лицом» и в то, что добро обязательно победит зло. Наивными они не были, но в отличие от того поколения, к которому принадлежу я, они жили надеждой, что все идет к лучшему. Шестидесятники остро чувствовали ложь и фальшь, стремились к искренности, к теплоте человеческих отношений. В упомянутом уже возращении Наумову Морев говорил о «поисках тепла», ссылаясь на вышедший тогда и названный этими словами сборник Глеба Горбовского. О тотальной лжи говорится в его стихотворении «Гимн пьянице»:

Этот лжет, когда говорит: «Мы заботимся о человеке!»
Ты видишь его живот,
его глазки и чувствуешь — лжет.
Этот лжет, когда милостыню подает калеке,
и калека, ее принимая, в благодарность лжет...

Стремление к искренности и естественности сближало наших шестидесятников с появившимися тогда на Западе битниками и сменившими их потом хиппи. Недаром одно из стихотворений Моревы 1970-х годов называлось «Песня хиппи»:

Плевать на погонные метры дороги,
идушей вспять,
плевать на сумрак дня,
ушедшего в прошлое,
плевать на окно с видом на залив,
плевать на разорванные черновики
и на оторванную пуговицу ширинки,
плевать на цветы в руках продавщиц,
плевать на все, что продается,
а не дарится...

Шестидесятники начали говорить о том, о чем советская литература до них говорить избегала: например, о расстреле пленнх во время войны. Мне известны два стихотворения на эту тему, появившихся тогда, — «Немецкие потери» Бориса Слуцкого и «Гойя» Морева. Название «Гойя» совпадало с названием очень тогда популярного стихотворения Андрея Вознесенского. Оно тоже было о войне, но это был взгляд издалека, экспрессивный монолог, возникший не только под влиянием рассказов о войне, но и под влиянием произведений позднего Гойи: «Капричос» и так называемых росписей Дома глухого: «Я — Гойя! // Глазницы воронок мне выклевал враг, / слетая на поле нагое. // Я — Горе. // Я — голос / Войны, городов головы / на снегу сорок первого года».

Нечто совершенно иное мы видим у Морева. Не взгляд откуда-то сверху, не панорама, а конкретный эпизод — конвоирование пленнх:

А пленнх — тридцать,
тридцать фрицев.
Кутают щеки, носы в башлыки.
Им холодно, охают:
очень плохо им —
зима, Россия, большевики!
Но рады фрицы —
из боя вышли.
Что ж, что вшивые,
главное — живы!
А трое в ватниках
шагают в валенках,
рукавицы теплые на автоматиках.
Морозец щекочет,
щиплет щеки,
солнце в синем снегу
хохочет...
Только долго вести их очень...
В тыл доберутся только к ночи.

Но в лесу автоматная очередь
гулко рассыпалась над Россией...
Легли все тридцать
пленнх фрицев,
мертвых фрицев
в мерзлом осиннике.

Руки подняты
и не поняты,
души отняты
и не отпеты.
А трое обратно идут:
«Мать их так!» —
солнце на автоматиках...

Пожалуй, центральное из сохранившихся произведений Морева — это композиция «Месса», тоже антивоенное, можно даже сказать, пацифистское произведение. Оно — против войны вообще, против войны как организованного насилия. Образы войны в этом стихотворении по силе выразительности можно назвать экспрессионистскими:

И когда кто-то рыжий,
как клоп,
как поганка,
целился в меня из черных щелей бойниц,
я поднимался —
огромен, вровень с танком,
и танки становились
надгробиями, подобиями гробниц.
А утром солнце всплывало
красное, как рак,
как глаз пропойцы,
такое неласковое и ненастное,
страшное, кроваво-бесстрастное,
как ночью лампада в доме покойницы.

Или:

Облака — тампоны в кровавой пене,
солнце красным лбом вылезает —
это, раздвинув гор колени,
н о в ы й д е н ь
Земля рождает!
Правда — это не жертва!
Правда — это жатва!

Особенно выразителен страстный монолог автора, прерывающий повествование об одном окопном дне:

Я хочу, чтоб разделся бог,
чтобы снова бог был наг,
чтобы тот, кто должен долг,
перед нами не был нагл!
Дайте тонким пальцам рояль,
сильным пальцам дайте плуг,
пусть под пальцами будет печаль,
пусть в лесу, в грозу — испуг!

Пусть же ада атомный дождь
не закроет веки в веках,
пусть боятся бог, царь, вождь
Баха, пахаря и рыбака!

Такая вот декларация искренности и естественности. Человеку разрушающему тут противопоставлен человек созидающий, человек культуры в самом широком значении этого слова. (Вспомним, что первоначальное значение латинского слова *cultura* означало «возделывание почвы».) Эти моревские строки перекликаются со строками его современника Иосифа Бродского:

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.

Стихотворение Бродского датируется 1958 годом, когда было написано стихотворение Морева — неизвестно. Я не исключаю влияния, но думаю, что скорее тут проявилось то, что называют «духом времени». Сопряжение Бога и Баха было в его духе вполне. Вспомним, например, Галича:

— Доброй ночи, Бах, — говорит Бог.
— Доброй ночи, Бог, — говорит Бах.
Доброй ночи!..

Или у Татьяны Галушко:

Небо ярче и жестче
Сквозь верховные рощи,
А над рощами всеми
Снега голое время.
Взмахом птичьего пуха
И осеннего праха
Отверзается духу
Близость господа Баха.

Бах был тогда символом некой возвышенной духовности, а вот слова «Бог» и «Господь» писали (хотя и не все) со строчной буквы.

С годами у Морева усиливались чувство одиночества и чувство отчаяния. О своем одиночестве он рассказал в стихотворении «Так хочется к кому-нибудь зайти...»:

Когда бывает тяжело невыносимо,
так хочется к кому-нибудь зайти...

костюм на нем новый
черного сукна
наконец-то
он оделся вполне прилично
лицо у него желтое
и очень задумчивое
наконец-то
он может обо всем подумать
по лицу его ползают
зеленые мухи
наконец-то
они могут по Саше поползть
вот земля застучала
о Сашин гроб
сначала громко
и как-то радостно
а после глухо
и как-то смущенно
а потом чуть слышно
будто устыдясь

вот и Саша Морев
зачем-то умер

мы с ним вместе частенько
мечтали о бессмертье

Июль 1979 — 6 мая 1981

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ

ВОСЕМЬ МИНИ-РАЗБОРОВ

Заметки об иконике и сходных эффектах

Анализ маленького шедевра — соблазн для филолога, мечтающего сказать о тексте «всё» или хотя бы все самое существенное. Ведь шедевры, как большие, так и маленькие, строятся по единым законам, которые на материале простейших форм искусства проступают с особой наглядностью.

**«— ТЫ, ВАСИЛИЙ ИВАНЫЧ, ВСЕ ОБЕШШАИШЬ,
ОБЕШШАИШЬ...»**

Это ответ Анки на угрозу Чапаева вы..ать ее перед строем, если она не будет исправно чистить пулемет.

Тут все более или менее прозрачно. Угроза изнасилования переосмыляется как очередное — заманчивое, но не сдерживаемое — обещание. И на службу этому центральному ходу, «мастер-тропу», ставится целая батарея формальных средств.

Ну, прежде всего — лукавая игра с архетипическим «Обещать жениться — не значит жениться»: Чапаев парадоксальным образом выступает в ролях одновременно жестокого соблазнителя и жалкого импотента.

И конечно — повтор ключевого глагола, наглядно иллюстрирующий неоднократность обещаний, и многоточие, оставляющее хрупкую надежду на их осуществимость.

Далее — бросающаяся в глаза нестандартная (диалектная?) форма глагола, которая прямо остраниет ситуацию, окутывая речь Анки фольклорной аурой деревенских посиделок и заигрываний.

Венчает конструкцию минимальное, но тем более яркое фонетическое отличие нестандартной глагольной формы от стандартной.

С точки зрения одной из литературных норм, «петербургской», вместо *Щ* [шч], то есть сочетания фрикативный + плюс взрывной, здесь звучит удвоенное фрикативное [шш]. В результате обещание предстает — даже на фонетическом уровне! — не точечным, одноразовым (ибо прекращающимся на «взрыве»), а неопределенно длящимся: *Все обещаишь, обещаишь!..* Дление еще больше растягивается, поскольку новообретенное корневое «шш» образует повтор с «ш» суффиксальным — окончанием 2-го л. ед. ч. А тем самым это «шш-ш» и вся серия «обещаний» недвусмысленно вешаются на адресата реплики — вероломного искусителя.

С точки же зрения «московской» нормы, ныне общепринятой, Анка всего лишь заменяет двойное мягкое фрикативное [шьшь] тоже двойным и тоже фрикативным, но твердым [шш]. Красноречивого противопоставления точечности («взрыва») и длительности, увы, не возникает, но некое продление все-таки ощущается — благодаря вызывающей нестандартности двойного твердого «шш», причем не только в произношении, но и на письме.¹ А заодно добавляется еще один эффект: двойное твердое «шш» создает впечатление более определенного, четкого, твердого (и ничем не смягченного) обещания, нарушать которое тем постыднее.

Любопытно, что по ходу анализа этой жемчужины советского фольклора и обсуждения его с коллегами, выяснилось, что сам я, родившийся и проживший первую половину жизни в Москве, почему-то произношу *Щ* на «петербургский» манер — как [шч]). Не потому ли, что, печатаясь в «Звезде», стал петербургским автором? А произноси я *Щ* как [шьшь], я бы, может, и не заметил — не выдумал? — этого эффекта...

В этой связи вспоминается расхождение между «петербуржцем» Пушкиным и «москвичом» Жуковским, который ради точности рифмовки исправил (в посмертной публикации) пушкинское *Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищю* на *Я понять тебя хочу, Темный твой язык учу*. (Анка тем более не поняла бы Пушкина: не рифмовать же *хочу* с *ищю*!) Но последующая традиция вернулась к пушкинскому оригиналу. Так что я тут не в самой плохой компании.

«— ЗНАЕШЬ ЧТО? ПОМЕРЕЩИЛСЯ — И ХВАТИТ!..»

Это из моего любимого «Айболита-66».² Из того эпизода, где между доктором (Олег Ефремов) и Бармалеем (Ролан Быков) идет мысленная, заочная, но сведенная в единый видео- и аудиоряд полемика, и Бармалей, исчерпав аргументы, решает просто-напросто отмахнуться от оппонента. Происходит обнажение приема: киномонтаж, мотивированный игрой воображения антигероя, отменяется им как всего лишь досадное видение.

Тем самым Бармалей предстает контролирующим действие иррациональных факторов, в пределе — нечистой силы. Ведь от обыкновенного человека не зависит, что и когда ему привидится и сколь долго будет длиться этот морок.

Как же устроено наделение Бармалея сверхъестественными способностями? Да как обычно в подобных случаях — с помощью соответствующей литературной техники.

Реплика Бармалея — грамматический парадокс. В своем прямом значении глагол совершенного вида *померещился*, с характерной приставкой *по-*,

описывает непродолжительное однократное действие или состояние, часто связанное с восприятием, например, *показалось, появилось, потеплело, почувствовал, понюхал...*

Но в сочетании с идиоматичной повелительной формулой *и хватит* на это накладывается еще одно типовое значение глаголов с той же приставкой: значение повторного или продолжительного действия, подразумевающего конечный и, как правило, очень ограниченный отрезок времени, в течение которого оно будет продолжаться, например, *покачало* (в отличие от *покачнуло(сь)*), *попрыгал, поиграл, послушал, поэкспериментировал...*

Сочетание звучит до какой-то степени органично потому, что, вообще говоря, есть глаголы с *по-*, способные выступать в обоих значениях, например, *подумал, поглядел, посмеялся*; ср.: *Он подумал, что она права* и *Ты подумай об этом на досуге*. Но *померещиться*, конечно, не относится к числу таких глаголов, и совмещение Бармалеем двух разнородных значений звучит как словесный трюк, игра слов, каламбур — типичная словесная магия.

«— ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ? ЧТО ЖЕ ОНО ВСЕ ПОБЕЖДАЕТ, ПОБЕЖДАЕТ, НИКАК НЕ ПОБЕДИТ?!»

Реплика — из того же «Айболита-66» и даже из того же диалога. И подает ее Бармалей — в ответ на общеизвестную максиму: *Добро всегда побеждает зло*. Он заключает: *Значит, зло-то непобедимо?*

Это опять игра слов, вернее, грамматических категорий. В максиме настоящее время глагола (*побеждает*) употреблено в значении универсального закона, действующего *всегда*, хотя и не обязательно в каждом случае сразу. Бармалей же переосмысляет это настоящее как продолженное, развертывающееся на наших глазах и, значит, еще не достигшее результата. Чтобы усилить эффект продолженности, он повторяет и разнообразит глагольные формы (*побеждает, побеждает, победит*) и снабжает их категорическими характеристиками — кванторами всеобщности (*все, никак*) и отрицанием (*не*).

В каком-то смысле прием здесь тот же, что в предыдущем примере: сказуемое выступает одновременно в двух разных видовременных значениях. Аналогичный грамматический трюк был выявлен Жераром Женеттом в знаменитом романе Пруста, посвященном как раз поискам утраченного времени. Там достаточно уникальные события детства героя излагаются в *Imparfait* — несовершенном прошедшем, призванном описывать события типовые, повторяющиеся.

Бармалей оказывается утонченным грамматистом, подлинным мастером слова. (Недаром это «авторский» персонаж, роль которого исполняет режиссер, он же один из сценаристов фильма!)

4. «— А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ НА ВИЛЬЯМА НАШЕГО ШЕКСПИРА?»

Это мем из еще одного славного фильма того же года — «Берегись автомобиля!».³ Так там высказывается режиссер (его играет Евгений Евстигнев), ратующий за вытеснение профессиональных театров народными. Этой

общей программе соответствует выдвигаемая им конкретная задача — освоение абсолютной вершины театрального искусства, постановки «Гамлета», каковая и происходит по сюжету фильма.

В пределах интересующей нас фразы такое «освоение великого» выражено глаголом *замахнуться* (в окружении сдерживающих замах частиц *не* и *ли*) и местоимением *нашего* (ср. ленинское: «Владивосток далеко, но город-то нашенький!»). Причем дерзкое намерение покуситься на желанный, но недоступный объект, открывающее фразу (*не захмахнуться ли*), к ее концу оборачивается констатацией уже якобы наступившего обладания (по принципу «Было ваше, стало наше»). Контрапункт подчеркнут переключкой двух форм одного и того же местоимения (*нам* — *нашего*). Но этим дело не ограничивается. «Обнашествование» Шекспира (уже имеющее характерный грамматический привкус) сопровождается еще одним языковым трюком.

Порядок слов *Вильяма нашего Шекспира* звучит очень по-простецки, по-свойски, по-нашенски, воплощая установку на «освоение», но является при этом нестандартным, грамматически неправильным — правильнее была бы последовательность *нашего Вильяма Шекспира*. Такая инверсия, состоящая в том, что тесная связь между двумя словами (здесь практически неразрывная — между именем и фамилией) разбивается вставлением между ними «более постороннего» слова (здесь *нашего*),⁴ часто применяется в русской поэзии, позаимствовавшей этот прием из латинской и греческой; ср. *Дева печально сидит, праздный держа черепок* (вместо *держа праздный черепок*). Употребление столь поэтической, возвышенной, до известной степени иностранной и даже античной фигуры (известной специалистам под умопомрачительным терминологическим названием «гипербатон», с ударением на *e*) в современной прозаической речи вторит — на формальном уровне — основной теме эпизода: «освоению далекого». Как же это удается?

Прежде всего — благодаря выбору довольно скромного варианта конструкции: между тесно связанными словами здесь вставлено всего лишь адъективное местоимение (*нашего*), а не предикат или субъект (как в более напряженных конструкциях, начиная с таких, как *праздный держа черепок* или *Трясься Пахомыч на запятках*, и кончая совсем уж вычурными, вроде *И Ленский пешкою ладью Берет в рассеяньи свою*). Главное же — благодаря опоре на готовые — и очень «свойские», семейные — языковые формулы, делающие инверсию естественной, приемлемой, чуть ли не напрашивающейся. Это такие обороты, как *Отец ты наш родной, мать наша сыра-земля* и подобные.

В результате и Шекспир и гипербатон успешно апроприируются, осваиваются, предстают совершенно «нашенскими».

И последнее. Ради простоты аргументации я опустил небольшой фрагмент евстигнеевского мема — как это нередко делается при его цитировании. Полностью он звучит так: *А не захмахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?* То есть между *Вильямом* и *Шекспиром* вставлены еще два слова, собственно, целое вводное предложение, но опять-таки несложное, панибратски свойское, и усложняющее гипербатон, и помогающее понять его, принять и освоить.

5. «ОНА (МОЛЧА МОТАЕТ ГОЛОВОЙ, ТЫЧЕТ ПАЛЬЦЕМ ВВЕРХ)»

Это концовка анекдота, изощренного во всех отношениях: откровенно непристойного, но почти целиком иносказательного; фабульно острого, в частности по гендерной линии; проблематизирующего речевое поведение персонажа; и разрешающегося поразительной пуантой-разгадкой — процитированной в заглавии пантомимой.

А начинается он так:

В лифт, где уже стоит молодой человек, входит девушка.

О н. Вам на какой?

О н а. На второй.

О н (*нажимает вторую кнопку*). А что там?

О н а. Сдача крови. Платят 5 рублей! Разве вам не туда?

О н. Нет, мне на пятый.

О н а. А там что?

О н. Сдача спермы.

О н а. Сколько?

О н. 25.

О н а. О-о?!

Далее повествование прямо перескакивает к развязке, предоставляя слушателю догадываться о том, что ее подготовило:

Неделю спустя в тот же лифт, к тому же мужчине вбегает, запыхавшись, та же девушка.

О н. На второй?

О н а (*молча мотает головой, тычет пальцем вверх*).

Присмотримся к лабиринту сцеплений, на которых строится эта миниатюра.

Непристойное содержание анекдота (и, если угодно, рта героини) напрямую задано всего одним словом, причем достаточно холодным, отстраненным, «научным» (*сперма*). И появляется оно отнюдь не в вызывающе (до почти буквальной рвотности) сексуальной точке нарратива, а в исподволь готовящей ее сугубо деловой и прозаичной. Такая притворная благопристойность типична для сюжетов с табуированной тематикой.

Эта игра в молчанку и становится узловым решением анекдота.

В нарративном плане ключевая сексуальная сцена полностью опускается из текста, становясь его интригующей загадкой и тем более ощутимо реализуясь в ходе неизбежной мысленной реконструкции фабулы слушателем, пытающимся осмыслить концовку.

В линии поведения героини эта загадка принимает форму реального — поистине героического — нераскрывания рта, то есть молчания, *silentium*'а, за которым таится сокровенная жизненная, ну и коммерческая, ценность.

А на вербальном уровне перед нами — очередной опыт работы с языком, знаковой, (не)коммуникабельностью. Литература по самой своей природе пристрастна к таким коллизиям, развитие которых естественно венчается

словесными метаморфозами — тропами, каламбурами, коверканием слов, использованием иностранного акцента, разного рода недоговариваниями, абсурдизмами и даже полной, но многозначительной немотой. В сфере эротических анекдотов эта установка породила целый поджанр, пуантой которого является искажение речи персонажа в результате физического воздействия на его половые/речевые органы.

В случае мужских персонажей таковы прежде всего случаи кастрации, например:

— мгновенный переход героя с низкого мужского голоса на высокий дискант — в результате кастрации, совершенной по ошибке вместо обрезания (осмысленная речь до какой-то степени сохраняется); или

— потеря доверенным слугой сеньора членораздельной речи, оставляющая ему лишь способность бессмысленно бубнить, — в результате попытки кунилингуса с сеньорой, для которой муж на время своего отсутствия предусмотрительно заказал особый пояс невинности со встроенной гильотинкой (осмысленная речь полностью утрачивается — в то время как других любовников прекрасной дамы постигает обычная кастрация).

А в «женском» варианте это — побочные эффекты орального секса, в особенности того, что римляне называли иррумацией; ср., например:

— анекдот, по ходу которого фраза, повторяемая героиней («А ты меня уважать будешь?!»), постепенно обращается в серию бессмысленных слогов («А ты меня ва-ва-ва ва-ва?!»), сохраняющих, однако, исходную просодию (осмысленность речи если и сохраняется, то лишь наполовину); или

— фрагмент из песни Семена Слепакова «Красивая и тупая» (соавтор текста Джавид Курбанов), примечательный, кстати, и своей витиеватой иносказательностью: *Для одной только цели подходит твоя голова. И главный плюс, что в этот момент твоя голова Не в состоянии произносить тупые слова* (речь утрачивается полностью).

В нашем анекдоте разыгрывается вроде бы этот последний вариант — женский и с полной утратой речи. Но бросаются в глаза разительные отличия.

В гендерном плане налицо радикальная смена ролей. Героиня выступает не жертвой унижительной сексуальной позиции, а трикстершей-манипуляторшей, обратившей эту позицию себе на пользу, чтобы пробить провербиальный стеклянный потолок, эмблематически представленный потолком лифта и пятым этажом здания (ранее доступным только мужчинам), куда вертикально направлен ее фаллический палец.⁵

А чтобы сюжет не выглядел слишком закругленным, упрощенным, догматичным, он обрывается на драматически пульсирующей ноте: выдержит или не выдержит, успеет или не успеет, сдаст или не сдаст?!

6. «(КИВАЕТ) YES. — ACTIVE? — (МОТАЕТ ГОЛОВОЙ) NO. — (РАЗВОДИТ РУКАМИ) SORRY!»

Продолжим разговор о взаимодействии слова и дела. В заголовок я вынес пуанту старинного анекдота про британских парашютистов, который приведу немного позже.

Молчание с полным ртом, вынужденное, но и триумфальное, — крайний случай невербальной выразительности (по принципу «Нет слов», «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», «Народ безмолвствует»), предрасполагающий к визуальной разработке.

Вспоминается картун из итальянской серии про неутомимо любопытного «Исследователя Макса» («L'esploretoire Max»; газета «Paese Sera», 1950-е годы).

На первой картинке он останавливается у дверей японского клуба «Джиджитсу»; на второй — вбегает в спортзал, радостно протягивая руку мастеру; на третьей — летит вверх тормашками, брошенный рукой улыбающегося японца.

Вербальность сведена здесь к минимуму — надписи у входа в клуб. Персонажи не произносят ни слова, но сюжетный каламбур на образе протянутой руки прочитывается ясно. В линии Макса с его жадной открытой это жест, инициирующий ознакомление с очередным экспонатом мировой экзотики; в линии японца — боевой прием, требующий парирования. Фокус не только в контрасте двух прочтений одного и того же означающего, но и в иронической полноте совмещения. Японец действует не по злобе, а глубоко профессионально, если угодно, позитивно: он рад продемонстрировать свое искусство. Со своей стороны, Максудается-таки удовлетворить свою неуемную любознательность, обогатить исследовательский опыт.

Двуплановость жеста возможна и при словесном изложении. Ср. «пирожок», переосмысляющий знаменитые строки Окуджавы:

из эротических фантазий
я больше всех люблю одну⁶
где комиссары в пыльных шлемах
склонились молча надо мной

(© [m](http://www.perashki.ru/piro/13597); <http://www.perashki.ru/piro/13597>)

Разжевывать этот сюжет не буду, отмечу разве, что тут любовь побеждает смерть.

Разумеется, полное отсутствие речевых сигналов — лишь крайний случай. Обычно они все-таки налицо, но в сочетании с паралингвистическими, причем не обязательно совершенно невербальными, жестовыми. Собственно словесный текст часто осложняется теми или иными отклонениями от языковой нормы, образующими как бы второй план сообщения. Таковы, например, анекдоты с диалектным произношением (вспомним Чапаева и Анку) или иностранным акцентом.

По улице идет похоронная процессия. Абрамович спрашивает, кого хоронят. Ему отвечают, что Рабиновича, и указывают на гроб. Он подходит к гробу и видит сидящего в нем Рабиновича.

— Рабинович! Вас хоронят? Но вы же живой?

— Ай, кого это интэхэсно?

Еврейский акцент — фонетическое искажение слова (*интэхэсно* вместо *интересно*) — и недопустимая контаминация двух разных предложных

управлений (*кого интересуется + кому интересно*) не только обеспечивают этнический колорит, мотивирующий абсурдность ситуации, но и вторят теме «аутсайдерства», выраженной в реплике «покойника» и впрямую.

Противоположный — и парадоксальный — случай игры с речевыми странностями представляет, наоборот, отведение роли кульминационного эффекта совершенно правильному произношению. Таков анекдот про седуксен (в свое время модную фармацевтическую новинку).

Во врачебный кабинет врывается нервный пациент.

Пациент (*истерически*). Доктор, доктор! Помогите! Не могу! Ой! Ай!

Врач. На что вы жалуетесь?

Пациент (*сбивчиво*). Ой, доктор! Доктор! Ужас! Жена у меня гуляющая! Дочь — двоечница! Я днем и ночью мочусь! Вот и сейчас!.. Помогите!..

Врач (*выписывая седуксен*). Вот, милочка, недельку попейте успокоительное, потом придете ко мне, и мы займемся вашей проблемой вплотную.

Проходит неделя, другая, пациент не является. Через месяц врач случайно встречает его на улице.

Врач. Что же вы не приходите? Или у вас все прошло?

Пациент (*с невозмутимым спокойствием*). Да нет, доктор, всё так же. **Но — это — меня — совершенно — не беспокоит.**

Паралингвистическим аккомпанементом финальной реплики персонажа становится неожиданная нормальность ее произнесения — особенно на фоне предыдущих. Причем эта выдержанность дикции иконически вторит спокойствию говорящего и контрастирует с его диагнозом: недержанием мочи.

Но обратимся к анекдоту о парашютистах

1944 год. Союзники сбрасывают над Германией десант, но у одного из солдат парашют не раскрывается, и он стремительно летит к земле. К счастью, его падение удается остановить другому парашютисту (при рассказывании демонстрируется этот хватательный жест: двумя руками с разных сторон).

Спаситель. Royal Air Force?

Спасаемый (*кивает*). Yes.

Спаситель. Homosexual?

Спасаемый (*кивает*). Yes.

Спаситель. Active?

Спасаемый (*мотает головой*). No.

Спаситель (*разводит руками*). Sorry!..

Здесь жесты тоже сопровождаются словесными репликами, но последние играют сугубо пояснительную роль. Роковую развязку обеспечивает моторика паралингвистической составляющей коммуникативного акта.

Налицо, как в лучших образцах жанра, двуслойный, если не трехслойный, сюжет, постепенно разворачивающийся во всей своей шикарной полноте:

— первым в фокус попадает военный аспект, и дело поначалу идет плохо (парашют не раскрывается), но потом налаживается (благодаря спасительному выбросу рук);

— затем внимание переключается на солдатскую дружбу (парашютисты по-братски обнимаются и знакомятся);

- дружба оборачивается любовью (объятия обнаруживают свой сексуальный характер);
- но далее эта любовь фрустрируется гендерной несовместимостью партнеров;
- и это приводит к гибели одного из них. (Опять любовь и смерть!)

Стоит подчеркнуть, что собрат по оружию и эросу предается смерти не намеренно — и тем более эффектно. Уже само разочарованное разведение рук предстает адекватным иконическим выражением (= паралингвистическим означающим) эмоциональной реакции персонажа (вербально обозначенной словом *Sorry*). А в данных обстоятельствах (высоко в небе) эта эмоциональная, словесная и жестовая реакция оказывается еще и перформативной: отвержение партнера не только констатируется, но и реально осуществляется, причем, так сказать, в высшей мере.

Мотив падения с высоты в результате разжатия удерживающих органов лежит в основе знаменитого басенного сюжета — о вороне и лисице.

Сюжета опять-таки двойного: лисица охотится за сыром, ворона тщеславится воображаемым певческим талантом. Совмещением двух линий становится лесть, в конце концов приводящая к кульминационному жесту — раскрытию рта, нужному, в линии вороны, для пения (= своего рода речевого акта), а в линии лисицы — для изъятия сыра.

Здесь в отличие от предыдущего случая развязка является плодом целенаправленной и довольно жестокой трикстерской деятельности одного из действующих лиц. Лисица выступает в характерной роли творческого персонажа, в сущности, соавтора басни. По ходу сюжета даже разворачивается соревнование двух «художников слова»: тщеславной горе-певицы вороны и мастерицы житейской/светской интриги — кон-артистки лисицы.

В известной степени (меньшей, чем в анекдоте о парашютистах) разжатие рта, приводящее к утрате сыра, иконично по отношению к поведению вороны как «наивной растяпы» да, пожалуй, и перформативно. Но главный фокус перформативности приходится, конечно, на механику лести, безошибочно приводящую к намеченному действию.

Возвращаясь, в свете различия стратегий вокруг операции разжатия (рук ли, клюва ли), к несчастному парашютисту, зададимся естественным вопросом: а нельзя ли было его спасти? Ответ приходит из еще одного старого анекдота (тоже с этническим душком, за который давно пора принести оптовые извинения):

Идет грузин, несет в руках огромный арбуз. Навстречу ему другой: «Гоги, нэ знаешь, каторый час?» Гоги протягивает арбуз: «Падержи, дарагой!» Тот принимает арбуз. Гоги широко разводит руками: «Нэ знаю!»

То есть, несмотря на нерасторжимость слова и жеста, спасение рядового десантника было в принципе возможно — путем передачи его в чьи-то другие руки, но, видимо, помешала неконтролируемая острота переживаний спасителя.

7. «ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА; ПЕЧАЛЬ МОЯ ПОЛНА ТОБОЮ, ТОБОЙ, ОДНОЙ ТОБОЙ...»

А вот пушкинская элегия «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» дает образец редкостного баланса противоречивых чувств.⁷ Прочитированный фрагмент

- составляет четверть (21 слог из 84) всего стихотворения;
- расположен в трех из восьми его строк;
- перетекает из первой его половины во вторую (образуя межстрочный анжамбман);
- выделяется своей повторностью (*печаль — печаль; тобою — тобой — тобой*);
- огласован исключительно повторами обоих гласных рифмовки — *А* и *О* (за шестью ударными *А* идут четыре ударных *О*);
- содержит все три упоминания об адресатке (во 2-м л. ед. ч.);
- и несет программный оксюморон стихотворения («ночная печаль — светла»).

Тематической и структурной центральности фрагмента вторит его уникальная ритмика. Перед нами серия из десяти строго ямбических слов (двусложных, с ударением на втором слоге),⁸ за одним — неизбежным — исключением: амфибрахическим *тобою* в конце женской строки; впрочем, *тобою* — это морфологический вариант ямбического *тобой*, что дважды подтверждается в следующей же строке. Серию вводит тоже ямбическое *легко*, интонационно, однако, объединяющееся в единую синтагму с предшествующим союзом *и*.⁹

Десяток таких слов подряд — отчетливый силовой жест, своего рода ритмический курсив, и он повышает убедительность спорного фрагмента. Парадоксальное утверждение («ночь и печаль — светлы»?!), проговаривается как бы нарочито четко, настойчиво, чуть ли не скандируется — под аккомпанемент словесных и фонетических повторов.

Дело, однако, не сводится к чистой выразительности. Ритмика фрагмента существенно перекликается с его семантикой, давая иконический эффект. Текст, описывающий некое необычное, неправильное, противоречивое и потому неустойчивое эмоциональное состояние, положен на музыку регулярного, правильного, однообразного, неизменного ритма, контрапунктного к выражаемому смыслу. То есть соответствие между ритмом и смыслом налицо, но оно не прямое (как обычно в иконике),¹⁰ а обратное — и потому трудноуловимое.¹¹ С другой стороны, такая контрапунктность сродни внутренней противоречивости «светлой печали», являя случай и прямой иконики — по сходству, а не по контрасту.

Иконичен наш фрагмент и по отношению к теме стихотворения в целом — тому ее компоненту, который можно приблизительно определить как «действие некой надличной силы, заставляющей субъекта любить безотносительно к его воле и обстоятельствам».

Впрямую этот мотив сформулирован в финале (*любит оттого, что не любить <...> не может*) и систематически поддержан отсутствием в тексте упоминаний о лирическом герое и героине в форме именительного падежа (*я* и *ты*): вместо них в нем

фигурирует серия косвенных (*предо мною, мне грустно, печаль моя, полна тобою*), после чего герои вообще пропадают из текста: героиня полностью, а герой — будучи представлен лишь синекдохическим и не вполне конкретным *сердцем* (сначала без субъектного эпитета *мое*, а затем с заменой на совершенно уже безличное *оно*). Страсть не рвется в клочья (ей отведено ровно одно слово: *горит*), а непреложно диктуется некоей объективной логикой, чему на формальном уровне соответствует медлительная членораздельность дикции (в частности, в двух заключительных строках), одним из ярких проявлений которой является эмфатическая пауза на причинном союзе *оттого*, поставленном в редкую для служебного слова анжамбманную позицию перед строкоразделом.¹²

Наш фрагмент участвует в подготовке этого финального анжамбмана, начинаясь после точки с запятой в середине строки (*Мне грустно и легко; печаль моя светла*) и кончаясь полустрокой после межстрочного и межстрофного переноса (*...тобою / Тобой, одной тобой*). Более того, он предвещает и подчеркнутую замедленность последней строки, поскольку пронизывающие его повторы (лексические, синтаксические, фонетические и ритмические) работают на четкую раздельность (а не текучую связность) артикуляции.

Таким образом, фрагмент служит иконической проекцией как своего собственного смысла («полная урегулированность неустойчивого противоречивого состояния»), так и смысла элегии в целом («непреложность объективной логики чувств»).

8. «В МАЕ... В ОДНОМ ИЗ ТРАВЕРСОВ ТРАНШЕИ»

Начну с любимого эпизода «Театрального романа».

Секретарша просит молодящуюся актрису заполнить анкету, та долго отказывается, потом наконец называет свою фамилию, а на настоятельный вопрос «Когда вы родились?» после серии капризных экивоков отвечает: «Я родилась в мае, в мае!»

Скоро уже полвека, как я восхищаюсь этой «сценой в предбаннике»¹³ совершенно бескорыстно — не задумываясь о ее возможных источниках, как вдруг недавно в памяти всплывает нечто похожее из «Тристрама Шенди».¹⁴

Опытная женщина, подумывающая о выходе замуж за ветерана, раненного, как известно, в нижнюю часть тела, спрашивает его о точном месте ранения. В ответ он на подробной карте поля битвы указывает ту точку «в одном из траверсов траншеи <...>, где он стоял, когда его поразило камнем».

Сходство неожиданное, но сильное, поскольку одновременно — тематическое: в обоих случаях речь идет о сокрытии важнейших интимных данных (возраст; половая способность)

— и структурное: оба раза сокрытие достигается благодаря каламбурной игре с базовыми смыслами (временем, пространством).

Утверждать на этом основании, что Булгаков опирался на Стерна, рискованно, хотя разобраться, наверное, стоит. Но любопытно, что еще одной

классической параллели к рассмотренной паре мне припомнить не удастся, поскольку никакой техники для поиска таких переключек (поэтических изоглосс, или, если угодно, изо-топов) пока не существует.

Впрочем, вне классики, в «низкой» стилистической сфере анекдота, параллели находятся.

- Доктор, помогите! Сделайте так, чтобы у меня были дети! Понимаете, у моего дедушки не было детей, у моего папы не было детей...
- Как это не было? А вы откуда?
- Я — из Одессы!

Подмена «происхождения от отца» «происхождением из Одессы» во многом аналогична подмене года месяцем и места на теле точкой на карте/местности. Налицо и сексуальные коннотации подмены (сокрытие незаконнорожденности), и игра слов.

Правда, каламбур на предлогах не столь безупречен, как у Булгакова: там вопрос *когда* подразумевает *в каком году*, и ответ дается с тем же предлогом: *в мае*; в анекдоте же предлоги разные: *у папы* (и подразумеваемое *от папы*), но *из Одессы*. Вроде бы несовершенен и ключевой каламбур эпизода из «Тристрама Шенди»: на теле ранят *куда, в руку, в ногу, в + вин. пад.*, а на местности — *где, в траншее, на поле битвы, в/на + предл. пад.* Но это по-русски, а по-английски в обоих случаях одно и то же: в *where u in* значения «направительности» и «локативности» нейтрализуются.

Каламбурное сопряжение/приравнивание разного, в частности на уровне предлогов, служебных слов, грамматических форм, глагольных управлений и т. п., — широко распространенный прием. Типовой аграмматизм (силлепс) *Шел дождь и два студента, один в калошах, другой в кондитерскую* предлагался даже в качестве эмблематического ключа к тропике Пастернака. Но для интересующих нас здесь случаев характерна не только сама грамматическая каламбурность, но и та неуклюжая скрытность, с которой вторым, желанным значением оборота безуспешно пытаются подменить неизбежно напрашивающееся первое.¹⁵

Еще два примера из анекдотов. Один — с игрой опять-таки на служебном слове:

- Грузины лучше, чем армяне!
- **Чем, чем** лучше?!
- **Чэм** армяне!!!

Здесь слово *чем* выступает в радикально разных значениях: союза, управляющего сравнительной конструкцией (*А лучше/интереснее..., чем В*), и местоимения в твор. пад., указывающего на параметр, по которому производится сравнение (*А лучше/интереснее... В тем, что [в большей мере] обладает свойством С*). Страстное настояние говорящего на превосходстве грузин комически обнажается бездоказательно тавтологическим повтором *чем* в первом значении в ответ на запрос о втором.

Другой пример — анекдот с более обычной лексической игрой.

- Рабинович, почему вы не были на **последнем** партсобрании?
- Если бы я знал, что оно **последнее**, я бы обязательно пришел.

Это каламбур на очень близких значениях слов *последний*: «последний в пределах некоего подразумеваемого отрезка времени» и «последний вообще» (ср. аналогичное соотношение между значениями предлога *в* у Булгакова и у Стерна). Но характерно опять-таки невольно прорывающееся подспудное желание, чтобы восторжествовало не значение, предлагаемое говорящему его собеседником, а другое, экзистенциально для говорящего предпочтительное. При этом динамика подмены может быть различной и даже противоположной: герои Булгакова, Стерна и одесского анекдота хотят скрыть реальное положение дел (возраст, ранение в пах, незаконнорожденность), а герои двух последних анекдотов, напротив, проговариваются о своих предпочтениях. Впрочем, проговариваются так или иначе они все.

Чтобы покончить с мотивом «сокрытия/проговаривания», приведу еще один, уже откровенно эзоповский, анекдот советских времен.

Рабинович получает письмо из Америки от брата, который сообщает, что у него родилась дочка, но в стране депрессия, работы нет, деньги кончаются, и он подумывает о скорейшем переезде в СССР. Рабинович отвечает:

- Прекрасная мысль. Выдавай дочку замуж и приезжай.

Это старательно завуалированная двойная подмена:

- вопроса «Переезжать ли?» — вопросом «Когда переезжать?»
- и вроде бы даваемого ответа на второй: «Немедленно», — подразумеваемым «В отдаленном будущем, читай: никогда».

(Очень похоже на *Родилась в мае* и *Ранен в траншее*.)

Как видим, одна и та же схема лежит в основе незамысловатых анекдотов и образцов литературной классики. Структура последних, конечно, не сводится к этому элементарному ходу, хотя им и подсказываются некоторые их общие черты. Так, в обоих текстах педалируется комический контраст «благопристойно высокого» с прикрываемым им «оскорбительно низким». И оба раза каждый из полюсов развертывается в соответствующие красноречивые детали, а приподнятая интонация накладывается на подчеркнутый прозаизм описываемого.

Но дальше вступают в действие различия, диктуемые,

- во-первых, тематикой самих сюжетов: одного о проблемах с мужской потенцией, другого о женских претензиях на молодость;
- и, во-вторых, стилистикой авторов: ироническим сентиментализмом XVIII века у Стерна и сатирой на театральные нравы XX века у Булгакова.

В главке из романа Стерна эпизод безуспешного допроса дяди Тоби вдовой Водмен описывается всеведущим рассказчиком в 3-м лице и повествование ведется

- в нарочитом высокопарно-трогательном ключе:

сказано было ему таким **нежным тоном** и так искусно направлено **в сердце** дяди Тоби;
с такой **девической стыдливостью** поставил палец;

нотка **человеколюбия, усыпляющая подозрение** <...> нотка, что **накидывает на деликатный предмет покровы**;

— с длинейшими периодами, например:

Но, когда миссис Водмен завернула окольной дорогой в Намюр, чтобы добраться до паха дяди Тоби, и пригласила его атаковать вершину передового контрэскарпа и взять при поддержке голландцев, со шпагой в руке, контргарду Святого Роха — а затем, касаясь его слуха самыми нежными тонами своего голоса, вывела его, окровавленного, за руку из траншеи, утирая слезы на своих глазах, когда его относили в палату, — Небо! Земля! Воды! — все в нем встрепенулось — все природные источники вышли из берегов — ангел милосердия сидел возле дяди Тоби на диване — сердце его запылало — и, будь у него даже тысяча сердец, он их сложил бы у ног миссис Водмен (в переводе это ровно 100 слов. — А. Ж.);

— с привлечением мифологических фигур:

эта нотка достаточно отчетливо звучала **у змия в его разговоре с Евой**;

ангел милосердия сидел возле дяди Тоби на диване;

богиня Благопристойности, если она была там самолично — а если нет, так **ее тень**, — покачала головой и, погрозив пальцем перед глазами миссис Водмен, — запретила ей выводить дядю Тоби из заблуждения;

— и риторическими обращениями к мировым стихиям и персонажам романа:

когда его относили в палату, — **Небо! Земля! Воды!** — все в нем встрепенулось; **Несчастливая миссис Водмен!**

Но сквозь этот сентименталистский дискурс все время проглядывают медицинские реалии:

далеко ли от бедра до паха и насколько больше или меньше пострадает она в своих чувствах **от раны в паху, чем от ишиаса**;

дает допрашивающему право входить в такие **подробности**, как если бы он был **вашим хирургом**;

— Где же [*whereabouts*],¹⁶ дорогой мой <...> получили вы этот **прискорбный** удар? — Задавая свой вопрос, миссис Водмен бросила беглый взгляд на **пояс у красных плисовых штанов дяди Тоби**.

А главное, игриво подсвечивая разговоры о природе прискорбного ранения, через весь текст проходит лишь слегка завуалированный образ «фаллической пенетрации»:

так **искусно направлено** в сердце дяди Тоби, что каждый из этих вопросов **проникал туда в десять раз глубже, нежели самая острая боль**;

миссис Водмен бросила беглый взгляд на **пояс у красных плисовых штанов дяди Тоби**, естественно ожидая, что последний самым лаконичным образом ответит ей, **ткнув указательным пальцем в это самое место**;

мог во всякое время **воткнуть булавку в то самое место**, где он стоял, когда его поразило камнем;

с <...> девической стыдливостью **поставил палец вдовы на роковое место**.¹⁷

А что делает Булгаков? В согласии с названием главы и заглавной темой романа он (кстати, не только романист, но и драматург) строит эпизод как комическую сценку, где голос объективного повествователя уступает главное место речам и игре действующих лиц, в первую очередь героини — актрисы Пряхиной. На нее возлагается житнетворческая роль поставщицы высокого дискурса, а на ее собеседницу-секретаршу — подача отрезвляющих реплик.

Центральным нервом лицедейского перформанса героини сделано ее настояние (усиленное систематическими повторами слов) на своем неувядающем творческом цветении, свидетельством которого является ее известный портрет.

В предбанник **оживленной походкой** вошла дама, и <...> я узнал в ней Людмилу Сильвестровну Пряхину **из портретной галереи**. Все на даме было, **как на портрете**: и косынка, и тот же платочек в руке;

Вбежав, дама засмеялась переливистым смехом и воскликнула:

— Нет, нет! <...> Неужели вы не видите?

— А что такое? — спросила Торопецкая.

— Да ведь **солнышко, солнышко!** — восклицала Людмила Сильвестровна, **играя платочком** и даже немного **подтанцовывая**. — **Бабье лето! Бабье лето!**

Последние слова актрисы не просто акцентируют ее наигранную веселость, но и эмблематически воплощают тему «второй, внеочередной молодости» (*бабье лето* — это возвращение летней погоды уже среди осени); дальнейшее «чудесное омоложение путем обращения времени вспять» произойдет при упоминании о *мае*.

Деловой вопрос Торопецкой (*А что такое?*) впервые перебивает эту игру, и за ним вскоре последует целая серия столь же кратких, тихих и все более неприятных для актрисы вопросов и замечаний:

— Тут анкету нужно будет заполнить;

— Не нужно кричать, Людмила Сильвестровна, — тихо заметила Торопецкая;

— Когда вы родились?

— Год нужен, — тихо сказала Торопецкая.

Эти реплики, неуклонно ведущие к установлению возраста актрисы, сбивают ее игру, и в ней появляются противоположные обертоны — жалобы на удушье ее творческой натуры чуждыми ей оскорбительно прозаическими административными реалиями. Постепенно проступает также мотив «(не) сокрытия». Все эти подтемы контрапунктно сплетаются, давая, в частности, кульминационное «в мае, в мае!».

Веселье Людмилы Сильвестровны прекратилось сразу, и <...> **на портрете я теперь бы ее <...> не узнал**;

— **Какую еще анкету? Ах, боже мой!** <...> Только что я **радовалась солнышку <...> вырастила зерно**, чуть **запели струны <...>** и вот;

— **И ничего я не вижу. Мерзко напечатано <...>** Ах, **пишите вы сами <...> я ничего не понимаю в этих делах**;

— Ну, Пряхина <...> ну, Людмила Сильвестровна. **И все это знают, и ничего я не скрываю**;

- **Когда вы родились;**
- Ну, хорошо, хорошо. **Я родилась в мае, в мае!** Что еще нужно от меня?
- **Год нужен** <...>
- Ох, как бы я хотела <...> чтобы **Иван Васильевич** видел, как **артистку** **истязают перед репетицией!**..

Так, перефразируя знаменитую формулировку Чуковского, частушка предстает исполненной на органе, вернее, на двух, причем разной конструкции.

ЛИТЕРАТУРА

- Бобров Сергей* 1916. Предисловие // Божидар. Распевочное единство / Ред., предисл., коммент. С. Боброва. М. С. 5—10.
- Булгаков Михаил*. 1966. Театральный роман [Записки покойника] // *Он же*. Избранная проза. М. С. 507—542.
- Гершензон М. О.* 1919. «Станционный смотритель» // *Он же*. Мудрость Пушкина. М. С. 122—127.
- Жолковский А. К.* 2014. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»: восемь строк о свойствах страсти и бесстрастия // *Он же*. Поэтика за чайным столом и другие разборы. М. С. 155—166.
- Стерн Лоренс* 1968. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена / Пер. А. А. Франковского // *Он же*. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. М. С. 25—540 (<https://imwerden.de/publ-3891.html>).
- Щеглов Ю. К.* 2014. Поэтика обезболивания: стихотворение «Сердце бьется ровно, мерно...» // *Он же*. Избранные труды. М. С. 284—318.
- Якобсон Роман* 1985. Ретроспективный обзор работ по теории стиха // *Он же*. Избранные работы. М. С. 239—269.

За замечания и подсказки автор благодарен В. А. Мильчиной, Ладе Пановой, Елене Петровой, Игорю Пильшикову и Н. Ю. Чалисовой.

¹ А в языковой практике образованного читателя письменная норма влияет и на восприятие звучащей речи: одно дело — элегантно *Щ* со своим завитком, другое — простецкая пара-тройка *Ш!*

² Киностудия «Мосфильм», 1966; сценаристы Ролан Быков и В. Коростелев; режиссер Ролан Быков.

³ Киностудия «Мосфильм», 1966, сценаристы Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов; режиссер Эльдар Рязанов.

⁴ Этот ход повторен в первой строчке стихотворении Пригова «Шостакович наш Максим...» (см. его книгу «Написанное с 1975 по 1989»).

⁵ Разумеется, до зрелого феминизма ей далеко; скорее она напоминает героиню чеховской «Анны на шее» — жертву, оборачивающуюся мучительницей.

⁶ Встречается вариант: *...меня преследует одна*.

⁷ Подробный разбор см. в: *Жолковский 2014*; здесь я сосредоточусь на нескольких не рассмотренных там иконических тонкостях.

⁸ Роман Якобсон (1981: 250, 261—264) назвал, вслед за Сергеем Бобровым (1916), такие строки «стопобойными» и отметил (на материале английской поэзии) в качестве одной из выражаемых ими тем «дух торжественности». Ю. К. Щеглов (2014: 292—293) усматривает в аналогично построенной 1-й строчке стихотворения Ахматовой «Сердце бьется ровно, мерно...» (правда, там не 4-ст. ямба, а 4-ст. хорей) «наилучшее отображение ровно бьющегося сердца» и — в контексте всего стихотворения — тему «Успокоения с оттенком сна или транс». А в партернаковской строчке *Стихи мои, бегом, бегом* (тоже, кстати, открывающей стихотворение) слышится ритм равномерно подстегиваемого бега.

⁹ Эта трехсложная — как бы анапестическая (благодаря пропуску метрического ударения на *и*) — синтагма, несущая тему «легкости», образует четкий контраст к отчетливо «тяжелой» предыдущей (*Мне грустно*), с ее двумя ударениями (внеметрическим на первом слове и метрическим на втором) и скоплением семи согласных (в *и легко* их всего три). Тем самым сразу очень иконично задается главный парадокс стихотворения.

¹⁰ Ср. строки, приведенные в предыдущем примечании.

¹¹ Ср. классический образец обратного предвестия в «Станционном смотрителе» (разгаданный в *Гершензон 1919*): картинки на стене станции, иллюстрирующие притчу о блудном сыне, ложно предсказывают, а на самом деле контрастно оттеняют реальную развязку сюжета.

¹² О том, как это реализовано на формальных уровнях текста, см.: *Жолковский 2014*: 165—166.

¹³ См.: *Булгаков 1966*: 563—565 (гл. 10. Сцены в предбаннике; см.: https://librebook.me/zapiski_pokooinika/vol3/10).

¹⁴ См.: *Стерн 1968*: 530—533 (т. 9, гл. XXXVI; оригинал см.: <https://www.fulltextarchive.com/page/The-Life-and-Opinions-of-Tristram-Shandy10/> или в так называемом «флоридском издании»: <https://archive.org/details/lifeopinionsoftr0002ster/page/n9/mode/2up>).

¹⁵ Ср. кстати, силлептический ответ покойного В. В. Жириновского на вопрос о его происхождении: «Мать — русская, отец — юрист».

¹⁶ Заметим, что местоименное наречие *whereabouts*, «в каком месте», идеально — гораздо лучше, чем рус. *где* и даже англ. *where*, — покрывает оба необходимые для игры слов значения: не только, «где на местности», но и «куда на теле» был ранен дядя Тоби.

¹⁷ Игра с двусмысленным тыканием «в это место» продолжится в гл. XXVIII, где она будет продублирована на уровне второстепенных персонажей: капрала Трима и миссис Бригитты (см. с. 533).

ХВАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ РУГАТЬ

Ольга Великанова. Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма / Авторский перевод с английского.

М.: Новое литературное обозрение, 2021

Для нас советские тридцатые — это в первую очередь миф, который мы знаем по художественным книгам и фильмам. Миф — не в смысле ложных сведений, а в смысле особого эпического восприятия той информации, которой мы владеем. И этому мифу, каким бы он ни представал в нашей голове, обязательно нужны научные подпорки. Центральным элементом мифа, безусловно, выступает Большой террор, и к нему в итоге сводятся все размышления об этом монументальном десятилетии. Такова и книга Ольги Великановой, профессора Университета Северного Техаса. Она сосредоточивает свое внимание на общественной дискуссии, которую партия организовала вокруг готовящейся конституции. Но главным вопросом, на который пытается ответить ее книга, все так же остается вопрос о причинах Большого террора.

Великанова предлагает пересмотреть устоявшийся тезис о показном характере демократизма конституции: мол, записанные в ней беспрецедентные политические и электоральные свободы были нужны руководству страны только в пропагандистских целях, чтобы побравировать превосходством советского общественного устройства над западным, а реализовать их власть никогда не стремилась. Исследовательница же полагает, что в середине десятилетия Сталин и некоторые его сподвижники (в первую очередь Авель Енукидзе) на самом деле верили в то, что бесклассовое общество вот-вот наступит. С их точки зрения, люди готовы были к социальному примирению после коллективизации и голода 1932—1933 годов, а значит, могли бы воспользоваться новыми свободами для укрепления власти большевиков. В начале тридцатых партия давила людей хлебозаготовками и раскулачиванием и радикализовала антирелигиозную кампанию. Теперь же, ожидая нового общественного консенсуса, как верующие чают воскресение мертвых, партийные руководители готовились «отблагодарить» народ за тяготы первой пятилетки реальной демократизацией выборных процедур и расширением гражданских прав.

На местных партсобраниях стали выносить на обсуждение проект конституции, спрашивали, что думают трудящиеся. Мнения трудящихся, выраженные на собраниях или в письмах в Москву, показали: никакого консенсуса не будет. Конституция обещала отмену классовой дискриминации,

но сельские активисты и беднота, давно обжившие дома раскулаченных, боялись их возвращения из ссылки и уравнивания в правах. Крестьяне, превратившиеся в колхозников, завидовали городскому пролетариату, которому, в отличие от них, новая конституция обещала пенсию и социальное страхование. Проекты статей о свободе ассоциаций побудили граждан требовать возвращения крестьянских советов и легализации церковных общин. Результаты дискуссии удивили Кремль. Предложения из низов приняты не были, а ответом на них стал сталинский тезис об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма и приказ № 00447, запустивший Большой террор и направленный в первую очередь против кулаков, возвращающихся из спецпоселений.

В книге рассказано много маленьких историй простых людей: одни жалуются на километровые очереди за хлебом, другие пытаются сбежать в кино со скучного партсобрания, третьи делятся искренними надеждами на установление справедливого строя. Всё это Великанова восстанавливала по письмам, стенограммам собраний и дневникам. Исследовательница разделяет людей на условных «либералов» и «консерваторов»: первые поддерживают демократизм конституции и ждут, когда можно будет воспользоваться ее плодами, вторые упирают на ценности Гражданской войны, не верят в возможность мира с классовыми врагами, да и не хотят его. Мы видим, что в середине тридцатых была массовая низовая политическая активность, автономная от Кремля, и в этом, видимо, состоит один из главных выводов книги. Жутко понимать, что вся эта активность вскоре захлебнется в крови Большого террора и до конца восьмидесятых аполитичность станет народным кредо.

Николай Родосский

Юлиан Фрумкин-Рыбаков, Ирина Булина, Евгений Овечкин. Броня России.
СПб.: Узелковое письмо, 2022

Да не введет читателя в заблуждение гремящее название этой книги: ее содержание далеко от официоза и военно-патриотического кимвала. Перед нами — «семейные хроники», составленные на основе фамильных архивов российских металлургов Булиных — Фрумкиных — Рыбаковых, и охватывающие период с конца позапрошлого века до начала нынешнего. Впрочем, несомненный интерес эти хроники представляют именно в силу того, что обстоятельства приватной жизни людей здесь являются неотъемлемой частью истории страны — в том числе истории военной. Противоречивый и трагический XX век отражен в зеркале частных судеб, объединенных родством, профессией и местом действия — прежде всего городом Колпино.

По словам одного из соавторов книги, поэта Юлиана Фрумкина-Рыбакова, перефразировавшего известное выражение Эжена-Мельхиора де Вогюэ о русской литературе, герои этой книги «вышли из шинели Адмиралтейских Ижорских заводов», где с 1866 года было организовано производство броневых плит для военных кораблей. Перед читателем проходит череда *бронетворцев*, среди которых — Николай Булин, самородок из крестьян, ставший видным

металлургом, изобретателем особой производственной печи, названной его именем. Обласканный поначалу советской властью, в годы Большого террора он был арестован. Умер в 1942-м по дороге в эвакуацию. Судьбы других героев книги также неотделимы от потока Истории. Принадлежавшие к технической интеллигенции, эти люди оказались под ударом в период индустриализации и борьбы с «вредительством». Высокой нравственной оценки достойны изыскания, проведенные Фрумкиным-Рыбаковым ради того, чтобы вернуть из тьмы забвения имена талантливых ижорских инженеров, создателей первого советского блюминга, арестованных по делу «Промпартии», — А. Г. Зиле, Н. Л. Мануйлова, К. Ф. Неймайера, В. А. Тилле.

Материалы, составляющие книгу, пестры, мозаичны, они разнятся и по жанру, и по стилю изложения, и по «оптике» взглядывания в прошлое. Но объединяет их эффект человеческого присутствия, ощущение живого дыхания. Своеобразный контрапункт составляют страницы, написанные Фрумкиным-Рыбаковым о судьбах репрессированных инженеров и воспоминания его матери Любви Рыбаковой. Возвышенный образ мыслей, идейность, оптимизм — этот тип молодежного сознания (быть может, лучшее, что было порождено ранней советской действительностью) во всей полноте запечатлен в ее записках. Картина мира героини этих записок гармонична, ее жизнь и жизнь ее товарищей полна высокого смысла — потому-то, наверное, и времени тому неумному, жадному до жизни поколению хватало на всё — и на заводскую работу, и на самообразование, и на творчество. Именно это поколение победит в войне и поднимет страну из руин. И, читая написанное Любовью Рыбаковой, невольно проникаешься симпатией не только к простым труженикам советского тяжпрома, но и к виденным ею «вживую» коммунистическим вождям — Кирову, Ворошилову, Орджоникидзе, которые для автора прежде всего живые люди, по-своему симпатичные.

Трогательны и одновременно страшны детские воспоминания ее родственницы — инженера, ученого, изобретателя Ирины Булиной. Самое ценное в них, пожалуй, — детали повседневной жизни Колпино, Ленинграда и Тюмени накануне и во время войны. Известно ли, например, читателю, что ленинградцам выдавались специальные фосфорные значки, чтобы не наталкиваться друг на друга во время затемнения? Поистине сюрреалистична описанная Булиной картина плывущих зеленоватых огоньков в кромешной городской тьме. Но более всего запоминается эта простая, но многое объясняющая авторская мысль: «Лишний шанс выжить давала нам любовь».

Любовь помогала не только выжить, но и сохранить подлинно человеческие качества в нечеловеческой ситуации блокадного чистилища. Отдельный интерес представляет раздел книги, написанный петербургским историком, некрополистом Евгением Овечкиным, знакомым читающей публике, в частности, по циклу книг и статей, посвященных истории рода Врангелей (авторская серия «Wrangeliana Rossica» и др.). Его повествование начинается с рассказа о Еврейском кладбище, которое, как и любое старинное кладбище, являет собой некий текст или, точнее, гипертекст, ведь каждое имя на камне окликает сотни других имен, каждый узелок судьбы связан со множеством других таких же узелков. «Могилы не молчат. Могилы вещают о судьбах» —

это лейтмотив очерка «Блокадная Антигона». Блокада — время, когда границы между Петрополем и Некрополем были полустерты, и полустертой оказалась граница между жизнью и смертью горожан. Примечательны азарт и страстность исследователя, излагающего почти детективную историю своего знакомства с уникальными человеческими документами, содержание которых вызывает у автора очерка не просто глубокое потрясение, а едва ли не катарсис — в полном соответствии с очистительным духом греческих трагедий. Мощная авторская эмпатия позволяет читателю буквально кожей прочувствовать удивительную (и в то же время обыденную для блокадных будней) историю женщины, которая в морозном январе 1942 года десять верст везла на санках тело умершего брата, чтобы похоронить его рядом с могилами предков (на обратном пути ей пришлось везти домой ослабевшего, полуживого мужа). Это — подвиг самоотвержения, действительно достойный античной героини, пошедшей на смертельный риск по долгу крови. Есть все основания полагать, что этот случай не единичен, но о подавляющем большинстве фактов «бытового стоицизма» мы просто не знаем. Тем ценнее свидетельства, собранные под обложкой «Брони России».

Броня России — это ее люди. Честные труженики, бескорыстные служаки, настоящие интеллигенты, для которых слова «долг», «порядочность», «Родина» — отнюдь не пустые звуки. О них и рассказывает эта книга.

Александр Вергелис

Михаил Иванов. Поиск слова. Анализ и интерпретация художественного образа (сборник статей).

СПб.: PETRONIVS, 2022

Значительные события и в жизни, и в искусстве, как правило, вызревают неспешно и возникают именно тогда, когда они наиболее востребованы. В них есть онтологическая основа, задействован глубоко личный и в то же время общий для современников опыт. Таким событием видится сборник статей петербургского художника Михаила Иванова, вышедший в издательстве «PETRONIVS».

Эти статьи публиковались в журнале «Звезда» на протяжении ряда лет — с 1990-х до 2010-х годов — и были отмечены премией журнала в разделе «Эссеистика и критика». В настоящем сборнике они впервые собраны воедино и, что особенно ценно, сопровождаются многочисленными иллюстрациями (их не было в журнальной версии). Отдельные статьи сборника были переработаны и существенно дополнены.

Автор сборника выступает как самобытный художественный критик и культурфилософ со сложившейся мировоззренческой позицией и продуктивным методом постижения художественного образа: через детальное рассмотрение частных автор выходит к истолкованию образа в сквозной исторической перспективе от первобытности до современности. Такой подход открывает широкие возможности истолкования художественного образа — от пластического анализа до широкого культурологического контекста

и от бытовых наблюдений до богословской интерпретации. В осуществлении синтеза эстетического переживания и аналитического дискурса М. Иванов активно использует не только понятийный аппарат, но и метафорическую артикуляцию образа, язык символов. Поиск точного и выразительного слова, адекватного пластическому образу, — одна из важнейших авторских задач, и этим объясняется название сборника. Лексическое богатство текстов Михаила Иванова на фоне общего для наших дней оскудения языка поистине поразительно.

При всем жанровом, тематическом, сюжетном различии входящих в сборник статей они обнаруживают благодаря своей мировоззренческой и методологической основе несомненное внутреннее единство.

Сборник открывается статьей «Конфессиональные руслу европейской живописи». Рассматривая картины, казалось бы, далекие от религиозной тематики, автор демонстрирует плодотворную перспективу их конфессиональной интерпретации, равно значимой как для сакрального, так и для секулярного искусства. В статье, посвященной творчеству современного петербургского художника Валентина Левитина, содержатся глубокие размышления о его причастности к общеевропейским и национальным архетипам культуры. Некоторые статьи имеют интригующие названия (например, «Чурики», «Черная точка иконного лика», «С курицей на поясе»). Они оправдывают читательские ожидания необычных и ярких открытий. В центре сборника помещена статья «Нагое и укрытое тело в искусстве Европы», обширная тема которой рассматривается сквозь призму разных культурных эпох и стилей. А маленький аналитический шедевр, посвященный картине Федора Васильева «Оттепель», раскрывает в «наиболее интимной глубине» национальный характер русской пейзажной живописи. В итоговой статье, где тщательно анализируется стихотворение О. Мандельштама «Ласточка», особенно выразительно проявился разработанный автором метод: через внимание к каждой детали выходить к обобщениям метафизического уровня.

Найденный подход к постижению образа открывает возможность актуального прочтения традиции — а сегодня это наиболее востребованная тема гуманитарного знания. Способность одинаково зорко видеть и уникальное и универсальное, через драгоценные частности прозревать красоту целого — несомненное и редкое достоинство авторского мировоззрения, явленного в этой неординарной и своевременной книге.

Ольга Сокурова

Ричард Павлов. Отречение: Крестный путь Бенедикта XVI.

СПб.: Нестор-История, 2021

Первая книга о 265-м папе римском Бенедикте (2005—2013; с 2013 — «папа на покое»; в миру — Йозеф Ратцингер; род. в 1927 г.) на русском языке. Увеличенный формат. 450 страниц. Множество великолепных иллюстраций: потрясают прежде всего *красота* и *чистота* одеяний понтифика и его свиты, лиц этих людей.

На важности такого ощущения настаивает и автор книги — историк Католической церкви, главный редактор портала «Papst Press», основатель медиапроекта «Католическая цивилизация», посвящая отдельную главу высказываниям папы о красоте и искусстве: «Единственную подлинную апологию христианства можно свести к двум аргументам: это святые, которых Церковь произвела на свет, и искусство, выношенное в ее лоне. Господь вызывает доверие благодаря великолепию святости и величию искусства... <...> христиане... должны продолжить делать свою Церковь факелом прекрасного, а значит, истинного, без которого мир станет первым кругом ада»; «Богослов, который не любит искусство, поэзию, музыку, природу, может быть опасен. Эта слепота и глухота по отношению к красоте не второстепенна, она обязательно отразится и в его богословии»; «...злой дух все время желает испачкать творение (которое, по выражению Творца, «прекрасно весьма». — *А. П.*), чтобы идти наперекор Богу и сделать неузнаваемой Его истину и красоту».

Невозможно не согласиться с Ричардом Павловым, что здесь один из важнейших аспектов для понимания необычайной судьбы Бенедикта XVI — третьего римского первосвященника, отрекшегося от престола (первым был Целестин V в 1294 году, причисленный к лику святых уже в 1313-м, но помещенный, невзирая на это, в ад «суровым Дантом», а вторым — Григорий XII в 1415-м). Будущий папа был выдающимся ученым-теологом, а, став кардиналом, возглавил Конгрегацию Вероучения, пекущуюся прежде всего о сохранении «истины и красоты» христианского учения от посягательств «злого духа», жаждущего ценности эти «испачкать» и исказить. Свое избрание на престол Святого Петра он осознавал как предначертанный ему крестный путь. Что и не заставило себя ждать.

Биограф понтифика подробно и аргументировано показывает, как Бенедикта, чуждающегося политики (в отличие, например, от его предшественника Иоанна-Павла II, Кароля Войтылы, отчетливо политизированного и ангажированного), втягивают в постоянные публичные разбирательства и скандалы — будь то расследования и публикации о педофилии в католическом клире или неадекватная реакция мусульманской пропаганды на его высказывания об опасностях исламистской экспансии... И так далее и так далее... По плечу ли это папе?.. И по годам ли ему 24 международных визита, 34 поездки по Италии (за восемь лет понтификата), две еженедельные проповеди — на площади Сан-Пьетро и из окна Апостольского дворца?..

Но не будем спешить с выводами — каждый раз останавливает нас повествователь. И он прав: такие решения, как отречение Бенедикта, принимаются, разумеется, не по причине нравится/не нравится и даже не по причине смогу/не смогу. Более того: само это решение надо еще верно интерпретировать.

Оказывается, об отречении задумывались и Павел VI и Иоанн-Павел II, о чем сохранились документы. Возможно, это было бы верным решением для последнего, закончившего свой понтификат в состоянии старческого слабоумия... Но опять же автор предостерегает нас от поспешных суждений и приводит слова Бенедикта XVI о том, что страдания его предшественника возвысили и очистили Церковь и дали видевшим их пример духовного подвига.

А главное: само отречение папы Бенедикта (по мысли его ближайших сотрудников и автора книги), по существу, не является отречением; папа продолжает идти своим крестным путем в качестве папы, остается папой для многочисленных верующих.

И я, читатель, верую в это — *ибо красиво*.

И еще потому, что мне нравится то, что папа Бенедикт говорит: «...если я пытаюсь представить, каким будет Рай, мне всегда представляется пора моей юности, моего детства. Насколько мы были счастливы в той атмосфере доверия, радости и любви, и я думаю, что в Раю должно быть что-то подобное, как было в моей молодости».

Банально, скажете? Но ведь произнесено это очень трезвым человеком, так ответившим на вопрос «Избирает ли папу Святой Дух?»: «Есть слишком много примеров Римских Пап, которых Святой Дух, разумеется, не избрал бы».

Стоит добавить, что книга снабжена переводами всех прощальных выступлений папы Бенедикта и написана отменно хорошим слогом.

А. П.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ВАДИМ ПУГАЧ. Стихи	3
СЕРГЕЙ ЗАДЕРЕЕВ. Дед. <i>Повесть</i>	7
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ. Стихи	54
ВЛАДИМИР КАНТОР. «Необходимость бреда». <i>Рассказ</i>	58
ГЕОРГИЙ ПЕШКОВ. Стихи	65
ЛЁША ПЕРСКИЙ. Донос. Мигрень. <i>Рассказы</i>	67
ВАЛЕРИЙ СКОБЛО. Стихи	75
ТАТЬЯНА ШИПИЛОВА. Летаргия. <i>Рассказ</i>	77
МИХАИЛ ЕРЕМИН. Стихи	80

ПРОЗА О ПЕТРЕ I

ЯКОВ ГОРДИН. Царь и Бог. <i>Утопия Петра Великого. Главы из книги</i>	81
---	----

СУДЬБЫ ИМПЕРИИ

ЮРИЙ ЗЕЛЬДИЧ. Василий Андреевич Жуковский — наставник цесаревича Александра	163
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВ. Ставка Верховного главнокомандующего в первые дни петроградских беспорядков: 23—25 февраля 1917 года. <i>Окончание</i> . . .	185
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Три составных источника терроризма	216

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

АНДРЕЙ АРЬЕВ. Русский человек du déjà vu. <i>Георгий Иванов. «Распад атома»</i>	232
СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ. Листы с пепелища. <i>О стихах Александра Морева</i>	255

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ. Восемь мини-разборов. <i>Заметки об иконике и сходных эффектах</i>	263
---	-----

ХВАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ РУГАТЬ

НИКОЛАЙ РОДОССКИЙ. Ольга Великанова. Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма.	
АЛЕКСАНДР ВЕРГЕЛИС. Юлиан Фрумкин-Рыбаков, Ирина Булина, Евгений Овечкин. Броня России.	
ОЛЬГА СОКУРОВА. Михаил Иванов. Поиск слова. Анализ и интерпретация художественного образа.	
А. П. Ричард Павлов. Отречение: Крестный путь Бенедикта XVI	280

CONTENTS

Poetry and Prose

Vadim Pugach. Poems	3
Sergei Zadereyev. Old Man. <i>A novella</i>	7
Veniamin Golubitsky. Poems	54
Vladimir Kantor. 'Necessity of Ravings'. <i>A short story</i>	58
Georgy Peshkov. Poems	65
Lyosha Persky. Delation, Migraine. <i>Short stories</i>	67
Valery Skoblo. Poems	75
Tatiana Shipilova. Lethargy. <i>A short story</i>	77
Mikhail Yeryomin. Poems	80

Prose about Peter the Great

Yakov Gordin. Tsar and God. <i>Utopia of Peter the Great. Chapters from the book</i>	81
--	----

Fates of Empire

Yury Zeldich. Vasily Andreyevich Zhukovsky, tutor to cesarevitch Alexander	163
Kirill Alexandrov. Stavka of the Supreme Commander During the First Days of Petersburg Riots: 23—25 February 1917. <i>Ending of publication</i>	185
Alexander Melikhov. Three Combined Sources of Terrorism	216

Essays and Literary Criticism

Andrei Aryev. Russian Man du déjà vu. <i>Georgy Ivanov. 'Disintegration of the Atom'</i>	252
Sergei Stratanovsky. Papers from Smoldering Ruins. <i>On Alexander Morev's Poetry</i>	255

Studies of Belles-Lettres

Alexander Zholkovsky. Eight Mini-Analyses. <i>Notes on Iconicity and Similar Effects</i>	263
--	-----

Approve or Disapprove

Nikolai Rodosky. 'Constitution 1936 and Mass Political Culture of Stalinism' by Olga Velikanova.	
Alexander Vergelis. 'Russia's Armour' by Yulian Frumkin-Rybakov, Irina Bulina, Yevgeny Ovechkin.	
Olga Sokurova. 'In Search of a Word. Analysis and Interpretation of Artistic Image' by Mikhail Ivanov.	
A. P. 'Resignation: The Way to the Cross of Benedict XVI' by Richard Pavlov	280